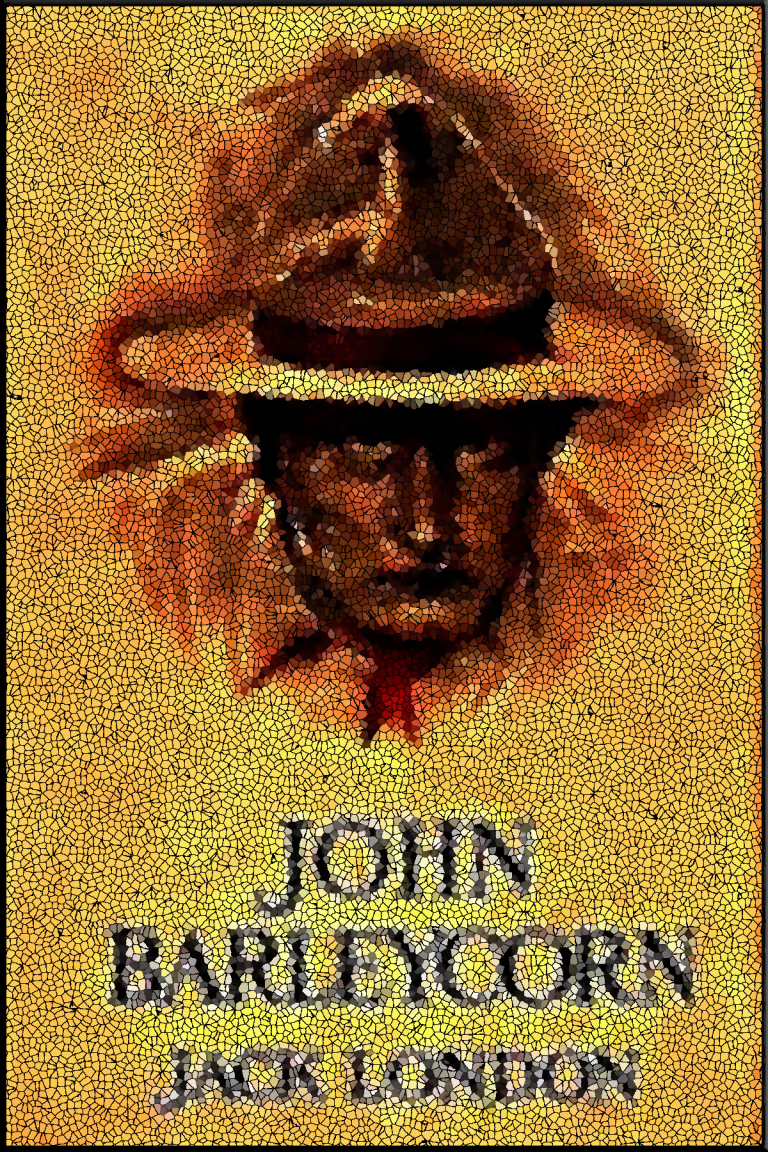

JOHN
BARLEYCORN
JACK LONDON

АННОТАЦИЯ

И повесть, и рассказы, вошедшие в этот том, в основном автобиографичны. «Джон Ячменное Зерно» — пронзительная исповедь человека, для которого алкоголизм стал образом жизни, но который уверен, что подобное формирование его личности не является закономерностью. По ту сторону закона оказываются герои рассказов — люди, которые в поисках приключений попадают в мир авантюристов и попрошаек, игроков и воришек.

СОДЕРЖАНИЕ

Главы - I - XXXIX - - 4 стр.
Рассказы - 120 стр.
Примечания - 209 стр.

Джек Лондон

ДЖОН ЯЧМЕННОЕ ЗЕРНО

Глава I

Все это случилось однажды в день выборов. После полудня я выехал из ранчо, спустился в Лунную Долину и направился в маленькую деревушку, чтобы голосовать *за* или *против* ряда поправок к конституции штата Калифорния. День был жаркий, и я несколько раз выпил до голосования и много раз — после. Затем, поднявшись на покрытые виноградниками и лугами холмы, я приехал на ранчо, когда уже была пора ужинать, и снова выпил перед ужином.

— Как вы голосовали: за женское равноправие или против? — спросила меня Чармиан.

— Я голосовал *за*.

Она вскрикнула от изумления. Да будет всем известно, что в дни моей юности я, несмотря на свой пылкий демократизм, не сочувствовал идее женского равноправия. Даже в позднейшие годы я относился к этой неизбежной социальной реформе без всякого энтузиазма.

— Но почему же вы голосовали *за*?

Я начал отвечать подробно и с раздражением. Чем больше я объяснял, тем больше сердился. (Нет, я не был пьян. Лошадь, на которой я ездил, недаром звали Разбойник. Хотел бы я видеть пьяного верхом на этой лошади!)

И однако… как бы это лучше сказать? Я был возбужден, чувствовал себя хорошо, был в приподнятом настроении.

— Когда женщины добьются избирательного права, они будут голосовать за запрещение спиртных напитков, — сказал я. — Только женщины — жены, сестры и матери — смогут вбить гвоздь в гроб Джона Ячменное Зерно.

— Но мне казалось, что вы в дружбе с Джоном?.. — заметила Чармиан.

— Я его друг. Я был его другом. А теперь нет. И никогда не был. Меньше всего я его друг в то время, когда он со мной и когда кажется, что я его друг. Он — царь лжи. Он — воплощенная правдивость. Когда бываешь с ним, то кажется, что находишься в обществе богов. Но он также в союзе и с Курносой. Его путь ведет к неприкрашенной правде и к смерти. Он обладает ясновидением и видит мутные сны. Он — враг жизни, он учит мудрости, потусторонней мудрости жизни. Он — убийца с окровавленными руками. Он — удалая молодость.

Чармиан смотрела на меня, и по глазам ее было видно, что она задается вопросом, где я успел так напиться?

А я все говорил и говорил. Я был взвинчен. Каждая мысль в моем мозгу сидела в своей маленькой клетке, словно присев на пороге у самой двери, как узник в камере, дожидающийся, когда откроются двери. И каждая мысль была откровением, ярким образом, четким, не смешивающимся с другими. Мой мозг был озарен ярким, блестящим светом алкоголя. На Джона Ячменное Зерно нашел правдивый стих, и он охотно раскрывал через меня как посредника свое тайное «я». Я был его оратором. Воспоминания прошлого воскресали в моем мозгу и вытянулись в ряд, как солдаты на параде. Мне оставалось только выбрать любое. Я вполне владел своими мыслями и находил как раз нужные слова. При мне был весь мой жизненный опыт, я безошибочно находил нужные мне факты и строил изложение. Так обманывает и издевается Джон Ячменное Зерно, причудливо изощряя ум, нашептывая роковые истины и прорубая яркие просеки в монотонной обыденности.

Я обрисовал Чармиан мою жизнь, объяснил ей, какой я человек. Я доказывал ей, что я вовсе не

потомственный алкоголик, что в моем организме нет и следа врожденного органического влечения к алкоголю. В этом отношении я рос нормальным человеком. Влечение к алкоголю было у меня благоприобретенное. С трудом приобретенное. Вначале алкоголь вызывал во мне какое-то отвращение, как любое лекарство. Мне и теперь не нравится его вкус. Если я пью его, то только за тот удар хлыстом, который он дает. Но между пятью и двадцатью пятью годами я не ценил в нем даже этого. И только после двадцатилетнего обучения мой организм до некоторой степени приспособился к нему, и я, преодолев отвращение, выработал привычку к алкоголю.

Я рассказал Чармиан, как в первый раз познакомился с алкоголем, как впервые напился, как я чурался его раньше, и объяснил ей, что приучила меня в конце концов к алкоголю главным образом его доступность. Алкоголь не только всегда доступен, но и всегда под рукой. Какой бы профессией я ни занимался — был ли рудокопом, матросом, торговал ли на улицах газетами или просто путешествовал по чужим краям, — я видел вокруг себя алкоголь.

Где бы и когда бы ни сходились люди, ради каких бы то ни было целей — для веселья, для обмена мыслями, для обдумывания какого-либо предприятия или просто для того, чтобы отдохнуть от изнурительного труда, всегда связывал, объединял их алкоголь. Местом сборищ для людей был кабак, как для их пещерных предков — костер.

Я напомнил Чармиан, как на островах Тихого океана ее не пускали в священные хижины, бывшие для женщин табу, нарушение которого каралось смертью. Лохматые каннибалы уходили туда от своих жен, чтобы попьянствовать и повеселиться на свободе. В молодости я часто искал в кабаке спасения от женской опеки; там я попадал в мир мужчин, где было больше простора и шири. Все дороги, полные романтических приключений, вели в кабак и оттуда расходились по всему свету.

— Суть в том, — закончил я свою проповедь, — что я пристрастился к алкоголю главным образом благодаря его доступности. Вначале я был к нему равнодушен и даже смеялся над ним, но в конце концов все-таки сделался пьяницей. Влечение к алкоголю прививалось мне в течение двадцати лет, а в продолжение остальных десяти оно пускало в моем организме все более глубокие корни. Однако удовлетворение этого влечения никогда не доставляло мне никакого удовольствия. По натуре я человек жизнерадостный и веселый, а выпив, становлюсь мрачным пессимистом.

— Но, — поспешил я добавить, как привык делать всегда, — надо правду сказать: Джон Ячменное Зерно правдив. Он говорит правду, срывая личину с истин, которые мы называем правдой жизни, и показывает, что они — ложь. В этом его сила.

— Это не улучшает жизни, — сказала Чармиан.

— Совершенно справедливо. В этом его трагедия. Он ведет к гибели, и поэтому я голосовал сегодня за женщин.

Я вспомнил свою жизнь, вспомнил, какую роль в моей привычке к алкоголю сыграла его доступность. Очень немногие люди рождаются алкоголиками. Я называю алкоголиками людей, у которых организм требует алкоголя и бессилен перед ним. Большинство пьяниц не только не чувствовали раньше влечения к алкоголю, но даже испытывали отвращение к нему. Ни первая, ни двадцатая, ни даже сотая рюмка не формирует еще привычки. Люди учатся пить так же, как они учатся курить. Но к пьянству привыкнуть труднее, чем к курению. Привычка к алкоголю обусловливается его доступностью. Это хорошо знают женщины, испытавшие все на собственной шкуре, — жены, сестры и матери. Когда женщины будут иметь право голоса, они будут голосовать за запрещение спиртных напитков. Благодаря этому новое поколение не будет знать алкоголя и не будет испытывать влечения к нему, а следовательно, не будет и чувствовать лишения от того, что его нет. От этого выиграют и мужчины — их жизнь станет полнее и содержательнее, и

женщины, которые будут жить с этими новыми мужчинами.

— Почему вы не напишете книгу об этом в назидание грядущему поколению? — спросила Чармиан. — Чтобы жены, сестры и матери знали, за что им голосовать.

— «Воспоминания алкоголика»? — я криво усмехнулся. Впрочем, скорее не я усмехнулся, а Джон Ячменное Зерно; это он подсказывал мне все эти благонамеренные софизмы, и именно он скривил мою улыбку в насмешку. Он любит такие штуки.

— Зачем вы так говорите? — перебила Чармиан, не замечая издёвки Джона. — Вы ведь сами говорите, что вы не алкоголик, а всего лишь пьющий человек. Вы хорошо познакомились с Джоном Ячменное Зерно. Опишите это знакомство и назовите вашу книгу «Воспоминания об алкоголе».

Глава II

Вначале я попрошу читателя постараться понять, о ком и о чем я пишу, потому что, только поняв меня, он сможет проникнуться ко мне должным сочувствием. Во-первых, я должен сказать, что я не заядлый пьяница с врожденным влечением к алкоголю, я не дурак и не обладаю слишком сильным животным инстинктом. Я знаю все, что можно сказать о Ячменном Зерне, от альфы до омеги, и, напиваясь, прекрасно владею собою. Я не нуждаюсь в том, чтобы меня укладывали спать. Короче говоря, я — обыкновенный, нормальный человек и пью, как все. В этом вся суть. Я хочу описать, как действует алкоголь на обыкновенного, нормального человека. Настоящих алкоголиков, маньяков пьянства, которых сравнительно мало, я касаться не буду.

Пьющие делятся на два типа. Тип первый, всем хорошо известный: это тупые существа, не одарённые фантазией, с оцепеневшими в оцепенелых причудах мозгами. Они ходят качаясь, широко расставив ноги, и обычно кончают тем, что сваливаются в канаву. Заканчивается это состояние тем, что перед глазами у них начинают мелькать розовые слоны и голубые мыши. Над пьяницами этого типа обычно оттачивают свое дешевое остроумие юмористические журналы.

Второй тип — люди с большим полетом фантазии, обладающие проницательностью. Походка у них твердая даже тогда, когда алкоголя ими принято предостаточно. Они никогда не выписывают вензеля, всегда устойчивы и никогда не теряют сознания. Опьянение касается только их мозга, но совершенно не властно над телом. Такой человек может быть веселым и остроумным; у него могут быть видения и фантазии космического масштаба, подавляющие своей железной логикой. В этом состоянии он срывает с жизни ее обманчивые покровы, и взорам его представляется сковывающее его дух железное кольцо необходимости. Это часть наивысшей власти Ячменного Зерна. Напиться до такой степени, чтобы упасть в канаву, — дело не хитрое и доступно каждому. Но страшно, когда твердо стоящий на ногах человек спокойно приходит к выводу, что единственный путь к освобождению — это ускорить свою смерть. Это час Белой Логики, когда человек понимает, что он может узнать лишь законы, которые управляют вещами, но что ему никогда не познать вещь в себе. Это для него час испытания. Он становится на тропинку, которая ведет прямо к могиле.

Он понимает все. Он знает, что все попытки разрешить проблему бессмертия имеют своим источником панический страх перед смертью, который еще увеличивает трижды проклятая сила воображения; люди не хотят умирать, им не хватает воли к смерти, когда час смерти уже наступил. Они обманывают самих себя и думают увильнуть от смерти; они обольщают себя надеждой, что жизнь будет продолжаться и по ту сторону могилы, и что разложение и полное уничтожение — удел только бессловесных тварей. Но, когда человек находится во власти Белой Логики, он понимает, что это самообман. Смерть равна для всех. Нет ничего нового под луной, даже этого мифа малодушных — бессмертия.

Он, стоящий твердо на ногах, знает, где источник этой утешительной идеи; он знает, что создан из плоти и костей, из солнечной энергии и космического праха, он — хрупкий механизм, которому дан в удел лишь один момент из вечности, и что, сколько бы ни заботились о нем доктора медицины и богословия, он все равно в конце концов будет брошен в яму.

Разумеется, все это душевная болезнь, отвращение к жизни. Человек, одаренный фантазией, платит дорогой ценой за свою дружбу с Ячменным Зерном. Человеку тупому гораздо легче: он только балдеет от алкоголя, теряет сознание и засыпает мертвецким сном, и сны, если они посещают его, нелепы и бессвязны. Но человек, одаренный полетом фантазии, подпадает под власть роковых силлогизмов Белой

Логики. Он видит жизнь, какой видел ее немецкий философ-пессимист. Иллюзии для него прозрачны: он видит сквозь них. Переоценивая все ценности, он добро называет злом, истину — ложью, а жизнь считает шуткой. Стоя на холодных вершинах безумия, он с уверенностью Бога утверждает, что жизнь — зло. При спокойном холодном свете Белой Логики жена, дети и друзья кажутся ему призраками, фикцией. Он замечает в них слабость, злобу и мелочность. Он не поддается на обман этих мелких, ничтожных эгоистов, живущих один час, как мельтешащие мотыльки. Они — несвободны, они — марионетки в руках случая. Таков же и он сам. Разница между ними только в том, что он это видит, знает это. Кроме того, он знает, что его свобода — только право добровольно умереть. Такое сознание не может принести пользы человеку, которому нужно жить, любить и быть любимым. Логическое следствие такого состояния — самоубийство — моментальное, от нажима курка, или медленное угасание, растянутое на несколько лет; вот чем расплачиваются друзья Ячменного Зерна за свою дружбу с ним, и никому не удается увильнуть от этой расплаты.

Глава III

Впервые я напился, когда мне было пять лет. Это было летом. Отец мой пахал в поле, и меня послали из дому отнести ему кувшин с пивом. Когда я уходил, меня снабдили инструкцией: «Смотри же, не расплещи пиво».

Я очень хорошо помню этот кувшин, узкий снизу и широкий вверху и без крышки. Пока я шел, пиво плескалось и обливало мне ноги. Дорогой я думал: пиво стоит дорого, значит, оно очень вкусное, поэтому родители не дают мне его; я уже знал на опыте, что взрослые часто не дают мне того, что вкусно. Следовательно, пиво тоже вкусное, и старшим это известно. Кувшин переполнен, и пиво выливается зря. Какой в этом смысл? Не все ли равно, выпью я его или оно перельется через край? А о том, что я выпил, все равно никто не узнает.

Сначала мне попала в рот пена, но она мне не понравилась: должно быть, не пена играет в пиве главную роль. Тут я вспомнил, что взрослые всегда сначала сдувают пену; тогда я окунул лицо в кувшин и стал пить густую жидкость.

Пиво мне не понравилось, но я продолжал пить. Раз взрослые пьют, то должно же это быть вкусно. Я пил его, как пьют лекарство, с отвращением. Много ли я выпил, не знаю, но спустя некоторое время я встал и пошел дальше. Я чувствовал тошноту, но думал, что, очевидно, приятное ощущение появится после. Поле, на котором работал отец, находилось в полумиле от дома, и я не один раз еще присаживался и отпивал из кувшина. Увидев, что пива осталось немного, я стал мешать его палочкой, чтобы оно вспенилось. Действительно, на пиве появилась пена, и кувшин снова казался полным.

Отец не заметил моего обмана, с удовольствием выпил пиво и опять стал работать, как и подобает вспотевшему от жары работнику. Я пробовал пойти с ним, рядом с лошадьми, но покачнулся и упал. Отец натянул вожжи, и лошади едва не раздавили меня. Потом он рассказал мне, какой опасности я подвергался: мне чуть не распороло живот лемехом. Я как во сне помню, — отец на руках отнес меня и положил в кустарник, как все кружилось перед моими глазами, помню ощущение мучительной тошноты, смутное сознание какого-то нехорошего поступка.

Я проспал до вечера. Отец разбудил меня, и я с трудом побрел за ним домой. Все члены мои точно налились свинцом, а в желудке что-то переливалось и било в нос. Я чувствовал себя отравленным. Да, действительно, это и было отравление.

Время шло, и я думал теперь о пиве то же, что и о плите, о которую я однажды обжегся. Взрослые говорят правду, что пиво — не для маленьких. Взрослые не боятся его, но они не боятся и никаких лекарств — ни пилюль, ни касторового масла. Мне не нужно пиво. И я, разумеется, так и не пил бы никогда ни пива, ни вообще алкоголя в каком бы то ни было виде, если бы не обстоятельства. В том мире, где я жил, Джон Ячменное Зерно встречался мне на каждом шагу и дружески улыбался мне. Спасения от него не было. К нему вели все дороги. И все же понадобилось двадцать лет близкого общения с этим негодяем, чтобы я смог так сильно привязаться к нему.

Глава IV

Во второй раз я встретился с Ячменным Зерном, когда мне исполнилось семь лет. Причиной встречи был страх, а отнюдь не собственное желание. Наша семья жила в это время на новой, вновь приобретенной ферме, в округе Сан-Матео, на берегу унылого, печального залива к югу от Сан-Франциско. Это была дикая местность, с примитивными условиями жизни. Помню, мать с гордостью говорила о том, что мы — представители старинного американского рода, а не какие-нибудь там иммигранты, как наши соседи — итальянцы и ирландцы. В этой местности мы были единственными чистокровными американцами.

Однажды в воскресенье я очутился, не помню как и зачем, на ранчо у наших соседей, ирландцев Морриси. Там было много молодежи с соседних ферм, а также старики, пившие уже с утра, были и такие, что начали пить еще накануне. Морриси представляли собой многочисленную семью: там было много стройных молодцов — сыновей и племянников, в тяжелых сапогах, с огромными кулачищами и зычными голосами.

Вдруг девушки закричали:

— Дерутся! Дерутся!

Все засуетились; мужчины выбежали из кухни. Два полуседых великана, раскрасневшись, обхватив друг друга, топтались на месте.

Одного звали Черный Мэт. О нем говорили, будто он убил уже двух человек. Женщины ахали, кричали, в ужасе закрывали лицо руками, шептали молитвы, но не переставали сквозь сложенные пальцы смотреть на борющихся. Но, могу сказать, никто не следил за происходящим более внимательно, чем я: ведь мне предстояло увидеть поразительное зрелище — убийство человека! Во всяком случае, драку-то я увижу. Но я был страшно разочарован! Черный Мэт и Том Морриси только сжимали друг друга в объятиях и топтались на месте, топая огромными ногами, обутыми в неуклюжие сапоги: они напоминали танцующих слонов. Для драки они оба были слишком пьяны. Наконец их успокоили и увели в кухню, где они ознаменовали восстановленную дружбу новой выпивкой.

Скоро в кухне стали раздаваться громкие голоса и смех. Так разговаривают и смеются люди со здоровыми легкими. Виски развязало языки молчаливым фермерам. Я встал на цыпочки и, преодолевая страх, который побуждал меня бежать прочь без оглядки, с любопытством заглянул в кухню, чтобы посмотреть, как ведут себя взрослые. Я очень удивился, увидев Черного Мэта и Тома Морриси: они обнялись, навалившись на стол, и обливались слезами.

Выпивка продолжалась своим чередом, и собравшиеся во дворе девушки стали все больше беспокоиться. Они знали, к чему ведет пьянство, и, предчувствуя неладное, хотели уйти пораньше подобру-поздорову, пока еще ничего не случилось; они собрались пойти за четыре мили на итальянскую ферму, где надеялись потанцевать.

Молодежь разбилась на пары, и каждый парень отправился со своей «дамой сердца» — семилетние мальчишки обычно бывают лучше всех осведомлены в амурных делах своих соседей. Мне тоже определили даму: маленькую ирландку, мою ровесницу. Мы были единственными детьми во всей этой компании. Впрочем, там не было никого старше двадцати, а девушкам — по четырнадцать — шестнадцать лет. Я и моя дама возбуждали у взрослых покровительственное отношение. Я вел ее под руку, а иногда даже брал за талию, как мне советовали старшие. Хотя так идти было неудобно, я все же испытывал гордость от сознания, что я тоже мужчина и что у меня есть «дама».

Итальянское ранчо было населено исключительно холостяками, и поэтому нам там очень обрадовались. Всем дали красного вина и моментально убрали столы из большой столовой, чтобы можно было танцевать. Молодые люди пили вино и танцевали под аккордеон.

Музыка казалась мне божественной: я еще никогда не слышал лучшей. Молодой итальянец, игравший на аккордеоне, и сам иногда пускался в пляс, при этом не переставая держать аккордеон в руках, за спиной своей девушки. Я не принимал участия в танцах, но не виданное мной никогда зрелище доставляло мне истинное наслаждение. После танцев ирландцы тоже стали пить. Шум и веселье не прекращались. Некоторые из танцоров пошатывались, падали на пол, а один даже заснул в уголке.

Некоторые девушки выражали недовольство и порывались уйти, другие же стали еще веселее прежнего, хохотали и, кажется, ждали, чтобы что-нибудь случилось.

Хозяева-итальянцы предложили вина и мне, но я отказался. Я еще слишком хорошо помнил опыт с пивом, чтобы у меня появилось желание повторить это с вином. Но тут один молодой итальянец, видя, что я сижу в одиночестве, из озорства налил полстакана вина и протянул его мне. Я опять отказался. Он нахмурился и, сердито глядя на меня, протянул мне стакан. Я страшно испугался. Сейчас я объясню вам причину моего страха.

Дело в том, что у моей матери были кое-какие теории: к их числу относилась и та, что все черноволосые и черноглазые люди коварны. Нет нужды объяснять, что сама она была блондинкой. Кроме того, она считала, что черноглазые латинские народы очень легко возбуждаются, очень вероломны и что для них убить человека ничего не стоит. Я еще смотрел на мир ее глазами, а она часто рассказывала, что если итальянца обидеть, даже нечаянно, то он всадит вам нож в спину. Это буквальные ее слова: «нож в спину».

Еще утром я сгорал от желания увидеть, как Черный Мэт убьет Тома Морриси, но теперь я был далек от желания доставить удовольствие танцорам, которые увидели бы меня с ножом, торчащим из моей спины. В ту пору я не знал еще разницы между теорией и практикой, и мнение моей матери об итальянцах было для меня свято. Да и сам я кое-что слышал о законах гостеприимства, которые нельзя нарушать. Вспыльчивый и жестокий итальянец гостеприимно угощал меня вином. Ясно, что, если я не приму его угощения, он обидится и всадит в меня нож, как лошадь непременно лягнет копытом, если подойти к ней сзади. Глаза у этого итальянца (его звали Питер) были именно такие страшные и черные, как их описывала моя мать; у нас в семье глаза у всех были серые или голубые, а у ирландцев, которых я знал, — бледные и добродушные. Питер, по-видимому, выпил порядочно: глаза его сверкали черным коварством. В них была тайна, неизвестность, а мне было только семь лет, и разве я мог постигнуть их жуткие намерения? Я увидел в них смерть и отклонил предложенное мне вино со страхом. В глазах итальянца появилось выражение суровой повелительности. Он ближе придвинул ко мне стакан. Что мне оставалось делать? Не раз потом в своей жизни я действительно смотрел смерти в глаза, но ничто не может сравниться с тем смертельным ужасом, какой я испытывал тогда. Я поднес стакан к губам, и лицо у Питера прояснилось. Я обрадовался: значит, он меня не убьет. Это меня обрадовало, но вино-то было нехорошее, кислое молодое вино, на вкус куда хуже пива. Очевидно, оно было приготовлено из какого-то бросового винограда. Если надо выпить противное на вкус лекарство, самое лучшее — это выпить его сразу. Я так же поступил с вином: запрокинул голову и выпил его залпом. Мне показалось, что огонь обжег мои внутренности, и мне стоило больших усилий, чтобы вино не вылилось назад.

Только теперь, вспоминая этот случай, я в состоянии уяснить себе, почему это так поразило Питера. Он налил мне еще вина и пододвинул ко мне стакан через стол. Полный смертельного ужаса, я выпил одним духом и эту порцию. Питер остолбенел. Что за чудо! Надо показать другим этого удивительного ребенка. Он подозвал другого итальянца, молодого усача, которого звали Доминико. Они мне налили

полный стакан. Чего не сделаешь, чтобы избежать смерти? Я с чрезвычайными усилиями подавил естественное сопротивление моего желудка и выпил отвратительный напиток.

Доминико еще никогда в жизни не встречал такого героя-ребенка. Он два раза подносил мне полный до краев стакан и с любопытством смотрел, как я опустошаю его. Другие также были привлечены этим зрелищем. Вокруг стола столпилась кучка итальянцев средних лет, которые не танцевали и не умели говорить по-английски с ирландскими девушками. Это были смуглые люди, самого свирепого вида, в красных рубашках, с широкими поясами. Я слышал, что все они носят большие ножи. Они столпились вокруг меня, похожие на шайку разбойников, а Питер и Доминико демонстрировали перед ними мои недюжинные способности.

Ничего этого не случилось бы, будь я немного глупее и будь я менее одарен фантазией, или будь я чуточку поупрямее. Молодежь, пришедшая со мной, танцевала, и никто не мог вступиться за меня. Я не знаю, какое количество вина было выпито мной в этот день. В воспоминаниях мне представляется, что я стою среди скопища убийц и, дрожа от страха, опоражниваю бесчисленное количество стаканов с огненной жидкостью. Мне казалось тогда, что вино, какой бы оно ни было дрянью, все же меньшее зло, чем нож, а я хотел жить во что бы то ни стало.

Теперь, удрученный опытом, я в состоянии объяснить, почему не лишился тогда сознания и не упал на стол. Я сказал уже, что страх сковал и парализовал меня. Я был способен только механически подносить ко рту стакан с вином. От страха меня не могло вырвать, так как и внутренности мои были парализованы страхом. Понятно, почему итальянцы изумлялись при виде мальчика-феномена, который пропускает в себя стакан за стаканом с невозмутимостью автомата.

Смело могу сказать, не хвастаясь, что подобного зрелища им еще не приходилось видеть.

Пора было уходить домой. Молодые люди стали выделывать такие курбеты, что девушки поскромнее решили, что лучше уйти. В дверях я столкнулся со своей «дамой», которая была совсем трезвой. Ее забавляло, как мужчины покачивались. Стараясь идти рядом с девушками, она начала подражать их движениям, мне это тоже понравилось, и я последовал ее примеру. Но как только я стал двигаться, пары алкоголя тоже пришли в движение и ударили мне в голову. Я с самого начала вышагивал правдоподобнее ее. Через несколько минут я сам стал себе удивляться. Какой-то парень, пошатываясь, подошел к канаве, постоял около нее с серьезным и задумчивым видом, покачнулся и упал в нее. Это меня очень рассмешило. Следуя его примеру, я тоже подошел к краю канавы. Дальнейшее у меня заволакивается туманом. Помню только, что девушки вытащили меня из канавы, и при этом лица у них были встревоженные.

Потом мне уж не хотелось изображать пьяницу, и веселье мое пропало. Глаза мои заволокло туманом, мне не хватало воздуха, и я, широко открыв рот, старался вздохнуть как можно глубже. Девушки держали меня, но ноги у меня отяжелели. Алкоголь сжимал мое сердце и бил по моим мозгам точно дубиной. Очевидно, у меня был очень здоровый организм; иначе, вне всякого сомнения, я умер бы от количества выпитого мною вина.

Во всяком случае, я знаю теперь, что был тогда ближе к смерти, чем это представляли себе испуганные девушки. Я слышал, как они обвиняли друг друга; некоторые из них плакали — то ли из-за себя, то ли из-за меня, то ли из-за недостойного поведения своих парней. Но меня это не интересовало. Я задыхался, мне не хватало воздуха. Двигаться было мучительно, и все же девушки настаивали на том, чтобы я шел, а до дома было четыре мили. Четыре мили! Я помню, что мои затуманенные глаза видели маленький мостик через дорогу; мне казалось, что это страшно далеко, а на самом деле до него было всего сто шагов. Когда мы дошли до моста, я упал и лежал на спине задыхаясь. Девушки пробовали поднять меня, но я лежал пластом. Их тревожные крики привлекли внимание пьяного семнадцатилетнего

Ларри: он попытался привести меня в чувство и для этого начал прыгать у меня на груди. Как в тумане, я помню это и крики девушек, когда они прогоняли его. Потом я уже ничего не помню, но впоследствии я узнал, что Ларри свалился под мост и там переночевал.

Когда я пришел в себя, было темно. Меня принесли домой в бессознательном состоянии и уложили в постель. Я заболел белой горячкой. Все ужасы, хранившиеся в моем детском мозгу, воплотились в мучительные кошмары. Я видел убийства, я спасался от убийц. Я кричал и дрался с ними. Страдания мои были ужасны. Приходя в сознание после припадков горячки, я слышал голос матери: «Бедный мальчик, он сойдет с ума». Впадая опять в беспамятство, я подхватывал эту идею и видел себя в сумасшедшем доме, где меня били служители и с воплем окружали сумасшедшие.

На мое воображение сильно действовали рассказы старших о притонах в китайском квартале Сан-Франциско. В бреду я блуждал в подземельях этих притонов и там, за железными дверьми, мучился и тысячу раз умирал.

И когда я находил своего отца, сидевшего за столом в обществе китайцев и игравшего с ними в карты на целые кучи золота, я изливал свое негодование в потоках самых диких ругательств. Я поднимался с постели, отталкивал удерживавшие меня руки и осыпал отца отчаянной руганью; вся невозможная грязь, которая вползает в детский ум, которую он слышит от взрослых в условиях примитивной деревенской жизни, впиталась в меня. И хотя я никогда не осмеливался произносить вслух эти ругательства, теперь они изливались из меня целым потоком, я проклинал отца, который сидел в подземелье и играл в карты с длинноволосыми китайцами с кривыми когтями.

До сих пор я не могу понять, как организм семилетнего ребенка смог вынести напряжение этой ночи, как у меня не разорвалось сердце, не лопнули мозги. Как мои семилетние артерии и нервные центры выдержали эти ужасные пароксизмы, потрясавшие меня.

В доме никто не ложился спать в эту ночь. Парень, который ночевал под мостом, наверное, не бредил так и не видел таких кошмаров. По всей вероятности, он только спал тяжелым сном, а утром почувствовал, что члены его одеревенели и что на душе у него кисло. Теперь он, если жив, вряд ли помнит об этой ночи. Это был для него лишь отдельный случай. Я же помню во всех подробностях, несмотря на то что это случилось тридцать лет назад, все пережитые мною мучения.

Я долго болел и после всего этого трепетал бы перед Ячменным Зерном и боялся бы его, как огня, если бы даже мать не наставляла меня. Матери моей этот случай доставил много огорчения; она постоянно бранила меня и говорила, что я поступил нехорошо, что я забыл все ее поучения. Возражать родителям в мое время не полагалось, да и как сумел бы я объяснить мою психологию и раскрыть ей причины моего поведения, ведь именно ее наставления виноваты в том, что произошло. Если бы она не научила меня бояться итальянцев, я и не подумал бы пить их отвратительное пойло. Впоследствии, уже будучи взрослым, я объяснил ей, в чем было дело.

Когда я лежал еще в постели, но уже стал приходить в себя, во мне боролись различные чувства. Я чувствовал, что совершил какой-то нехороший поступок, но в то же время понимал, хотя и смутно, что ко мне тоже были несправедливы. Ясно для меня было одно: больше никогда в рот не возьму ни капли спиртного. Собака, страдающая водобоязнью, не боится воды так, как я тогда боялся алкоголя.

Но и этот ужасный опыт не помешал мне все-таки войти впоследствии в дружеские отношения с Ячменным Зерном. Все окружающее толкало меня к нему. Начать с того, что все взрослые, кроме матери, которая всегда была строга и прямолинейна, относились к случаю со мной, как к забавному приключению, и не видели в нем ничего позорного для меня. Молодежь — парни и девушки — тоже рассказывали об этом со смехом и смеясь вспоминали, как Ларри вскочил мне на грудь и как он свалился потом под мост;

вспоминали различные эпизоды, как один парень переночевал где-то на песке, а другой — в канаве. Это не считалось позорным; напротив, в этом видели известное молодечество, а весь случай представлялся ярким эпизодом в однообразной трудовой жизни нашей скучной, постоянно покрытой туманом местности.

Ирландцы хлопали меня по плечу, вспоминая этот случай, а Питер, Доминико и другие итальянцы восхваляли мою выносливость; в конце концов я начал чувствовать себя каким-то героем. Пьянство вообще не считалось чем-то позорным. Пили все, и во всей местности не было ни одного абсолютного трезвенника. Даже у нашего школьного седоватого учителя, лет пятидесяти, бывали случаи, когда он, поборовшись с Ячменным Зерном и потерпев поражение, не приходил на другой день в школу. Поэтому мое воздержание от алкоголя имело в своей основе не соображения морального свойства, а чисто физиологические причины: я просто-напросто не любил его.

Глава V

Физическое отвращение к алкоголю стало моей характерной особенностью в течение всей жизни; в конце концов мне всегда удавалось преодолевать его, но мне и в настоящее время приходится бороться с этим отвращением. Мне не нравится вкус алкоголя, а к вкусу нужно относиться с доверием, так как он-то знает, что полезно и что вредно для организма. Но люди ценят в алкоголе не то, что он дает организму, а то, что он дает мозгу; если при этом организм страдает, то с этим уж ничего не поделаешь.

Хотя я и питаю отвращение к алкоголю, все же с кабаком у меня связаны воспоминания о самых приятных переживаниях моего детства. Помню, как я ехал в телеге с картофелем: ноги мои одеревенели от долгого сидения в неудобном положении, лошади тяжело ступали по длинной песчаной дороге; мне было скучно, и я с удовольствием представлял себе, как мы остановимся у кабака в Колме, отца там ждет выпивка, а меня — сладкий коржик… только один коржик, — но это было для меня непривычное лакомство. Славная вещь — кабак! Дорогой я буду грызть коржик и растяну это удовольствие на целый час. Я откусываю по маленькому кусочку, стараясь при этом не уронить ни одной крошки, и долгое время жую его, пока он не превратится у меня во рту в жидкую сладкую кашицу; я перегоняю ее языком то в одну сторону рта, то в другую, смазываю языком внутренние стороны щек, пока она, наконец, не попадает как-то незаметно в горло, без малейших усилий с моей стороны.

Мне очень нравились кабаки, в особенности в Сан-Франциско. Там были очень вкусные вещи, которые можно было брать, не платя за них, — какой-то необыкновенный хлеб, вкусные сухарики, колбаса, сыр и сардинки — деликатесы, совершенно незнакомые в скудном деревенском обиходе. В одном кабаке, помнится, буфетчик поднес мне стакан сладкого сиропа с содовой водой. Денег с отца он за это не взял, он просто оказал ему любезность, и с этих пор я стал считать этого буфетчика самым добрым человеком в мире. Я был тогда семилетним ребенком, и больше я никогда не встречался с ним; но он, как живой, стоит у меня перед глазами; кабак помещался на южной стороне Рыночной улицы в Сан-Франциско. Налево от двери была стойка, вдоль правой стены стоял длинный стол с бесплатными закусками, а напротив двери стояли за пивными бочками круглые столы со стульями. У буфетчика были светлые волосы и голубые глаза; на нем была черная шелковая ермолка и коричневая вязаная куртка. Я точно помню даже место, где стояла бутылка с красным сиропом, которым он угостил меня. Он вел бесконечные разговоры с моим отцом, а я в это время пил, глоток за глотком, вкусный напиток и благоговел перед ним. Много лет спустя я вспоминал о нем с чувством самой искренней симпатии.

Итак, несмотря на то, что две первые мои встречи с Джоном Ячменное Зерно принесли мне только страдания, я не переставал встречаться с ним, и он всегда одаривал меня приветливой улыбкой. С кабаками мне пришлось познакомиться с самого раннего детства, и я узнал их с самой хорошей стороны. Общественные учреждения, магазины и дома частных лиц были для меня недоступны — они не предлагали мне войти и обогреться, отведать пищи богов с узкой полки вдоль стены. Их двери были всегда закрыты, тогда как кабаки гостеприимно раскрывались передо мной. На широких, оживленных улицах города и на больших проезжих дорогах — везде мне попадались в изобилии кабаки, гостеприимно сверкавшие яркими огнями. Зимой в них было тепло, а летом — прохладно. Славное место кабак, что и говорить!

Когда мне исполнилось десять лет, родители мои решили покончить с земледелием и переселиться в город. Я начал торговать газетами. Были две очень важные причины, заставившие меня приняться за эту работу: нужда в деньгах, во-первых, и потребность в движении и свежем воздухе — во-вторых. Я отыскал в городе бесплатную библиотеку и стал читать запоем, так что у меня развилось малокровие. На нашей ферме книг не было, но случайно мне попались в руки четыре книги, которые я перечитывал без конца. Это

биография президента Гарфилда, «Путешествие в Африку» Поля де Шейю, какой-то роман Уйда, в котором были вырваны последние сорок страниц, и наконец «Альгамбра» Ирвинга, которую дал мне почитать школьный учитель. Робость помешала мне попросить у него еще что-нибудь почитать, когда я вернул «Альгамбру», а сам он не догадался это сделать. По дороге домой я горько плакал, а дорога была дальняя — три мили. Долгое время я втайне надеялся, что он все-таки даст мне еще какую-нибудь книгу, несколько раз собирался с духом, чтобы заговорить об этом, но так и не набрался смелости.

А когда мы переехали в Окленд, я открыл на библиотечных полках целый мир, новый, интересный. Тут были тысячи книг, и все они были не только не хуже прочитанных мною, но некоторые даже гораздо интереснее. Библиотеки в ту пору еще не были рассчитаны на юных читателей, и поэтому я часто попадал впросак.

Один раз, прельстившись названием «Приключения Перигрина Пикля», я написал его на требовании, и библиотекарь выдал мне толстый том совершенно неудобоваримого полного собрания сочинений Смоллета. Я читал без разбора, но больше всего любил исторические романы и книги о приключениях, в особенности же зачитывался воспоминаниями разных путешественников. Читал я от зари до зари, лежа в постели и сидя за столом, по дороге в школу и по дороге домой, читал на переменах, когда остальные дети занимались играми. Кончилось тем, что у меня началось сильное нервное расстройство и появились нервные подергивания. Я говорил всем: «Уходите, вы раздражаете меня».

Итак, с десяти лет я очутился на улице в качестве продавца газет. Для чтения теперь оставалось мало времени: надо было дело делать, а свободное время уходило на упражнения в боксе и на драки с мальчишками. Меня интересовало все, что могло развить меня пластически. Кабаки по-прежнему привлекали меня, и я любил продавать там газеты. Кабаки на ближних улицах все были мне знакомы. В одном квартале, с правой стороны Бродвея, между Шестой и Седьмой улицами, от одного угла до другого тянулся целый ряд кабаков.

Жизнь в кабаках носит особый характер. Там говорят громко, не стесняясь, смеются тоже громко, и все там с большим размахом. Эта жизнь не похожа на скучную повседневность, лишенную каких бы то ни было событий. Здесь жизнь полна захватывающего интереса, подчас даже чересчур захватывающего, когда пускаются в ход кулаки, льется кровь и появляются полицейские. В то время моя голова была набита описаниями самых невероятных происшествий на суше и на море, героических сражений, всяких кровавых столкновений, и понятно поэтому, что такие зрелища привлекали мое внимание.

Продавать газеты — дело скучное, но зрелище, которое предлагал мне кабак — в виде мертвецки напившегося человека, развалившегося на столе, — наполняло мою душу восторгом и удивлением.

Кроме того, кабаки имели полное право на существование. Существование их было санкционировано отцами города. Некоторые мальчики называли кабак страшным местом, но это потому, что они не имели о них никакого представления. Пожалуй, кабак можно назвать страшным, то есть, иначе говоря, он страшно интересен, а все страшное обладает неотразимой притягательной силой. Нам внушают страх кораблекрушения, войны и морские разбойники. Но скажите, пожалуйста, разве любой мальчик, у которого «в здоровом теле здоровый дух», не пожелает всей силой своей души испытать такие приключения?

В кабаках я встречался с редакторами и сотрудниками газет, с судьями и адвокатами, которых я знал в лицо и по фамилиям. Их присутствие подтверждало законность существования кабака. Это утверждало меня в привязанности к кабаку, если уж такие люди посещают его, значит, в нем есть нечто действительно хорошее, не зря же они липнут к кабаку, как мухи к меду. Мир тогда был для меня безмятежен и светел, я еще не знал горя, поэтому не понимал, как люди ищут и находят в кабаке забвение от горя и отдых от монотонной работы и постылых забот.

Сам я редко пил в это время. В промежуток между десятью и пятнадцатью годами я всего несколько раз приложился к рюмочке, хотя я много времени проводил в кабаках среди пьяниц. Не пил я потому, что мне не нравился вкус алкоголя. В течение этого времени я перепробовал несколько профессий — развозил лед, был мальчиком при кегельбане и подметал полы на загородных танцульках.

Целый год я носил газету в один кабак на углу Телеграф-авеню и 39-й улицы. Хозяйкой его была веселая и добродушная женщина по имени Джози Харпер. Когда в конце месяца Джози Харпер расплачивалась со мной за газету, она предложила мне стакан вина. Отказаться было неудобно, пришлось выпить, но после этого случая я старался прийти за деньгами в то время, когда за стойкой вместо хозяйки сидел ее помощник.

Когда я поступил на работу при кегельбане, хозяин этого заведения, по обычаю, подозвал нас, мальчиков, к стойке и предложил каждому заказать себе, что он хочет. Все спросили пива, а я заказал себе джинджер[1]. Мальчики засмеялись, а буфетчик недоверчиво взглянул на меня, но все же открыл бутылку джинджера. Потом, когда мы вернулись к работе, мальчики объяснили мне, что хозяин рассердился на меня: бутылка джинджера стоит дороже, чем кружка пива, и поэтому мне, если я хочу продолжать работать, придется пить пиво. Да пиво и сытнее, чем джинджер, и после него куда легче потом работать. Волей-неволей мне пришлось с этих пор пить пиво, но я никак не мог понять, почему оно нравится людям. Мне всегда казалось, что в нем чего-то не хватает.

Действительно, в ту пору своей жизни я любил только сладкое. На пять центов можно было купить пять так называемых «пушечных ядер» — пять вкусных больших конфет, которые можно было сосать целый час. Кроме того, здесь был мексиканец, который продавал большие коричневые тянучки — целый такой кирпич стоил тоже пять центов. С такой тянучкой, чтобы ее съесть, надо было промучиться не менее трех часов. Много раз такая тянучка служила мне обедом. Вот это, действительно, была питательная вещь, не то что пиво.

Глава VI

Наступил момент, когда мне еще раз пришлось помериться силами с Ячменным Зерном. В четырнадцатилетнем возрасте, когда я бредил всякими приключениями и морскими путешествиями и мечтал о таинственных островах тропических стран, я приобрел себе маленькую парусную лодку, в которой катался по Оклендскому лиману и по заливу Сан-Франциско. Мне хотелось отправиться в далекое плавание, уйти от пошлого однообразия моей жизни. Я был в ту пору молодым дикарем, цветущим юношей, с наклонностями к романтике и приключениям, и я хотел жить свободной и вольной жизнью в мире смелых и свободных людей. В то время я далек был от мысли, что алкоголь в этой жизни играет такую видную роль.

Как-то раз, когда я намеревался поднять парус на своей лодке, ко мне подошел парень лет семнадцати. Он сказал, что его зовут Скотти, что он бежал в Австралии с какого-то английского корабля, добрался на другом корабле в Сан-Франциско и теперь хочет поступить на какое-нибудь китобойное судно. По ту сторону бухты, среди китобойных судов, стоит на якоре яхта «Айдлер», на ней служит сторожем гарпунщик с китобойного судна «Бонанза». Может быть, я перевезу его на эту яхту, чтобы он мог переговорить с матросом?

Не перевезу ли я его? Я столько слышал про эту яхту «Айдлер», которая возила контрабандой опиум на Сандвичевы острова. А гарпунщик, сторживший ее, всегда возбуждал во мне острое чувство зависти: шутка ли, он может не уходить домой, он все дни проводит на «Айдлере». А я должен был каждый вечер возвращаться на сушу. Несмотря на то, что ему было только девятнадцать лет, он казался мне героем. Когда я проплывал мимо его яхты, он ни разу даже не взглянул на меня. Значит, мне нужно перевезти беглого матроса Скотти на яхту «Айдлер», занимавшуюся контрабандой? Разумеется, перевезу!

На яхте услышали наши крики. На палубу вышел гарпунщик и пригласил нас на судно. Когда мы приставали к судну, я захотел показать, что я опытный моряк, и постарался, чтобы лодка не оцарапала белую окраску яхты; потом я прикрепил ее длинной веревкой к борту, и мы спустились вниз. Тут я впервые увидел внутренность судна. На одной стене каюты висела одежда, издававшая не слишком приятный запах. Ну и что? Разве это не было настоящее матросское обмундирование: кожаные куртки, подбитые вельветином, синие куртки из так называемого лоцманского сукна, зюйдвестки, высокие сапоги и непромокаемые плащи. С первого раза бросалось в глаза, что все здесь сводилось, главным образом, к тому, чтобы занять как можно меньше места: койки узенькие, столы складные, шкафчики невероятно маленькие. На медных кольцах висели лампа и компас. В углу лежали небрежно сложенные карты, к стене был приколот циркулем календарь, в другом месте висели сигнальные флаги в алфавитном порядке. Наконец-то я увидел настоящую жизнь. Я сидел как равный между гарпунщиком и английским беглым матросом.

Оба юнца — гарпунщик и беглый матрос — захотели показать, что они взрослые мужчины. Хозяин заметил, что не худо бы выпить, а Скотти выудил из кармана несколько серебряных и никелевых монет и бросил их на стол. Гарпунщик ушел с пустой бутылкой в какой-то притон (легальных кабаков в окрестностях не было) и через несколько времени вернулся с этой же бутылкой, наполненной дешевым виски; мы начали пить его прямо из стаканов. Неужели я ударю в грязь лицом перед матросом и гарпунщиком? По тому, как они пьют, сразу видно, что это взрослые мужчины. И я старался не отставать от них, поглощая скверное виски, хотя, по совести, я никогда не променял бы на него замечательную тянучку или чудное «пушечное ядро». Каждый глоток вызывал у меня судорогу, но я стойко переносил это и скрывал свое отвращение.

Пока наступил вечер, нам удалось принести с берега не одну бутылку виски. В кармане у меня было только двадцать центов, но я истратил их все, хотя и не без внутреннего сожаления: ведь на эти деньги можно было купить столько конфет! Алкогольные пары стали туманить нам головы. Скотти с гарпунщиком говорили о мысе Горн, об ураганах, свирепствующих в устье Ла-Платы, о муссонах, тайфунах и о приключениях китобойных судов во льдах.

— В ледяной воде нет никакой возможности плыть, — сказал гарпунщик. — Человека моментально сведет судорога, и он идет ко дну. Если кит опрокидывает лодку, то единственное спасение в том, чтобы лечь поперек весла, и тогда не потонешь, когда холод скрючит тебя пополам.

— Разумеется, — вторил я таким тоном, что ни у кого не могло возникнуть сомнения в том, что я буду заниматься ловлей китов в Ледовитом океане и плавать на весле.

Совет китобоя я помню по сей день.

Сначала я не вступал в разговор: я был мальчишкой, и мне еще не приходилось плавать в океане. Я только молча слушал, что говорят испытанные морские волки, и старался не отставать от них в выпивке. Но хмель давал себя знать. Речи Скотти и гарпунщика действовали на меня, как порывы свежего ветра, и я перенесся в воображении в дикий, безумный мир бесконечных приключений.

Мы разошлись. Наша сдержанность и молчаливость исчезли. Мы начали испытывать друг к другу чувство самой горячей симпатии и торжественно поклялись отныне плавать только вместе. Гарпунщик без всякого хвастовства поведал нам о многих своих неудачах; Скотти заплакал при воспоминании о своей старушке-матери, жившей в Эдинбурге; он говорил, что она принадлежит к знатному, но обедневшему роду. Она, во всем отказывая себе, скопила нужную сумму для уплаты за обучение его на корабле, обольщая себя надеждой, что когда-нибудь он дослужится до капитана, а теперь ей придется разочароваться, когда она узнает, что ее сын — дезертир и что ему пришлось служить на другом судне простым матросом…

В подтверждение своих слов Скотти вытащил из кармана письмо и начал проливать над ним горькие слезы; мы тоже прослезились и поклялись, заработав деньги на китобойном судне «Бонанза», отправиться всем вместе в Эдинбург и отдать доброй старушке весь наш заработок.

Ячменное Зерно помог мне преодолеть мою застенчивость и молчаливость, и я стал рассказывать своим новым знакомым о моих приключениях в заливе Сан-Франциско; как я выходил в своей крошечной лодчонке во время свирепого урагана, когда даже большие суда не решались пускаться в плавание. После этого я, или, точнее, воплотившийся в меня Джон Ячменное Зерно, расхвастался перед Скотти, что он, может быть, и хороший матрос, но в управлении парусной лодкой я могу дать ему сто очков вперед.

Это не было враньем: я на самом деле умел хорошо управлять парусной лодкой. Но, не вселись в меня Джон Ячменное Зерно, я ни за что бы так не расхвастался.

Скотти, в котором тоже бурлил хмель, понятно, счел себя обиженным. Но я этого не испугался. Уж если пошло на то, так я поколочу любого матроса-дезертира, хотя ему и все семнадцать лет. Мы вскочили на ноги, как готовые к бою петухи, но гарпунщик примирил нас, налив еще по стакану, и мы моментально остыли и помирились, и снова душили друг друга в объятиях и клялись быть друзьями, как это делали Черный Мэт с Томом Морриси на ранчо в Сан-Матео. Воспоминание о них убедило меня окончательно в том, что я совсем взрослый мужчина, хотя мне всего четырнадцать лет.

Попойка закончилась пением матросских песен. Пели Скотти и гарпунщик, а я подтягивал. Тут, в каюте «Айдлера», я впервые услышал: «Ветер валит с ног», «Облака» и «Виски, Джонни, виски!». Я блаженствовал. Да, вот она настоящая жизнь. Не то что скучные будни в Оклендском лимане, глупая разноска газет, развозка льда и расстановка кеглей. Мне был доступен весь огромный мир, передо мной

открылись все дороги, и Ячменное Зерно, разнуздав мою фантазию, рисовал передо мною в заманчивой перспективе все приключения, которые мне суждено было пережить. Мы оставили позади будничное и чувствовали себя мудрыми, сильными и великодушными, как юные боги.

По прошествии нескольких лет я скажу вполне искренне, что, будь Ячменное Зерно способен удерживать человека надолго в таком приподнятом состоянии, я не был бы трезвым в жизни ни одной минуты. Но в этом мире за все надо платить: за душевный взлет мы расплачиваемся упадком духа, за возвышение — падением, за кажущееся величие — унижением и стыдом, за моменты, когда чувствуешь себя богом, — моментами, в которые чувствуешь себя рептилией. Когда мы хотим сжать дни и недели скучной прозы в миг поднимающей дух поэзии, нам приходится платить за это с лихвой.

Интенсивность и длительность — такие же непримиримые враги, как вода и огонь. Они взаимно уничтожаются. Могучий волшебник Джон Ячменное Зерно так же подчинен законам органической химии, как и мы, простые смертные. Мы расплачиваемся за каждую марафонскую победу нашей нервной системы, и Ячменное Зерно не имеет такой власти, чтобы освободить нас от расплаты. Он может подарить вам минуту подъема, но продлить ее не в его власти; если бы это было иначе, ему молились бы все. За эти вспышки подъема нам приходится расплачиваться дорогой ценой.

Впрочем, до всего этого я додумался позднее. Эти мысли были чужды четырнадцатилетнему мальчишке, который сидел в каюте «Айдлера» с храбрым гарпунщиком и беглым матросом, вдыхая острый запах матросской одежды, издававшей разнообразные морские ароматы, и орал во все горло матросские песни.

У меня был здоровый организм и желудок страуса, способный переваривать камни. Поэтому я держался еще молодцом, когда Скотти начал сдавать. Язык его заплетался, он не находил нужных слов, вместо них издавал какие-то нечленораздельные звуки. Сознание его заволоклось туманом, глаза его стали мутными, а взгляд приобрел бессмысленное выражение. Мышцы его тоже более не повиновались мозгу. Он хотел выпить еще, но стакан выпал у него из рук. Потом я с удивлением увидел, как Скотти, заплакав, кое-как дошел до койки и упал на нее как труп. Через минуту в каюте раздался его громкий храп.

Мы с гарпунщиком все еще пили и посмеивались над беднягой Скотти. Прислушиваясь к храпу менее выносливого собутыльника, мы выпили еще бутылку. Затем очередь свалиться на койку дошла и до гарпунщика, так что я почувствовал себя чемпионом мира.

Меня, или правильнее — Джона Ячменное Зерно распирало от гордости. Я чувствовал себя молодцом. Только что я пил в компании со взрослыми опытными мужчинами и оказался выносливее их. Я твердо стою на ногах, в то время как они валяются на койках. Я вышел на палубу, чтобы освежить воздухом свои воспаленные легкие. После этого случая я убедился в том, что обладаю крепкой головой и здоровым желудком. В то время я очень гордился этими качествами, но позднее я изменил свой взгляд на диаметрально противоположный. Какое счастье не быть в состоянии выпить больше двух рюмок и пьянеть от них до того, как больше уже вино не пойдет в глотку! Гораздо хуже, когда человек способен выпить несколько стаканов и быть, что называется, «ни в одном глазу», когда приходится пить и пить, чтобы получить, наконец, закономерный удар хлыстом.

Солнце уже садилось, когда я вышел на палубу. Я мог бы остаться на ночь на яхте, коек хватило бы на всех. Но я хотел вести себя, как настоящий мужчина. Тут стояла моя шлюпка. Ветер крепчал, появились белые барашки, и у выхода из бухты были ясно видны струи отлива. Я спустился в лодку, поднял парус, сел у руля и двинулся. Лодку швыряло из стороны в сторону, как щепку, волны окатывали меня с головы до ног, но я был сильно возбужден и распевал песни. В этот момент я не был четырнадцатилетним мальчиком, ведущим сонную жизнь в городе Окленде. Я был мужчиной, богом, и мне были подвластны стихии. Отлив обнажил то место около лодочной пристани, которое раньше было покрыто водой; теперь

оно представляло покрытое тиной пространство, приблизительно ярдов в сто.

Я спустил парус и начал отталкиваться веслом. Но тут я убедился, что мои мышцы повинуются теперь воле Джона Ячменное Зерно, а не моей. Потеряв равновесие, я упал головой вниз, прямо в тину и, задев за какой-то железный предмет, поранил себе руку. С трудом поднявшись на ноги, бессмысленно озираясь кругом, я понял, что на самом деле пьян. Э, что за беда! На той стороне бухты я оставил двух сильных, опытных моряков в бесчувственном состоянии, а я выпил не меньше их и все еще стою на ногах. Я решил дойти до берега пешком; я пошел, толкая впереди себя лодку и горланя во все горло песни.

Разумеется, расплата не заставила себя долго ждать. Пару дней я был болен, порез на руке стал гноиться. С неделю я чувствовал боль в ней и с трудом мог одеваться и раздеваться. Я дал себе слово, что такое больше не повторится. Овчинка не стоит выделки. Слишком дорого приходится платить за удовольствие. За короткий миг интенсивной жизни не стоит расплачиваться длительным периодом пессимизма и тяжелых физических страданий.

Когда я возобновил плавание в своей лодке, я старался держаться подальше от «Айдлера». Скотти я потерял из виду, а гарпунщик хотя и оставался по-прежнему на яхте, но я избегал его. Мне казалось, что он опять может соблазнить меня выпивкой, вынув из кармана фляжку с виски.

Но Ячменное Зерно обладает могущественным обаянием: попойка на «Айдлере» вспоминалась мне как один из самых ярких моментов в моей скучной, монотонной жизни, и я охотно перебирал в памяти все ее подробности. Я приобрел много новых и интересных сведений, например, о жизни Скотти и его матери, услышал интересные рассказы гарпунщика о приключениях, которые приводили меня в изумление. Передо мною открылся новый мир, новые перспективы, которые казались мне доступными не менее, чем моим собутыльникам. Мне удалось увидеть обнаженной человеческую душу, в том числе и мою собственную, и я обнаружил и оценил ее богатые возможности.

Я до сих пор хорошо помню этот эпизод, яркое пятно в моей монотонной жизни в Оклендской гавани. Я всегда вспоминал о нем с удовольствием, но мне пришлось слишком дорого заплатить за него, и я не желал его повторения. Я снова начал находить прелесть в «пушечных ядрах» и в мексиканских тянучках. Это лишний раз подтверждает, что у меня вполне здоровый и нормальный организм, абсолютно враждебный алкоголю.

Я не только не любил алкоголя — он был мне противен. И тем не менее, все складывалось как-то так, что я систематически все ближе и ближе знакомился с Ячменным Зерном, так что мне, в конце концов, пришлось радикально переменить свои взгляды и превознести его как своего лучшего друга и покровителя. Я не люблю его и теперь, он по-прежнему ничего не вызывает во мне, кроме отвращения, но все-таки он мой друг… Странный друг, разумеется…

Глава VII

Едва мне минуло пятнадцать лет, я поступил на консервную фабрику. В течение нескольких месяцев я работал не менее десяти часов в сутки. Если к десяти часам работы у машины прибавить час на обед, время на ходьбу из дому на фабрику и с фабрики домой, на одевание утром и на утренний завтрак, на ужин, раздевание вечером и укладывание в постель, то из двадцати четырех часов с трудом можно выкроить девять, необходимых, чтобы выспаться здоровому юноше. Из этих девяти часов, уже лежа в постели, со смыкающимися глазами, я умудрялся урывать время для чтения.

Но часто случалось, что я кончал работу не раньше полуночи. Иногда мне приходилось работать по восемнадцать и двадцать часов подряд. Однажды я работал у машины без перерыва тридцать шесть часов. Бывали недели, когда я кончал работу не раньше одиннадцати, приходил домой и ложился спать в половине двенадцатого, а утром меня поднимали в половине шестого. Я одевался, перекусывал и шел на работу, чтобы поспеть к гудку в семь часов.

Тут уж было не до того, чтобы урывать время для чтения моих любимых книг. Что мог сделать Джон Ячменное Зерно с таким усердным работником, с таким пятнадцатилетним стоиком? Все, что угодно. Я вам сейчас докажу.

Я задавался вопросом: неужели смысл жизни заключается в том, чтобы быть рабочим скотом? Я не видел, чтобы хоть одна лошадь в Окленде работала столько часов, сколько работал я. Я вспоминал свою лодку, праздно лежавшую у пристани и облепленную ракушками; вспоминал ветер, свистевший каждый день в заливе, восходы и закаты солнца, которых я уже никогда не увижу; соленый запах моря, прикосновение соленой воды к телу, когда я купался в море. Я вспоминал всю красоту и все прекрасное, в чем мне теперь было отказано. Существовал только один способ избавиться от этой убийственной работы — уйти в море. Я должен зарабатывать себе хлеб на море. А дорога к морю неизбежно ведет в лапы к Джону Ячменное Зерно. Я не знал этого. Но когда и узнал, у меня нашлось достаточно мужества, чтобы не вернуться обратно к своей скотской работе у машины.

Я хотел быть там, где веет свежий ветер приключений. А ветер приключений гоняет шлюпы устричных пиратов вдоль всей бухты Сан-Франциско, от устричных отмелей до городских верфей, куда по утрам являются покупатели, разносчики и содержатели кабаков. Налет на устричную отмель являлся преступлением, которое каралось заключением в тюрьме, полосатой арестантской курткой и тяжелыми работами. Но что из этого? У арестантов рабочий день короче, чем у меня на фабрике, и в положении устричного пирата и даже арестанта было куда больше романтизма, чем в положении раба машины. Разные меня одолевали соображения, но сильнее всего был во мне дух юности, дух романтики и приключений.

Я поговорил на эту тему с Мамми Дженни, моей старой кормилицей, черную грудь которой я сосал в детстве. Она была богаче, чем мои родители: служила сиделкой и получала за это хорошее вознаграждение. Не одолжит ли она своему «белому питомцу» денег? Не одолжит ли! Все, что у нее есть, она отдает мне!

Затем я разыскал Француза Фрэнка, устричного пирата, который, как я слышал, хотел продать свой парусный шлюп «Рэзл-Дэзл», на котором он сегодня принимал гостей. Шлюп стоял в это время на якоре у Аламеды, около моста. Он согласился продать шлюп, но попросил меня подождать до завтра, так как сегодня воскресенье и у него на борту гости. Завтра можно будет подписать договор, и я стану хозяином лодки. Он пригласил меня пока сойти вниз и присоединиться к гостям. Компания состояла из двух сестер: Мэйми и Тэсс, миссис Хедли, сопровождавшей их, и двух молодых устричников — шестнадцати и двадцати

лет — Боба, по прозвищу Виски, и Хили, прозванного Пауком. Виски был устричным пиратом, а Паук промышлял в порту. Мэйми, племянница Паука, была известна под именем Королевы устричных пиратов и нередко возглавляла их пирушки. Фрэнк, как я узнал потом, был влюблен в Королеву, но взаимностью не пользовался.

Фрэнк решил вспрыснуть нашу сделку и налил мне стакан красного вина. Я вспомнил красное вино, которым еще в детстве напоили меня у итальянцев, и меня передернуло: пиво и виски были мне менее противны. Но Королева смотрела на меня в упор, держа недопитый стакан в руке. Это пробудило во мне самолюбие, и я захотел доказать ей, что, несмотря на свои пятнадцать лет, я тоже взрослый мужчина, не хуже других. Сестра Королевы, миссис Хедли и мужчины — все держали стаканы в руках… Я захотел доказать, что я не мальчишка, и осушил стакан залпом.

Я дал Фрэнку задаток — двадцать долларов золотом, и он был очень доволен сделкой. Он налил всем еще по стакану. Я решил не отставать: я знал, что желудок и голова у меня достаточно крепки и здоровы, чтобы выдержать хотя и недельную попойку.

Начали петь. Паук спел арестантскую песню «Бостонский вор» и «Черную Лулу»; Королева — «Я хотела бы быть птичкой», а сестра ее — «Не обижай мою дочь». Веселье становилось все более шумным. Все пили и поминутно чокались, а я старался не допивать стакан до конца и потихоньку выплескивал вино за борт.

Я думал так: у каждого человека есть какие-то странности; очевидно, эти люди находят какую-то прелесть в этом противном красном вине… Что ж… дело вкуса. Я тоже должен делать вид, что оно мне нравится, чтобы не пасть в их глазах. Ну и прекрасно, пусть думают, что я люблю его, а я постараюсь все-таки пить как можно меньше. Королева внезапно почувствовала прилив симпатии ко мне: ведь я присоединялся к компании устричных пиратов на собственном шлюпе! Она позвала меня погулять с ней по палубе. Она-то, разумеется, знала, что Фрэнк, оставшись внизу, в каюте, терзается бешеной ревностью, но я об этом не имел ни малейшего понятия. К нам постепенно стали подходить снизу: ее сестра Тэсс, Паук и Боб; потом пришли миссис Хедли и Фрэнк. Огромная бутыль передавалась по кругу, все продолжали пить и горланить, я один оставался трезвым.

Я не сомневаюсь в том, что мне эта попойка доставляла гораздо больше удовольствия, чем им всем. Мне нравилась эта богема: жизнь ее была так не похожа на однообразную трудовую жизнь, которая еще вчера была моим уделом. Здесь меня окружали веселые, храбрые хищники, не желавшие быть в рабстве у машин и подчиняться стесняющему их свободу закону, — храбрый народ, ежеминутно рискующий свободой и даже самой жизнью. Ячменное Зерно помог мне ближе сойтись с этими мужественными, свободолюбивыми людьми.

Вечерний бриз освежил мне легкие. В канале поднялось волнение, с моря начали возвращаться суда и гудками требовали, чтобы развели подъемный мост. Проходили буксиры, поднимая волны. Баржа с сахаром тащилась на буксире в море. Солнце омывалось в волнах. Жизнь была хороша. Паук пел арестантскую песню:

Ах, моя Лулу, моя черная милка!
Где же ты была, моя крошка Лулу?

Вот он, протестующий дух мятежа, приключения, романтика запретных поступков, которые совершаются смело и благородно. Я знал, что завтра не пойду на фабрику к своей машине. Завтра я уже буду устричным пиратом, свободным постольку, поскольку это возможно в условиях жизни нашего века в водах Сан-Франциско. Паук уже согласился быть «экипажем» моего судна, а также и поваром, а на мне будет работа на палубе. Завтра с утра мы запасемся провизией и пресной водой, поднимем главный парус,

когда подует бриз и начнется отлив, и выйдем из лимана. Затем ослабим паруса и с первым приливом пойдем к Спаржевым островам, где и бросим якорь за несколько миль от берега. Наконец-то осуществится моя мечта: я буду спать на корабле. На следующее утро я проснусь в море! И после этого буду проводить на воде уже все мои дни и ночи.

Когда вечером Француз Фрэнк спустил лодку, чтобы переправить своих гостей на берег, Королева попросила меня перевезти ее на берег в моей лодке. Я не понял, почему Француз Фрэнк вдруг раздумал ехать сам и поручил перевезти гостей Бобу, а сам остался на борту. Не понял я ничего даже и после того, как Паук, хитро подмигивая мне, проронил: «Ты, я вижу, малый не промах». Но где же было мне, пятнадцатилетнему мальчишке, понять, что седой, пятидесятилетний дядя приревновал ко мне свою зазнобу?

Глава VIII

На следующее утро мы встретились, как это и было решено, в одном из кабаков, где совершались такие сделки. Я заплатил деньги, получил расписку и спрятал ее в карман. Фрэнк поставил угощение. Я понял, что так принято, и нашел, что это даже вполне справедливо, чтобы часть денег, полученных при совершении сделки, тратилась в том же заведении, где сделка заключена. Но я очень удивился, когда увидел, что Фрэнк угощает всех посетителей кабака. Что мы с ним вспрыскивали сделку — это понятно. Но зачем же угощать всех посторонних посетителей и самого хозяина, который получает еще и барыш с каждого выпитого им стакана вина? Ну, пусть он угощает Боба и Паука — друзей, но при чем тут какие-то грузчики, никому не известные Билл Келли и Суп Кеннеди?

Вместе с братом Королевы, Пэтом, нас стало восемь человек. Хотя было еще очень рано, все потребовали виски, мне только оставалось сделать то же самое, и я крикнул: «Виски!» с таким видом, будто это для меня самое привычное дело, и я повторяю этот приказ в тысячный раз. Что это было за виски! Я выпил его тогда одним духом, не моргнув, но до сих пор не могу… б-р-р-р-р!.. забыть его противный вкус.

Я был удивлен и тем, как дорого обошлось Французу Фрэнку это угощение. Он выложил на стойку восемьдесят центов. Восемьдесят центов! Мое чувство бережливости взбунтовалось. *Восемьдесят центов* — ведь это восемь утомительных часов фабричной работы, а между тем они моментально исчезли без следа в наших глотках, и после них ничего не осталось, кроме отвратительного вкуса во рту. Что за расточительность со стороны Фрэнка!

Мне не терпелось поскорее оказаться на свежем воздухе, вступить во владение своим судном и выйти на нем в море. Но никто не спешил уходить, в том числе и мой «экипаж» в лице Паука. Я не мог понять, почему они медлили. После я не раз задавался вопросом, какого мнения была эта компания обо мне: человек пил с ними, якшался с ними и даже не подумал выставить им угощение и со своей стороны.

Француз Фрэнк, получив с меня деньги, стал смотреть на меня каким-то странным, холодным взглядом. Я тогда не понимал, какие ужасные муки он испытывал. Я удивился еще больше, когда хозяин кабака, перегнувшись через стойку, шепнул мне: «Он сердит на вас, берегитесь».

Я кивнул головой, чтобы показать, что я понимаю, в чем дело (мужчина должен понимать душевное состояние других мужчин), но на самом деле я так-таки ничего не понимал. Где же мне было понимать, когда у меня не было других мыслей, кроме как о разных необыкновенных приключениях, когда я даже забыл о самом существовании какой-то женщины, в которую Француз Фрэнк влюблен до безумия. Да я и не подозревал последнего обстоятельства. Мне и в голову не приходило, что все в порту говорили, будто Королева и смотреть не хочет на Француза с момента моего появления на его судне. Я не подозревал также, что неприязненное отношение ко мне брата Королевы, Пэта, объясняется этой же причиной; по простоте душевной, я думал, что он вообще мрачен по природе.

Виски Боб поманил меня к себе и шепнул мне на ухо:

— Держи ухо востро! Француз сердит на тебя. Мы отправляемся с ним вверх по реке, чтобы купить шхуну, и когда он вернется на промысел, ты смотри не зевай. Он хочет потопить тебя. Когда солнце взойдет, снимись с якоря и перейди куда-нибудь на другое место. Да погаси, смотри, сигнальные огни. Предупреждаю тебя, держи ухо востро!

Я поблагодарил его и вернулся к стойке. Но и тут я не сообразил, что мне следовало бы угостить компанию. Я не знал, что таков обычай. Я позвал Паука, и мы вместе вышли на улицу. Теперь, вспоминая

это время, я сгораю от стыда при мысли, что они должны были говорить обо мне в мое отсутствие.

Притворно-равнодушным тоном я спросил Паука, за что на меня сердится Фрэнк.

— Да он просто приревновал тебя, — ответил тот.

— Неужели? — сказал я, но больше не пробовал заговаривать на эту тему.

Я принял равнодушный и небрежный вид, как будто это было мне совершенно неинтересно, но читатель поймет, какие чувства обуревали пятнадцатилетнего самолюбивого паренька, когда он узнал, что к нему приревновал женщину пятидесятилетний моряк, исколесивший весь свет, и еще какую женщину — женщину с романтическим прозвищем «Королева устричных пиратов»! Мне приходилось читать о подобных случаях в книгах, я верил в то, что и на мою долю выпадут такие приключения, но не думал, что это наступит так скоро. Разумеется, я чувствовал, что мне и сам черт не брат, когда мы, снявшись с якоря и подняв парус, плавно понеслись по заливу.

Итак, я променял кабалу фабричного рабочего на вольную жизнь устричных пиратов. Началась эта жизнь попойками, а впереди предстояло то же самое. Но не отказываться же мне из-за этого от такой интересной жизни!.. Люди всегда пьют там, где царит вольная интересная жизнь. Романтика и интересные приключения всегда неразлучны с Ячменным Зерном, и, если я хочу на опыте изведать и то и другое, я должен примириться и с Ячменным Зерном. Иначе мне придется познакомиться с миром приключений только по книгам, а жизнь провести за скучной работой на консервной фабрике за десять центов в час.

Ну, нет, я не откажусь от этой новой жизни из-за того только, что мои товарищи любят выпить винца, пива и виски. Им, видно, нравится, когда я пью вместе с ними, ну и буду пить. Это не так страшно, только не стоит напиваться каждый раз допьяна. Остался же я трезвым в воскресенье, когда я купил «Рэзл-Дэзл», тогда как все остальные были пьянехоньки. Я решил и в будущем держать себя точно так же: буду пить, чтобы не портить компании, но не буду напиваться.

Глава IX

Мое вступление в компанию устричных пиратов ознаменовалось целым рядом попоек. Их жизнь, по мере того как я втягивался в нее, все больше нравилась мне. В моей памяти всегда будет живо воспоминание о той ночи, когда обсуждался план нападения на устричные отмели в компании рослых храбрецов, собравшихся на шхуне «Энни»; это были все враги закона, по которым давно плакала тюрьма, среди них — и бывшие каторжники, с грубыми голосами — они носили высокие морские сапоги и непромокаемые плащи, а за поясом у них висели револьверы.

О, я знаю теперь, оглядываясь назад, что тут было много грязи и глупости. Но я не оглядывался назад тогда, когда шел плечо к плечу с Джоном Ячменное Зерно и начинал привыкать к нему. Это была дикая и смелая жизнь, и я переживал наяву те приключения, о которых раньше только читал в книгах.

Нельсон, по прозвищу Задира Младший (в отличие от его отца, которого звали Задирой Старшим), был владельцем шлюпа «Северный Олень», на котором он плавал вместе со своим товарищем Ракушкой. Ракушка тоже слыл отпетым парнем, но Нельсон был прямо каким-то бешеным. Ему было лет двадцать, ростом и сложением, как Геркулес. Через два года его убили, и коронер утверждал, что в мертвецкую еще никогда не попадал такой великан.

Нельсон не умел ни читать, ни писать. Он вырос на море и редко сходил на берег. Его необыкновенная сила и бешеный нрав внушали страх посетителям всех кабаков в порту. Он был очень горяч и в гомерическом гневе своем мог наделать много бед. Я познакомился с ним, когда мой «Рэзл-Дэзл» в первый раз вышел на промысел. Разразилась сильная буря; мы все стали на якоря и не решались даже съехать на берег, а Нельсон носился по волнам на своем «Северном Олене», собирая устриц.

Нельсон был далеко не последней фигурой в нашей компании. Поэтому я был очень польщен, когда однажды он остановил меня около кабака «Разлука» и заговорил со мной; когда же он предложил мне зайти в кабак и выпить с ним, я совсем потерял голову. Мы подошли к стойке и выпили по стакану пива; разговор наш вертелся вокруг устриц и лодок; потом мы поговорили о загадочном происшествии со шлюпом «Энни», главный парус которого кто-то прострелил дробью. Кто бы мог это сделать?

Меня очень удивило, что, после того как пиво было нами выпито, мы еще долго стояли у стойки. Разумеется, я не решился уйти первым. Через несколько минут Нельсон предложил выпить еще. Я очень удивился его предложению, но поспешил согласиться. Еще выпили, еще поговорили, а Нельсон и не думал уходить.

Ход моих мыслей в то наивное время был у меня следующий: мне льстило, что Нельсон, которого все в заливе считали героем, удостоил меня своим обществом. На мою беду, ему понравилось угощать меня пивом. Хотя я не люблю пива и мне противен его вкус, но не могу же я, из-за своей нелюбви к пиву, отказаться от угощения и лишиться чести оказаться в обществе Нельсона? Мне ничего не оставалось, как примириться с этим.

Итак, мы выпили несколько стаканов пива, не переставая разговаривать. Нельсон сам заказывал пиво и сам же платил за него. Очевидно, Нельсон продолжал угощать меня из любопытства, желая узнать, до каких же пор я буду угощаться за его счет и когда же я, наконец, догадаюсь, что пора и мне угостить его.

Когда нами было выпито уже по шесть стаканов, я вспомнил о своем решении не напиваться допьяна и решил прекратить это дело. Я сказал Нельсону, что должен вернуться на «Рэзл-Дэзл», которая стоит у пристани, недалеко от кабака, простился с ним и ушел к себе. Но Ячменное Зерно, в образе выпитых мною шести стаканов, пошел вместе со мной. Я был возбужден и чрезвычайно гордился собою, я чувствовал себя

настоящим устричным пиратом, возвращающимся на собственное судно, после того как ему удалось провести время в дружеской беседе в кабаке «Разлука» с Нельсоном, которого все считают героем. Я вызывал в своем воображении картину, как мы стоим с ним рядом у стойки, со стаканами в руках, и это воспоминание рождало во мне чувство торжества. Я не мог отделаться от одной мысли: как странно, что люди тратят — и, по-видимому, с удовольствием — деньги на угощение пивом человека, который даже не любит этого напитка. Но понемногу я стал припоминать, как часто при мне люди входили в «Разлуку» по двое, и при этом оба попеременно угощали друг друга. Еще я вспомнил, как на «Айдлере» я, китолов и Скотти выложили на стол свои деньги, чтобы купить на них виски. Припомнил я также обычай, существовавший среди мальчиков-газетчиков: если какой-либо мальчик угостит другого «пушечным ядром» или тянучкой, то на следующий день тот должен ответить тем же.

Тут я понял, почему Нельсон так долго стоял у стойки. Он ждал, что после того, как я выпью его пиво, я предложу ему угощение. А я выпил целых шесть стаканов и не угостил его. И такую штуку я выкинул с кем?.. С самим Нельсоном! Я не знал, куда деваться от стыда. Я сел на бревно и закрыл лицо руками. Я не раз краснел в жизни, но не помню, чтобы в моей жизни случалось что-либо подобное раньше: у меня покраснело не одно лицо — краска залила лоб и шею.

Пока я сидел так на бревне, я о многом передумал и на многое взглянул иначе. Я родился в бедной семье, бедствовал всю жизнь и нередко голодал. Я никогда не знал, что значит иметь собственные игрушки. Насколько я помню себя с раннего детства, нищета сопутствовала мне на протяжении всей жизни. Когда мне было восемь лет, я в первый раз надел рубашку, купленную в магазине. Но поскольку такая рубашка у меня была лишь одна, то, когда ее стирали, мне приходилось надевать неуклюжие рубашки, сшитые дома. Мне очень нравилась эта рубашка, и я хотел носить ее так, чтобы она была на виду и не надевать ничего сверху. Ради этого я не остановился даже перед ссорой с матерью. Я истерически разрыдался, и матери волей-неволей пришлось позволить мне носить мою рубашку так, чтобы все ее видели.

Только тот, кто голодал, может оценить по достоинству пищу; только те, кто путешествовал на море или в пустыне, могут оценить питьевую воду, и только ребенок, одаренный богатой фантазией, может оценить те вещи, которых он был лишен в детстве. Я рано ознакомился с истиной, что никто, кроме меня самого, не сможет мне дать того, чего я хочу. Пережитая в детстве нужда сделала меня скупым. Первыми вещами, приобретенными мной самостоятельно, были картинки от папиросных коробок, плакаты о новых папиросах и альбомы — премии табачных магазинов. Заработанные деньги я отдавал семье, а для того, чтобы приобрести нужные мне предметы, я вечерами продавал экстренные выпуски газет. Когда мне попадались два экземпляра одинаковых, я обменивал их у мальчиков на что-нибудь другое. Благодаря моей работе я метался по всему городу, и это позволяло мне легко устраивать всевозможные коммерческие сделки. Таким образом, я собрал полную коллекцию плакатов всех табачных фабрик: тут были и «Известнейшие скаковые лошади мира», и «Парижские красавицы», и «Женщины всех национальностей», и «Флаги всех государств», и «Знаменитые актеры», и «Чемпионы мира» и т. д. Все серии были у меня в трех видах: картинки с папиросных коробок, плакаты и альбомы.

Затем я стал собирать вторые экземпляры всех трех серий. В обмен на них я приобретал у других ребят вещи, купленные ими на родительские деньги. Разумеется, эти мальчики не могли так же хорошо разбираться в ценности вещей, как я, которому никто денег не давал и который зарабатывал их сам. Я менял всё, что можно: почтовые марки и минералы, птичьи яйца и игральные шарики, а также любые предметы, имевшие особенную ценность в глазах детей. Шариков у меня была целая коллекция. Началось с того, что один мальчик дал мне несколько в заклад под двадцать центов, которыми я ссудил его. Потом он попал в колонию для малолетних преступников, не успев выкупить шарики, и таким образом они остались у меня.

Я менял свои вещи на все что угодно и менял до тех пор, пока мне не попадалось в руки что-нибудь ценное. Скоро я стал известен в этой среде, но одновременно прослыл и за страшного скрягу: я торговался так, что даже скупщик старья мог бы прийти в отчаяние. Поэтому ребята часто просили меня продать принадлежавшие им пустые бутылки, тряпье, ломаное железо, жестянки, старые мешки и прочее и давали мне за эти услуги определенные комиссионные.

И этот скупердяй, получавший десять центов в час за изнурительную работу на фабрике, сидел теперь на бревне на набережной и размышлял о том, что стакан пива, исчезающий в глотке без всякого следа, стоит целых пять центов. Я живу теперь среди людей, которые возбуждают во мне благоговение и обществом которых я очень дорожу. Моя бережливость не давала мне и тени того удовлетворения жизнью, какое я испытываю в настоящее время, сделавшись устричным пиратом. Что же представляет бóльшую ценность — наслаждение или деньги? Этим людям ничего не стоит вышвырнуть пять центов — сколько угодно раз по пять центов. Они не придают цены деньгам и в состоянии угостить восемь человек, истратив по десяти центов на каждого, как сделал это Француз Фрэнк. Нельсон тоже истратил сегодня шестьдесят центов, чтобы угостить меня пивом.

Что же делать? Я понимал, что мне предстоит остановиться на каком-либо решении и сделать выбор. Что мне дороже — люди или деньги, удовольствия или сбережения? Надо или отрешиться от прежнего отношения к деньгам и без сожаления тратить их направо и налево, или отказаться от общества этих людей; если же мой выбор остановится на людях, то мне придется примениться к их странной склонности к спиртному и уже не скупиться на деньги так, как прежде.

Я пошел обратно в «Разлуку». Нельсон стоял в дверях.

— Пойдем, выпьем, — предложил я.

Мы опять стояли у стойки, пили и разговаривали, но теперь уже я выложил десять центов. Да, я истратил десять центов, приобретенных ценой утомительной работы на фабрике, истратил на то, что было мне абсолютно не нужно и противно на вкус. Но я не жалел об этом. Решение мое было принято, и мой взгляд на вещи совершенно изменился. Деньги отошли у меня на второй план, а на первом стояла дружба.

— Выпьем еще, — предложил я.

Мы опять выпили, я опять заплатил. Нельсон, с осторожностью опытного пьяницы, попросил кабатчика налить ему неполный стакан; Джонни кивнул головой и налил ему стакан на одну треть, но цена от этого не уменьшилась.

Но меня и это не обеспокоило. Я занимался наблюдениями и учился жить. Мне становилось ясно, что в случае взаимного угощения главную роль играет не количество выпитого. Существенное значение имеет компания. Я с особенным удовольствием воспользовался своим правом заказывать неполные стаканы и этим облегчить неприятные обязанности, налагаемые чувством товарищества.

— Пришлось ходить на шлюп за деньгами, — заметил я с притворным равнодушием, чтобы объяснить свое неприличное поведение, когда я позволил Нельсону угостить себя шестью стаканами подряд.

— Не стоило, — сказал Нельсон. — Джонни поверил бы тебе в долг. Правда, Джонни?

— Разумеется, — ответил тот, приветливо улыбаясь.

— Кстати, сколько там приходится с меня? — спросил Нельсон.

Джонни достал из-под стойки книгу, открыл ее на той странице, где был записан счет Нельсона, и подсчитал: в итоге получилось несколько долларов. Я решил, что должен добиться того, чтобы и у меня была такая же запись в этой книге: я думал, что это будет последним штрихом, которого мне недостает для солидности.

Мы выпили еще по два стакана. Нельсон хотел заплатить за них, но я этого не допустил. Потом Нельсон сказал, что ему пора идти. Мы распрощались как добрые знакомые, и я пошел на «Рэзл-Дэзл». Паук растапливал печь и собирался готовить ужин.

— Где это ты так надрызгался? — усмехнулся он.

— Да с Нельсоном, — ответил я умышленно небрежно, но втайне гордясь этим.

Мне пришла в голову блестящая идея — угостить Паука. Уж коли идти по новой дороге, то идти до конца.

— Идем к Джонни, выпьем чего-нибудь, — предложил я.

На набережной мы встретили Ракушку, который был товарищем и компаньоном Нельсона. Это был высокий, красивый, длинноволосый брюнет, лет тридцати, отличавшийся ловкостью и храбростью.

— Пойдемте, выпьем, — предложил я ему.

Он охотно согласился и пошел с нами. У дверей кабака мы встретили Пэта, брата Королевы, выходившего оттуда.

— Куда ты? — остановил я его. — Пойдем, выпьем с нами.

— Я сейчас выпил стакан пива, — ответил он.

— Ну, ничего, выпьешь еще стаканчик.

Пэт согласился. Выпив два стакана, он воспылал ко мне самыми дружескими чувствами. Тогда я ознакомился с некоторыми новыми свойствами Ячменного Зерна. При его посредничестве человек, питавший ко мне не совсем-то дружелюбные чувства и готовый стать моим врагом, за десять центов сделался моим другом; он смотрел на меня дружелюбным взглядом и дружелюбно разговаривал со мной об устричных отмелях и о наших общих делах.

— Мне неполный, Джонни, — сказал я кабатчику, после того как остальные заказали большие кружки. Я проговорил эту фразу таким естественно-небрежным тоном, как будто я был завсегдатаем кабака и тысячу раз произносил эту фразу. По-видимому, этому поверили все, за исключением кабатчика.

— Где это он так наклюкался? — шепотом спросил Паук у Джонни.

— Они с Нельсоном пьянствовали тут чуть не с самого полудня, — так же тихо ответил ему Джонни.

Я сделал вид, что не слышал их разговора, хотя последние слова и вызвали во мне безграничную гордость. «Они пьянствовали тут с Нельсоном чуть не с самого полудня» — в таких выражениях говорят только о настоящих мужчинах. Волшебные слова, равносильные посвящению в мужчины.

Я вспомнил, что во время покупки «Рэзл-Дэзл» Фрэнк угощал также и кабатчика. Прежде чем выпить из вновь налитых стаканов, я сказал ему: «Выпейте с нами, Джонни». Я старался дать понять, что уже давно хотел это сказать, но вот увлекся интересной беседой с Ракушкой и Пэтом.

Джонни быстро взглянул на меня, видимо, поражаясь моим успехам, и налил себе виски из особой бутылки, из которой не наливал никому. Меня немного покоробило, что он налил себе виски, стакан которого стоил десять центов, тогда как мы пили пиво, стоившее пять центов. Но я постарался подавить чувство недовольства, считая его недостойным себя после принятого мной сегодня решения.

— Запишите, пожалуйста, на мой счет, — сказал я после того, как все поставили на стойку опорожненные стаканы. Я с удовольствием увидел, как Джонни открыл для меня новую страницу в книге и записал на мой счет тридцать центов. В воображении я рисовал себе блестящее будущее, когда вся моя страница будет заполнена записями, затем перечеркнута и затем для меня откроется новая страница.

Я угостил снова все общество, а потом Джонни удивил меня: он от себя угостил всю нашу компанию и этим более чем щедро расплатился за десятицентовый стаканчик виски.

— Ну, теперь айда в «Сент-Луис», — предложил Паук, когда мы вышли из кабака. Пэта уже не было с нами — он целый день грузил уголь и ушел домой, а Ракушка ушел на «Северный Олень» готовить ужин. В «Сент-Луис» мы пошли с Пауком вдвоем. Я впервые попал в этот большой кабак. Там было около пятидесяти посетителей, в большинстве грузчики. Потом пришли Суп Кеннеди и Билл Келли, затем Смит с «Энни» и Нельсон. Меня познакомили с хозяевами кабака, братьями Виги, и с каким-то человеком необычайно уродливой внешности, у которого были злые глаза и перебитый нос, но который играл на гармонике, как небожитель.

Я не скупился на угощение (впрочем, угощал не я один), как вдруг сообразил, что этак, пожалуй, из моей недельной получки останется очень немного, а мне надо было уплатить часть долга облагодетельствовавшей меня старушке Мамми Дженни. «Ничего, — беззаботно решил я, или, правильнее сказать, решил за меня Ячменное Зерно, — ты мужчина, и тебе надо вести компанию с мужчинами. Мамми Дженни не так уж нуждается в деньгах. Она не умирает с голоду, и, наверное, у нее еще есть деньги в банке. Она может и подождать немного».

Таким образом я открыл в Ячменном Зерне еще одно новое свойство: он понижает нравственный уровень людей. Многое в состоянии сделать человек пьяный, чего никогда не сделал бы трезвым.

Я с усилием отогнал воспоминание о долге старой негритянке, продолжал знакомиться с новыми людьми, наблюдать за нравами, причем неприятный вкус от алкоголя не только не уменьшался, а все усиливался. Не помню, кто доставил меня в конце концов на шлюп, должно быть, Паук.

Глава X

С этого времени я был признан настоящим мужчиной и сразу вырос в глазах портовых рабочих и устричных пиратов. Я прослыл славным малым и храбрым человеком. Интересно, что стоило мне только изменить взгляд на деньги, как я тотчас же перестал дорожить ими; не только никто уже не считал меня скрягой, но родные даже стали огорчаться из-за моего беззаботного отношения к деньгам.

С прежним скопидомством было безвозвратно покончено — настолько, что я написал матери и попросил ее отдать соседским ребятам все собранные мной коллекции; при этом я даже не поинтересовался тем, кому какая коллекция достанется. Я стал взрослым мужчиной и навсегда покончил со всем, что связывало меня с детством.

Моя известность возрастала. Когда в порту узнали, что Француз Фрэнк собирался было продырявить мой шлюп носом своей шхуны, но я встретил его нападение на палубе «Рэзл-Дэзл» с ружьем в руках и правя рулем при помощи ног, так что Француз в результате должен был свернуть в сторону, в порту решили, что во мне что-то есть, даром что я так молод. Но я продолжал отличаться. Не раз я вдвоем с помощником то привозил на «Рэзл-Дэзл» больше устриц, чем другие суда такого же размера, то после дальнего набега мое судно единственное вернулось на рассвете на свою якорную стоянку. Однажды, в ночь на пятницу, я пришел к рынку первым, без руля и снял сливки с оживленной ранней торговли. Случилось я привел мой шлюп под одним кливером.

Но все мои подвиги на воде не так шли в счет, как те хорошие качества, которые я проявлял на суше: был добрым малым, сорившим деньгами и угощавшим всех без разбора, направо и налево, как и подобает настоящему мужчине. Все, вместе взятое, и обеспечило мне прозвище «Принц устричных пиратов». Мне тогда и в голову не приходило, что в один прекрасный день оклендские портовые рабочие, грубыми нравами которых в первое время я так возмущался сам, возмутятся моими отчаянными выходками.

Этот период моей жизни был неразрывно связан с пребыванием в кабаках; кабак — это клуб обездоленных, это их салон. Кабак был местом встреч; там мы вспрыскивали свои удачи и оплакивали неудачи, там мы заводили новые знакомства.

Я хорошо помню начало моего знакомства с Задирой Старшим, отцом Нельсона. Нас познакомил хозяин кабака «Разлука» — Джонни Рейнгольдс. Задира был очень интересным типом. Он владел и управлял шхуной каботажного плавания «Энни Майн», на которую мне очень хотелось попасть. Этот высокий, сильный старый викинг, с голубыми глазами и светлыми волосами, плавал на всех морях земного шара, на кораблях всех национальностей — и плавал в то время, когда вся жизнь моряка состояла из самых разнообразных и интересных приключений. О нем рассказывались целые легенды, и я привык относиться к нему с обожанием. Встретиться с ним мы могли только в кабаке, и, кроме рукопожатия и взаимного обмена приветствиями, наше знакомство дальше не пошло бы, так как старик отличался молчаливостью. Но тут явился на выручку Ячменное Зерно.

— Выпьем, — предложил я, помолчав ровно столько времени, сколько требовало приличие. Согласно общепринятому кодексу человек, угощавшийся за счет другого, должен был разговаривать с ним и выслушивать его. Джонни, как положено хозяину, подал несколько удачных реплик; у нас появились темы для разговора. Разумеется, выпив пива за мой счет, Нельсон должен был, в свою очередь, поставить мне угощение; беседа наша затянулась.

Чем больше мы пили, тем ближе мы знакомились друг с другом. Я уже из книг знал ту жизнь, о которой он рассказывал, и поэтому я с большим вниманием слушал его рассказы. Он с удовольствием вспомнил и рассказал мне несколько интересных случаев из своей молодости, и мы славно скоротали

несколько часов в приятном разговоре и в шутках. Но если б не Ячменное Зерно, я не мог бы провести время так восхитительно; только Джон Ячменное Зерно мог заставить нас держаться на равных.

Джонни Рейнгольдс незаметно подал мне знак из-за стойки: не пора ли мне, мол, перейти на неполные стаканы. Но Нельсон продолжал опустошать полные стаканы, и я не хотел ударить в грязь лицом. Я перешел на неполные стаканы только после того, как их стал заказывать капитан Нельсон. К моменту прощания, длительного и очень дружелюбного, я был уже здорово пьян; да и Задира Старший был пьян не меньше. Только ложная скромность мешала мне признать, что он был пьян даже сильнее меня.

После этого Паук, Пэт, Ракушка и Джонни Рейнгольдс в один голос говорили мне, что я очень понравился Задире и он отзывается обо мне с похвалой. Это было тем более замечательно, что старик был нелюдим, зол и редко кого удостаивал одобрительного отзыва. Его расположение ко мне явилось результатом посредничества Ячменного Зерна. Этот случай лишний раз подтверждает, какие услуги оказывает Ячменное Зерно и чем он так крепко привязывает к себе людей.

Глава XI

Однако желания пить — органической потребности в алкоголе — у меня в ту пору еще не было, хотя я пил уже многие годы и пил помногу. Попойки были частым явлением в нашей жизни: люди, среди которых я жил, пили все поголовно. На воде я не пил вовсе и даже не брал с собой на борт спиртного. Пил я только на берегу, ибо чувствовал себя обязанным делать то, к чему призывал общественный долг, — угощать товарищей и давать им угощать себя; от этого не мог уклоняться ни один настоящий мужчина.

Иногда меня навещали Королева, ее сестра, брат и миссис Хедли. Я был хозяином шлюпа, а они гостями, и мой долг как хозяина состоял в том, чтобы оказывать им гостеприимство, а гостеприимство они понимали только в форме выпивки. Когда они являлись, я посылал Паука, или Ирландца, или Скотта, смотря по тому, кто из них был в это время в моей команде, за ведром пива или четвертью красного вина. По роду нашего ремесла нам нельзя было ссориться с полицией; когда полицейские в штатском платье навещали нас, мы потчевали их устрицами и, разумеется, ставили им и виски.

Несмотря на все это, я все еще не научился любить Джона Ячменное Зерно. Я был очень благодарен ему за оказанные мне услуги, но вкуса его никак не мог оценить. Как я ни старался поддерживать свое мужское достоинство, я не мог отделаться от позорного влечения к конфетам. Но я сгорел бы со стыда, если бы мою тайну узнали, и только иногда по ночам, когда мне удавалось спровадить мою команду на берег, я позволял себе вдосталь наесться сластей. Я отправлялся в библиотеку переменить книги, покупал на обратном пути несколько фунтов конфет, запирался в своей каюте, ложился на койку и в течение нескольких часов преприятно проводил время, читая книгу и истребляя в огромном количестве конфеты. Это были самые лучшие минуты в моей жизни.

Попойки представляли собой самые яркие эпизоды в жизни и являлись крупными событиями. Некоторые мои товарищи свободное от попоек время считали вообще прозябанием и жили только ожиданием моментов, чтобы напиться. Портовые рабочие всю неделю проводили в отупляющем труде, для того чтобы иметь возможность как следует кутнуть в субботу вечером; а мы — устричные пираты — работали и рисковали, терпели и торговались, чтобы, продав товар, вознаградить себя за все хорошей выпивкой. Хотя случайная встреча с приятелем могла изменить течение событий и привести к внеочередной попойке.

Именно эти «случайные» выпивки и были самыми интересными; за ними часто следовали любопытные приключения. После одной такой попойки Нельсон, Француз Фрэнк и капитан Спинк обнаружили украденную Виски Бобом и Греком Ники лодку, которую они спрятали под водой. Примерно в это время в компании устричных пиратов случились некоторые важные события. Нельсон подрался на борту «Энни» с Биллом Келли, получил пулю в лопатку и ходил с рукой на перевязи; потом он поссорился с Ракушкой и взял на «Северного Оленя» двух новых матросов, но те, испугавшись его диких выходок, бежали от него и рассказывали о нем на берегу такие страшные истории, что к нему никто не решался идти, и «Северный Олень» праздно стоял на якоре у берега. «Рэзл-Дэзл», со сломанной мачтой, стояла рядом с ней. Экипаж ее составляли мы со Скотти. Виски Боб повздорил с Фрэнком и ушел с Греком Ники к устью реки Сакраменто; оттуда они привели новую лодку, украденную у итальянцев. Владельцы ее потом явились в гавань и искали свою лодку у всех устричных пиратов. Мы понимали, что только Виски Боб и Грек Ники могли ее украсть. Но куда они ее спрятали? Сотни греков и итальянцев участвовали в поисках; они тщательно обшарили все уголки залива и устье реки, но ничего не могли найти. Тогда владелец лодки обещал тому, кто найдет ее, награду в пятьдесят долларов. Разумеется, это вызвало еще больший интерес к пропавшей лодке.

В воскресенье ко мне пришел старый капитан Спинк и с таинственным видом рассказал мне, что, когда он ловил рыбу у Аламедской пристани, во время отлива увидел у одного столба привязанный к нему конец веревки. Он попробовал потянуть за веревку и поднять то, что было к ней привязано, но это оказалось ему не по силам. У другого столба подальше был привязан другой конец веревки, тоже прикрепленный под водой к чему-то очень тяжелому. Похоже, это и есть пропавшая лодка. Капитан пришел, чтобы уговорить меня помочь ему поднять лодку и заработать пятьдесят долларов. Но я считал, что у воров тоже должны быть свои понятия о чести, и отказался от участия в этой операции.

Но Француз Фрэнк и Нельсон были в ссоре с Виски Бобом. (Бедняга Виски Боб! Он был добрым и благородным малым, но слабохарактерным и алкоголиком; в скором времени после описанных событий его тело нашли в заливе, продырявленное пулями). Не прошло и часу после того, как я отказался от предложения капитана Спинка, мимо меня прошел «Северный Олень». Капитан стоял с Нельсоном на борту. Сзади шла шхуна Француза.

Через некоторое время они явились обратно и шли как-то странно, рядышком; когда они повернули, огибая мель, я увидел, что из воды торчит нос рыбачьей лодки. Она была привязана канатами к шлюпу и к шхуне за шкафут. Отлив был уже в полном разгаре, и они уткнулись прямо в песок, с рыбачьей лодкой посередине. Тотчас же Ганс, матрос со шлюпа, спустил шлюпку и направился в порт; по торчавшей на носу лодки пустой бутыли легко было догадаться о цели этого путешествия. Мужчины хотели поскорее вспрыснуть так легко доставшиеся пятьдесят долларов. Вообще у всех поклонников Ячменного Зерна одинаковая психология: они пьют с радости и с горя; в последнем случае они пьют за будущую удачу, которая должна, рано или поздно, выпасть на их долю; пьют от радости при встрече с приятелями и пьют после ссоры с ними — с горя, что потеряли их; если им везет в любви, они пьют от радости, а если не повезло, то пьют с горя. В периоды безделья они тоже ощущают потребность выпить как можно больше — чтобы в голове зашумело и чтобы время не шло праздно. В трезвом состоянии они сгорают от желания выпить, а во время попойки у них появляется желание пить без конца.

Разумеется, компания пригласила и меня со Скотти. Мы стали помогать им истратить награду, которая еще не была получена. Пили мы здорово. Нам было очень весело — мы пели, болтали, рассказывали о своих подвигах и осушали стакан за стаканом. Нас хорошо было видно на набережной, и наши приятели, привлеченные шумом, приплывали к нам на своих лодках и присоединялись к нашей компании. Ганс то и дело ездил на берег с пустыми бутылками.

Веселье достигло своего апогея, когда пришли совершенно трезвые Виски Боб и Грек Ники и стали с негодованием упрекать вероломных товарищей, выхвативших у них из-под носа добычу. Француз Фрэнк, по наущению Джона Ячменное Зерно, начал было горячую тираду о честности и других добродетелях, но потом, не выдержав, вытащил Виски Боба на песок и задал ему, несмотря на свой преклонный возраст, здоровую трепку. Грек Ники вооружился лопатой и бросился Бобу на выручку, но Ганс предупредил его. Боба и Ники, избитых в кровь, посадили в их лодку и отправили домой, а победители сочли своим долгом отпраздновать победу.

Между тем орава наших гостей, представлявшая собой многонациональное сборище, вовсю демонстрируя разнообразные темпераменты, дошла уже до высоких градусов. Обычная сдержанность уступила место разнузданности и злобе: кто-то вспоминал старые обиды, пробуждалась старая вражда, и то тут, то там начиналась драка. Какой-то грузчик вспомнил, как его обидел устричник; устричник начал жаловаться на грузчика — в результате сжимались и шли в ход кулаки. По окончании драки пили за примирение, и недавние враги обнимали друг друга и клялись в вечной дружбе, до гробовой доски.

Вдруг входит Суп Кеннеди и требует свою старую рубаху, оставленную им когда-то на «Олене». Очевидно, он решил, что это самая подходящая минута для сведения счетов. Перед этим он пьянствовал в

пивной «Сент-Луис», и, очевидно, сам Джон Ячменное Зерно привел его сюда потребовать свою старую рубашку. Несколько брошенных им слов послужили сигналом к драке. Суп схватился с Нельсоном на палубе, и оба повалились. Сам того не подозревая, Суп был на волосок от смерти. Фрэнк едва не проломил ему череп железным ломом. Уж больно он рассвирепел, увидев, как человек с двумя здоровыми руками напал на однорукого. Если «Северный Олень» еще существует, то на его борту должен остаться след от удара лома, миновавшего, к счастью, голову Кеннеди.

Но Нельсон вытащил из лубка свою забинтованную, пробитую пулей руку и со слезами ярости рычал, что он справится с Супом Кеннеди и одной рукой. Мы предоставили им возможность помериться силами на песчаной отмели. Одно время, когда казалось, что Нельсону приходится туго, Ячменное Зерно вместе с Французом Фрэнком тоже ввязались в драку. Против этого запротестовал Скотти и кинулся на Фрэнка; тот повернулся к нему, повалил, сел на него верхом и начал обрабатывать кулаками. Они катались по песку взад и вперед. Пытаясь разнять их, мы затеяли с полдюжины новых драк. Кое-как их удалось унять с помощью бутылок и других мер. Однако Нельсон с Супом Кеннеди продолжали бой. Время от времени мы подходили к ним и давали различные советы. Так, когда они в изнеможении лежали на песке, не в состоянии драться, мы советовали им засыпать глаза противнику песком. Они начали швырять друг в друга песком, потом встали и продолжали драку до тех пор, пока окончательно не выбились из сил.

Все это было скверно, смешно и скотски грубо, но подумайте, что все это значило для меня — шестнадцатилетнего юноши, сжигаемого страстью к приключениям, голова которого была полна рассказов о пиратах, разоренных городах, вооруженных столкновениях и воображение которого до безумия было возбуждено алкоголем. Это была неприкрашенная жизнь, дикая и свободная, — естественная для тех мест, где я жил, для того времени, в которое я родился. И более того — эта жизнь была чревата обещаниями. Здесь только начало. С песчаной отмели через Золотые Ворота дорога вела в обширный мир приключений на всем необъятном свете, где уже будут битвы не из-за старой рубахи или рыбачьей лодки, а во имя иных, более высоких и более романтических целей.

Когда я пристыдил Скотти за то, что его поколотил старик, он начал ругаться, и мы тоже подрались на потеху остальным; в эту же ночь он ушел от меня, забрав с собой пару моих одеял. В течение всей ночи, пока устричники спали на своих койках мертвецким сном, шхуна и «Северный Олень» покачивались на якорях в высокой воде прилива. Рыбачья лодка, все еще наполненная камнями и водой, покоилась на дне.

Рано утром я услышал дикие крики, раздававшиеся с «Северного Оленя». Я вскочил, ежась от утреннего холода, и увидел зрелище, заставившее долгое время хохотать всю набережную. Красивая рыбачья лодка лежала на песке, раздавленная, плоская, как блин, а на ней торчали шхуна Француза Фрэнка и «Северный Олень». По несчастной случайности, крепкий дубовый нос лодки пробил две доски в борту «Северного Оленя». Когда начался прилив, в образовавшуюся брешь хлынула вода; Нельсон проснулся, когда вода начала заливать его койку. Я выскочил на помощь, и мы вместе выкачали воду из шхуны и заделали пробоину.

Потом Нельсон приготовил завтрак, и во время еды мы обсудили создавшееся положение. Он был разорен. Я тоже. Никогда нам уже не заплатят пятидесяти долларов за груду щепок, лежавшую на песке. У него была ранена рука и не было команды. У меня был сожжен главный парус и тоже не было команды.

— Что бы ты сказал, если б я предложил тебе работать в компании? — спросил Нельсон.

— Давай работать вместе, — последовал мой ответ.

Таким образом я вошел в компанию с Задирой Младшим — Нельсоном, самым диким и необузданным из всех устричных пиратов. Мы заняли у Джона Рейнгольдса денег, купили припасов, наполнили бочонки пресной водой и в тот же день отплыли к устричным отмелям.

Глава XII

Я никогда не жалел о тех сумасшедших месяцах, которые я провел в компании с Нельсоном. Да, он действительно умел управлять судном, хотя и заставлял дрожать от страха всякого, кто только плавал с ним. Быть всегда на волоске от гибели было для него наслаждением. Он гордился тем, что делает то, чего никто не осмеливается делать. У него был еще особый пунктик — никогда не брать рифы; за все время, пока я с ним плавал, «Северный Олень» ни разу не ходил под зарифленными парусами, как бы сильно ни дул ветер. Палуба у нас никогда не просыхала. Судно выдерживало огромное напряжение, но все-таки постоянно ходило под полными парусами.

Мы покинули Оклендскую пристань и вышли в открытое море, в поисках приключений. Эта славная страница моей жизни была возможна только благодаря Джону Ячменное Зерно. И в этом я обвиняю его. Я жадно стремился к жизни, полной приключений, но приобщиться к ней я мог лишь при благосклонном содействии Джона Ячменное Зерно. Таковы уж были люди, которые вели подобный образ жизни. Если я хотел жить, как они, я должен был делать то, что делают они. Только благодаря пьянству я стал товарищем и компаньоном Нельсона. Выпей я только то пиво, за которое заплатил он, или откажись я совсем пить, он ни за что не принял бы меня к себе. Ему нужен был товарищ, который не только с ним бы работал, но мог бы при случае и покутить.

Я весь отдался новой жизни. Почему-то я воображал, что весь секрет заключается в том, чтобы напиваться до бесчувствия, пройти последовательно через все стадии опьянения, которые может выдержать лишь железный организм, и наконец дойти до совершенной потери сознания и полного свинства. Мне не нравился вкус алкоголя, поэтому я пил исключительно для того, чтобы напиться — напиться безнадежно, до одури. Я, раньше трясшийся над деньгами Шейлок, скупой и бережливый и доводивший до слез старьевщиков, я, остолбеневший, когда увидел, как Француз Фрэнк истратил за один раз восемьдесят центов, угощая восемь человек виски, — я стал теперь относиться к деньгам более легкомысленно и беспечно, чем многие из знакомых мне пьяниц.

Я помню, как мы с Нельсоном как-то раз вечером сошли на берег. В кармане у меня было сто восемьдесят долларов. Я собирался купить себе сначала кое-что из одежды, а потом выпить. Одеться мне было необходимо. Все, что у меня было, я носил на себе, а это все состояло из следующих предметов: пары морских сапог, из которых вода, к счастью, так же быстро вытекала, как и попадала в них, из широких панталон ценой в пятьдесят центов; ситцевой сорокацентовой рубашки и клеенчатой шляпы. Обратите внимание, что я не упомянул ни о белье, ни о носках, — ни того ни другого у меня не было.

Чтобы дойти до лавок с готовым платьем, надо было пройти мимо дюжины кабаков. Поэтому я решил сначала выпить. До лавок с готовым платьем я так и не добрался. Утром, совершенно разбитый, с отравленным организмом, без денег, но довольный собой, я вернулся на судно, и мы вышли в море. У меня было только то платье, в котором я был, когда сходил на берег, а из ста восьмидесяти долларов не осталось ни одного цента. Людям, которые никогда ничего подобного не делали, может показаться невероятным, чтобы мальчишка мог за каких-нибудь двенадцать часов пропить сто восемьдесят долларов. Но я-то знаю, что это вполне возможно.

И я ни о чем не жалел. Я был горд. Я показал им всем, что умею тратить деньги не хуже самых расточительных из них. В обществе сильных людей я показал свою силу. Я доказал лишний раз, как уже часто доказывал раньше, свое право на титул Принца. Мое настроение можно отчасти объяснить реакцией на мою скудную жизнь и непосильную работу в детстве. Возможно, у меня в голове в то время было смутное сознание: лучше быть первым среди пьяниц и драчунов, чем гнуть спину за станком двенадцать

часов в сутки и получать десять центов в час. Когда работаешь на фабрике, то не переживаешь ярких моментов. Но если этот эпизод, когда я пропил сто восемьдесят долларов в течение полусуток, — не яркое событие, то я желал бы знать, что тогда называется ярким.

Не бойтесь — я пропущу многие подробности моего сближения с Джоном Ячменное Зерно за этот период моей жизни; я упомяну только про те случаи, которые могут пролить свет на его образ действий. Три обстоятельства позволили мне предаваться такому беспробудному пьянству: во-первых, необычайно здоровый организм, более крепкий, чем у большинства людей; во-вторых — здоровая жизнь на море; и в-третьих, то, что пил я не постоянно, а урывками. Когда мы выходили в море, мы никогда не брали с собой спиртных напитков.

Передо мной мало-помалу раскрывался мир. Я уже знал несколько сот морских миль, многие прибрежные города и рыбачьи деревушки. Беспокойный дух гнал меня дальше. Я еще не все видел. Многого я еще не знал. А Нельсону было довольно и того, что он успел повидать. Он тосковал по своей любимой Оклендской гавани; когда он решил туда возвратиться, мы расстались как самые лучшие друзья.

Теперь моей штаб-квартирой сделался старинный город Бенишия на проливе Каркинез. Здесь стоял на якоре в бухте целый ряд рыбачьих лодок; на них проживала теплая компания бродяг и пьяниц, к которым я и присоединился. Тут мне пришлось часто ездить вверх и вниз по реке, так как я поступил в рыбачий патруль. В промежутках между ловлей лососей и этими поездками мне удавалось чаще сходить на берег, и поэтому я стал больше пить и еще лучше узнал, что такое пьянство. Никто не мог меня перепить, хотя иногда я пил через силу, чтобы показать свое молодечество. Однажды утром меня без чувств вытащили из сетей, развешенных для просушки на шестах; накануне вечером я попал в них в пьяном виде, ничего не понимая, и запутался в них. Когда все в гавани со смехом и шутками вспоминали это происшествие и по этому случаю снова пили, я был страшно горд. Ведь это считалось настоящим подвигом.

А когда я как-то раз пил без просыпу целых три недели подряд, я решил, что дошел до точки. Ну, думал я, дальше уж идти некуда. Пора очнуться, пора идти вперед. Всегда — независимо от того, был ли я пьян или трезв, в глубине моей души какой-то голос шептал мне, что все эти попойки и рискованные поездки — еще не вся жизнь. Этот голос был моим добрым гением. К счастью, я был создан так, что везде и всегда слышал этот голос. Слышал, как он меня манит туда, в далекий белый свет. Добродетель здесь не играла никакой роли. Это было любопытство, желание узнать, беспокойное искание чего-то чудесного, что я смутно угадывал или о чем догадывался. Какой же смысл жизни, задавался я вопросом, если вот это — все, что она может дать? Нет, должно быть, есть еще что-то, далеко-далеко.

Но однажды Ячменное Зерно сыграл со мною злую шутку, и это побудило меня немедленно исполнить мое решение — бросить прежнюю жизнь и попытаться пойти дальше. Шутка эта была невероятная — чудовищная шутка, она открыла передо мной такую бездну, о которой я раньше не имел представления. Как-то раз — это было в первом часу ночи, после грандиозной попойки — я направился неверными шагами к своей лодке, привязанной в самом конце пристани, — в ней я собирался уснуть. Прилив с бешеной скоростью гнал волны по проливу Каркинез. Когда я, наконец, тщетно пытался влезть в шлюп, уже наступило время полного отлива. Ни на берегу, ни в шлюпе не было ни души. Меня понесло течением. Я не испугался. Мне даже показалось занятным подобное приключение. Я хорошо плавал, и в том разгоряченном состоянии, в котором я находился, прикосновение холодной воды к телу освежало меня, как прохладное полотно.

И тут-то Ячменное Зерно и сыграл со мной свою безумную шутку. На меня вдруг нашло желание отдаться воле волн. Всякие болезненные настроения всегда были мне чужды. Мысль о самоубийстве никогда не приходила мне в голову. Теперь, когда она мелькнула у меня, мне показалось, что такая смерть была бы прекрасным, великолепным завершением моей короткой, но интересной жизни. Я, еще не

знавший любви девушки или женщины, ни ребенка, не знакомый с наслаждением, которое может доставить общение с искусством, я, ни разу не взбиравшийся на бесстрастные и далекие, как звезды, высоты философии и видевший только крошечный уголок обширного, прекрасного мира, — я решил, что больше нет ничего, что я видел все, испытал все, что есть интересного в жизни, и что настало время умереть. Это была скверная проделка Ячменного Зерна, который, овладев моим воображением, одолел меня и в пьяном виде тащил меня к смерти.

О, он умел ловко убеждать! Да, не было сомнения, что я испытал в жизни все, и это все не имело большой цены. Состояние скотского опьянения, в котором я провел несколько месяцев (при этом воспоминании меня охватило сознание моего падения и прежнее чувство греховности), — вот самое лучшее, что я испытал; и многого ли оно стоило — это я сам теперь видел. Взять, для примера, всех старых опустившихся бродяг, которых я когда-то угощал. Вот, значит, каков был конец. Неужели я сделаюсь таким же, как они? Нет, тысячу раз нет! И я проливал слезы сладкой грусти над прекрасным юношей, которого уносило течением. (Кто не видел плачущих пьяниц, меланхолически настроенных? Их можно встретить во всех барах, и если у них нет другого слушателя, которому они могли бы рассказать о своих страданиях, то они поверяют их буфетчику, а тот волей-неволей будет это выслушивать, ведь ему платят деньги.)

Прикосновение воды было необычайно приятно. Такая смерть была достойна мужчины. Джон Ячменное Зерно внезапно завел в моем пьяном мозгу совершенно иную музыку. Прочь слезы и сожаление! Ведь я умираю смертью героя, который погибает по своей воле. И я во весь голос затянул предсмертную песню, пока вода, плескавшаяся и попадавшая мне в уши, не напомнила мне о том, в каком положении я нахожусь.

Ниже города Бенишии, там, где выдается в море пристань Солано, пролив расширяется и образует так называемую Тернерскую бухту. Я плыл в полосе берегового течения, которое идет к пристани Солано, а оттуда в бухту. Я давно знал, какой сильный водоворот образуется там, где это течение огибает остров Мертвеца, чтобы понестись затем под пристань. А мне вовсе не хотелось попасть на сваи. Приятного в этом будет мало, к тому же мне придется потратить целый час на борьбу с течением, чтобы выбраться из бухты.

Я разделся в воде и быстро заработал руками, пересекая течение под прямым углом. Остановился я только тогда, когда увидел по огням, что пристань осталась позади. Тогда я лег на спину отдохнуть. Поработать мне пришлось здорово: понадобилось немало времени, чтобы отдышаться.

Я был в полном восторге — мне удалось избежать опасности. Я снова начал петь свою предсмертную песнь, это была какая-то импровизация пьяного парня. «Не пой, рано еще, — шепнул Ячменное Зерно. — На Солано жизнь не прекращается и ночью. На пристани находятся железнодорожники. Они услышат тебя, подплывут на лодке и спасут, но ты ведь не хочешь, чтобы тебя спасли». Разумеется, я не хотел этого. Как? Чтобы меня лишили возможности погибнуть героем? Да ни за что! И я лежал на спине, глядя на звезды и наблюдая за тем, как мимо меня проносятся огни на пристани — красные, белые и зеленые. Каждому из них я посылал на прощание трогательно-грустный привет.

Очутившись уже далеко, на середине пролива, я снова запел. Иногда я делал несколько взмахов, но большей частью просто давал течению нести меня, а перед моими глазами проносились какие-то бесконечные пьяные сны.

Однако не успел еще наступить рассвет, как я несколько протрезвел в холодной воде, ведь я уже много часов провел в ней. Я уже начал интересоваться, в каком же месте пролива я нахожусь. Подумал я также и о том, что скоро начнется прилив, который может подхватить меня и выкинуть обратно на берег раньше, чем я успею выплыть в залив Сан-Пабло.

Затем я почувствовал, что устал и окоченел. Кроме того, я совершенно отрезвел и уже не имел ни

малейшего желания утонуть в море. Взглянув на берег Контра Коста, я различил на нем очертания плавильни Селби и маяк на Лошадином острове. Тогда я решил доплыть до Соланского берега, но я так ослабел и замерз, продвигался вперед так медленно, да и каждый взмах стоил мне страшного труда, что я вскоре просто отдался течению, лишь изредка делая несколько взмахов, чтобы удержаться на волнах, которые под влиянием начавшегося прилива все усиливались. И тут мне стало страшно. Теперь я был уже совсем трезв, и умирать мне не хотелось. Я находил сотни причин, чтобы остаться в живых. Но чем больше я находил причин, тем вероятнее становилась возможность утонуть.

Я провел уже четыре часа в воде, когда наступил день. Рассвет застал меня в крайне печальном положении: я находился в полосе водоворотов около маяка на Лошадином острове, там, где встречаются и борются друг с другом быстрые течения из проливов Валлехо и Каркинез; в этот момент они, кроме того, боролись еще с приливом, который нагонял волны из залива Сан-Пабло. Поднялся свежий ветерок, короткие сильные волны заливали мне лицо, и я уже начинал глотать соленую влагу. Как опытный пловец, я понял, что конец близок. Но тут подоспела помощь — греческое рыбачье судно, шедшее в Валлехо. Еще раз, благодаря своему организму и физической силе, я спасся от Джона Ячменное Зерно.

К слову сказать, такие безумные проделки Джона Ячменное Зерно — вовсе не редкость. Точная статистика всех вызванных им случаев самоубийства привела бы человечество в ужас. Взять хотя бы происшествие со мной: для меня — молодого, здорового, нормального человека — желание покончить с собой не могло быть естественным. Но необходимо принять во внимание, что это желание появилось у меня после долгого периода пьянства, когда и нервы, и мозг мой были сильно отравлены алкоголем, к тому же и воображение мое всегда отличалось склонностью к драматическим и романтическим приключениям. В этот момент, когда я был доведен пьянством до полного безумия, мысль о геройской смерти привела меня в восторг. А между тем даже закоренелые, болезненно преданные алкоголю пьяницы и те кончают с собой большей частью после продолжительного пьянства, когда и нервы, и мозг насквозь пропитаны ядом.

Глава XIII

И вот я покинул Бенишию, где Джону Ячменное Зерно чуть-чуть не удалось погубить меня. Я отправился бродить по миру, повинуясь внутреннему зову, который обещал открыть мне смысл жизни. Но куда бы я ни направлялся, путь мой всегда лежал по местам, где алкоголь лился рекой. Везде кабак служил сборным пунктом. Кабак был клубом бедняков, и это был единственный клуб, куда мне был открыт доступ. В кабаке я мог заводить знакомства. Я входил в кабак и мог разговаривать там, с кем хотел. Во всех незнакомых городах и поселках, через которые я проходил, кабак был единственным местом, куда я мог войти. С момента, когда я переступал порог кабака, я переставал быть чужим человеком в незнакомом городе.

Здесь я позволю себе сделать отступление и рассказать то, что со мной происходило совсем недавно, — всего только в прошлом году. Я запряг четверку лошадей в легкую таратайку и посадил в нее Чармиан; три с половиной месяца мы таким образом разъезжали с ней по самым диким местам Калифорнии и Орегона. Каждое утро я работал — писал свою ежедневную порцию, беллетристику. Написав, сколько я себе запланировал, я садился в таратайку, и мы ехали весь день — до следующей остановки. Однако удобные для остановок места не всегда находились на одинаковом расстоянии друг от друга, состояние дорог также было весьма различно, и потому каждый раз приходилось накануне составлять себе план поездки с учетом того, где и как я буду работать. Я должен был знать, когда именно следует выехать, чтобы заблаговременно засесть за писание и вовремя закончить положенное число страниц… Случалось порой, когда предстоял длинный путь, что мне приходилось вставать в пять часов и садиться за работу. Иногда же, если ехать было удобно и не так далеко, я мог начинать писать и в девять.

Но каким же образом заранее распределить свой день? Как только я приезжал куда-нибудь в город, я первым долгом устраивал лошадей на ночь, а по дороге из конюшни в гостиницу заходил в салун. Во-первых, надо было выпить — да, да, выпить мне хотелось; но не забудьте, что я научился-то пить именно потому, что жаждал многое разузнать. Итак, надо было прежде всего выпить.

— Выпейте со мной за компанию, — обращался я к бармену.

И затем, за выпивкой, я начинал расспрашивать о дорогах и удобных местах для остановок по намеченному маршруту.

— Постойте-ка, — говорит, например, бармен, — есть дорога через Хребет Таруотера. Она раньше была в хорошем состоянии. Я там проезжал года три назад. Но весной она как будто закрыта. Знаете что, спрошу-ка я у Джерри…

И бармен поворачивается к какому-нибудь человеку, сидящему за столиком или облокотившемуся на другой конец стойки, — к какому-нибудь Джерри, Тому или Биллу.

— Слушай-ка, Джерри, как там обстоят дела с Таруотерской дорогой? Ты ведь ездил в Вилкинсу на прошлой неделе.

А пока Билл, Джерри или Том начинает шевелить мозгами и пускать в ход свой мыслительный аппарат, я предлагаю ему выпить с нами. Затем начинается обсуждение, какая дорога лучше, — та или эта, где удобнее сделать остановку, сколько приблизительно времени придется ехать, где находятся самые богатые форелью места, и так далее; в разговор вмешиваются присутствующие, и беседа сопровождается выпивкой.

Еще два-три кабака — и у меня начинает слегка шуметь в голове, но зато я успел перезнакомиться почти со всеми в городе, узнать все о самом городе и довольно много — о его окрестностях. Я уже знаю

всех местных политических деятелей, адвокатов, журналистов, дельцов, а также наезжающих в город владельцев ранчо, охотников и золотоискателей. Вечером, когда мы с Чармиан прогуливаемся по главной улице, она поражается при виде многочисленных знакомых, которых я успел завести в совершенно чужом городе.

Все это свидетельствует о том, какую услугу оказывает нам Джон Ячменное Зерно, еще более упрочивая свою власть над людьми. И везде, куда бы я ни попадал за долгие годы скитаний по белу свету, — везде я видел то же самое. Будет ли это в «cabaret» в Латинском квартале в Париже, или же в кафе в какой-нибудь глухой итальянской деревушке, или портовый кабачок для матросов в приморском городе, или же, наконец, в клубе, где пьют виски с содовой, — всегда выходит так, что лишь там, где Джон Ячменное Зерно сближает людей, я могу сразу подойти к чужому человеку, встретить, кого мне нужно, и все разузнать. И потому необходимо, чтобы в грядущие счастливые дни, когда Джон Ячменное Зерно будет, наряду с прочими остатками варварства, вычеркнут из жизни человечества, — необходимо, чтобы к тому времени кабак был заменен чем-нибудь другим, чтобы было иное место, где люди смогут встречаться, сходиться друг с другом и получать нужную им информацию.

Однако пора мне вернуться к моему рассказу. После того как я расстался с Бенишией, мой новый путь привел меня опять в кабак. У меня не было никакого морального предубеждения против пьянства, но вкус алкоголя по-прежнему мне ничуть не нравился. Вместе с тем я при всем почтении к Ячменному Зерну стал относиться к нему с недоверием: я никак не мог забыть о том, какую злую шутку он сыграл со мной, вовсе не желавшим умереть. И потому, продолжая пить, я решил держать ухо востро и решительно не поддаваться, если Джон Ячменное Зерно станет нашептывать мне мысли о самоубийстве.

Прибывая в новый город, я немедленно заводил знакомства в кабаке. Когда я бродяжничал и мне нечем было заплатить за ночлег, единственное место, где соглашались меня принять и дать мне место у камина, был кабак. В кабаке я мог вымыться, причесаться, почистить платье. К тому же проклятые кабаки постоянно оказывались тут же, под рукой. Мой родной Запад прямо кишел ими.

Ведь не мог же я так легко войти в дом к незнакомым людям. Двери их не были открыты для меня, у их очага мне не было приготовлено место. С церквями и священниками мне никогда не приходилось иметь дела. Но то немногое, что я знал о них, не привлекало меня. Церковь не была окружена ярким ореолом романтизма, она не сулила никаких интересных приключений. Священники же принадлежат к тому роду людей, с которыми никогда ничего не случается. Они всю жизнь проводят в одном и том же месте; это люди порядка и строгой системы, существа ограниченные, подневольные, с узким кругозором. В них нечего искать величия, богатого воображения, чувства товарищества. А я хотел иметь друзей добрых, веселых и великодушных, смелых, пусть даже безрассудно отчаянных, а не мокрых куриц.

Вот еще одно из обвинений, которое я предъявляю Джону Ячменное Зерно: ужасно, что он накладывает руку именно на хороших парней — на людей с огоньком, благородных, с размахом, обладающих всеми самыми ценными качествами. А Ячменное Зерно гасит этот огонек, заглушает все порывы; если он не убивает сразу своих жертв и не отнимает у них рассудка, то он заставляет их огрубеть, опуститься, он коверкает и развращает их душу, не оставляя в ней ни следа прежнего благородства, прежней утонченности.

Да, и еще одно — это уже я говорю на основании более позднего опыта: Небо да избавит меня от обыкновенных, средних людей, которых не назовешь славными парнями; от тех, у кого лед в сердце и лед в уме, которые не курят, не пьют, не ругаются, не совершают смелых поступков, которые боятся отплатить за обиду, нанести удар врагу: в их слабых душонках жизнь никогда не била ключом, переливаясь через край и побуждая их на отвагу и дерзость. Таких людей вы в кабаке не встретите, но вы также не увидите их умирающими за идею, они не переживают необыкновенных приключений; они никогда не сумеют любить

безумно, как любят боги. Нет, все это не для них: они слишком заняты тем, как бы не промочить ноги, как бы не переутомить сердце, как бы увенчать мелочным успехом тусклую, серенькую жизнь.

Вот в чем я обвиняю главным образом Джона Ячменное Зерно. Ведь именно их-то, этих славных парней, чего-нибудь стоящих, чья слабость происходит от чрезмерной отваги и пылкой дерзости, — именно этих-то людей он соблазняет и губит так же, как и мягкотелых; но не о них — этих наиболее жалких экземплярах рода человеческого — я веду сейчас речь. Меня заботит другое: Ячменное Зерно губит такое огромное количество самых лучших представителей нашей расы! И все это оттого, что Джон Ячменное Зерно стоит на каждом перекрестке — и на большой дороге, и в любом закоулке, — доступный для всех, охраняемый законом; приветствуемый полицейским на посту; он манит к себе своих жертв, берет их за руку и ведет их в те места, где собираются все славные малые, все смельчаки, чтобы выпить в хорошей компании. Не будь Ячменного Зерна, эти смельчаки все равно родились бы на свет и совершили бы что-нибудь стоящее, вместо того чтобы бесславно погибнуть.

Сколько раз я испытывал на себе, какое чувство товарищества порождает Джон Ячменное Зерно. Иду я, например, по тропинке к водокачке, чтобы там подождать товарного поезда, — и вдруг натыкаюсь на компанию «алки» (так называются бродяги-пьяницы, пьющие аптечный спирт). Тотчас же все здороваются со мной, приветствуют меня и приглашают выпить за компанию. Меня угощают техническим алкоголем, умело разбавленным водой, — и вскоре я уже участвую в общем веселье, в голове у меня шумит; и Джон Ячменное Зерно нашептывает мне, что жизнь — прекрасна, что мы все — храбрые и хорошие люди, что мы — свободные существа, беззаботно, как боги, шествующие по жизненному пути, послав к черту весь мир, где царит условность, сухость ума и души, где все чувства размерены по аршину.

Глава XIV

Вернувшись в Окленд после своих странствований, я посетил пристань и возобновил дружбу с Нельсоном. Он теперь постоянно оставался на берегу и вел еще более разгульную жизнь, чем раньше. Я тоже бóльшую часть времени проводил на суше в компании с ним, лишь изредка совершая короткие поездки по заливу, когда на какой-нибудь шхуне не хватало рук.

Таким образом, мои силы уже не восстановлялись, как в те периоды, когда я не пил и занимался физическим трудом на свежем воздухе. Теперь я пил ежедневно, а при всяком удобном случае напивался допьяна; я все еще продолжал воображать, что секрет Ячменного Зерна заключается в том, чтобы напиваться мертвецки, по-скотски. За это время я здорово пропитался алкоголем. Я буквально жил в кабаках, превратился в их завсегдатая и даже того хуже. И вот тут-то Джон Ячменное Зерно пытался снова одолеть меня, он избрал другой, более предательский, но не менее убийственный способ, чем в тот раз, когда я чуть не дал отливу унести себя в открытое море. Мне еще не стукнуло семнадцати лет; всякую мысль о постоянной работе я с презрением отвергал; я чувствовал себя тертым калачом в среде других тертых калачей; я пил, потому что эти люди пили и потому что я не хотел от них отставать. Настоящего детства у меня никогда не было, и теперь, слишком рано став взрослым, я был довольно-таки циничным и, увы, знал многие скверные стороны жизни. Я даже не испытал, что такое любовь чистой девушки, но зато успел заглянуть в такие бездны, что воображал, будто вполне постиг и любовь, и жизнь. И мало хорошего было в том, что я узнал. Не будучи от природы пессимистом, я все же был убежден, что жизнь — довольно-таки дрянная, ничего не стоящая штука.

Дело, видите ли, было в том, что Ячменное Зерно притуплял мои чувства. Я уже перестал слышать прежний голос души. Даже мое любопытство начало покидать меня. Не все ли равно, что там находится на другом конце света? Живут там мужчины и женщины, без сомнения, точь-в-точь похожие на мужчин и женщин, которых я знаю. Они женятся, выходят замуж и проходят весь круг мелочных людских забот и, разумеется, пьют. Но стоит ли ехать так далеко, на край света за выпивкой? Не проще ли завернуть за ближайший угол и зайти к Джо Виги, где имеется все, что мне нужно? Да и Джонни Рейнгольдс все еще содержал трактир «Разлука». И, кроме этих, были кабаки на каждом углу, да еще в промежутках между углами.

Голос, звавший меня проникнуть во все тайны жизни, становился все более и более глухим, по мере того как алкоголь пропитывал насквозь мое тело и подчинял себе мой ум. Прежние беспокойные стремления улеглись. Не все ли равно — умереть и сгнить в Окленде или где-нибудь в другом месте? И я, несомненно, вскоре умер бы и сгнил, судя по тому, с какой быстротой Джон Ячменное Зерно гнал меня в могилу; но, к счастью, оказалось, что дело зависит не всецело от него. Я уже узнал, что значит потерять аппетит, каково вставать поутру с дрожащими руками, со спазмами в желудке, с пальцами, онемевшими точно от паралича; я узнал, как необходимо выпить тут же стаканчик, чтобы опохмелиться (о, Джон Ячменное Зерно ловко умеет поддать доппинга. Когда у человека и мозг и тело горят и ноют от действия отравы, он, чтобы вылечиться, набрасывается снова на тот самый яд, от которого заболел).

Хитростям Джона Ячменное Зерно нет предела. Он уже раз чуть-чуть не убедил меня покончить с собой. Теперь он старался сам меня убить, не затягивая дела. Но и этого ему было мало: он пустился еще на одну хитрость. И на этот раз он чуть-чуть было не одолел меня; но зато я получил хороший урок и узнал одну вещь о нем, после чего начал пить с оглядкой, как опытный пьяница. Я узнал, что есть предел выносливости моего великолепного организма. Ячменное же Зерно никаких пределов не знает. Я узнал, что ему достаточно какого-нибудь часа или двух, чтобы одолеть меня, несмотря на мою крепкую голову, широкие плечи и могучую грудь, свалить меня на землю и начать душить меня за горло своей дьявольской

рукой.

Однажды мы с Нельсоном как-то вечером сидели в кабаке. Сидели мы там только потому, что оба были без гроша, а время было предвыборное. Нужно сказать, что перед выборами местные политические деятели, выставив свою кандидатуру, имели обыкновение совершать обход всех кабаков, чтобы вербовать голоса. Сидишь себе за столиком, в горле совсем пересохло и думаешь, кто бы мог подвернуться да угостить стаканчиком? Или лучше будет пойти в другой кабак? Авось там в долг поверят. Сидишь и не знаешь, стоит ли тащиться куда-нибудь подальше, а дверь вдруг широко раскрывается, и входит целая компания изящно одетых господ, обычно довольно упитанных, и от них так и веет богатством и добродушной любезностью.

У них всегда готова бутылка и приветствие для каждого, даже для вас, хотя у вас в кармане нет пяти центов, чтобы уплатить за стакан пива; даже для робкого бродяги, который прячется в углу и, конечно, не имеет права голоса. Правда, он может всегда зарегистрироваться где-нибудь в гостинице. И представьте себе, стоит только появиться этим господам, стоит вам увидеть, как они широко распахивают дверь и входят, широкоплечие, с выпяченной грудью, с видимыми признаками отличного пищеварения, благодаря чему они не могут не быть оптимистами, не могут не подчинить себе жизни, — стоит вам увидеть их, как вы сразу приосаниваетесь. Значит, вечер все-таки ознаменуется чем-нибудь; во всяком случае, вам удастся хоть начать выпивку. А затем — кто знает? — быть может, боги будут к вам благосклонны; может быть, удастся выпить еще, и вечер завершится грандиозной оргией. И в самом деле, не успеваете вы оглянуться, как вы уже стоите у бара, опрокидываете себе в рот стакан за стаканом и стараетесь запомнить фамилии ваших новых знакомых и какие посты они мечтают занять.

Как раз в это время, в разгар предвыборной кампании, когда кандидаты занимались обходами кабаков, я начал пополнять пробелы в своем образовании, и многие мои иллюзии лопнули, как мыльные пузыри, — у меня, который когда-то зачитывался «Молотобойцем» и «Из лодочников в президенты». Да, я уже начал понимать, какая «прекрасная» штука политика и как благородны некоторые политические деятели!

Итак, в этот вечер мы с Нельсоном сидели в кабаке, без гроша в кармане, с пересохшим горлом, но с твердой надеждой пьяниц, что им случайно ниспошлется откуда-нибудь выпивка. Мы сидели и ждали, не подвернется ли кто-нибудь — главным образом мы надеялись на кандидатов. И вдруг вбегает Джо Гусь — вечно жаждущий выпить пьяница, со злыми глазами, кривым носом и цветком в петличке куртки.

— Идем, ребята, даровая выпивка — пей, сколько влезет. Мне не хотелось, чтобы вы прозевали этот случай.

— Где это? — заинтересовались мы.

— Валяйте со мной. Я вам по дороге расскажу, некогда, нельзя терять ни минуты.

И мы быстро зашагали, удаляясь от центра города. По дороге Джо стал объяснять:

— Это устраивает Ханкокская пожарная команда. Каждому нужно нарядиться в красную рубаху и каску, а в руки взять факел — вот и все. Потом всех повезут на специальном поезде в Хейуортс на демонстрацию.

Кажется, дело происходило в Хейуортсе. А впрочем, может быть, и в Сан-Леандро или в Найлсе. Хоть убейте, не помню, к какой партии относилась Ханкокская пожарная команда — демократической или республиканской. Но как бы то ни было, организаторам демонстрации не хватало факельщиков, и всякий, кто соглашался участвовать в шествии, мог, если хотел, напиться.

— Весь город будет вверх дном, — продолжал Гусь. — Как насчет влаги, вы спрашиваете? Рекой будет

литься! Организаторы демонстрации закупили все, что есть в кабаках. Платить ничего не придется. Подходи себе к бару и требуй, что хочешь. У нас тут дым коромыслом пойдет.

В помещении пожарной команды, на Восьмой улице, недалеко от Бродвея, мы оделись в рубахи и каски пожарных; дали нам факелы, отправили нас гуртом на вокзал и погрузили в поезд. При этом мы всю дорогу ворчали, что нам не дали ни стаканчика перед отправлением. О, организаторы были народ опытный — им не раз приходилось иметь дело с нашим братом. В Хейуортсе нам тоже не дали выпить. Сначала походи в процессии да заработай выпивку — вот какой у них был порядок.

Шествие закончилось. И тогда открылись кабаки! Всюду был приглашен дополнительный персонал; в каждом трактире у залитой вином и ни разу не вытертой стойки стояла толпа в шесть рядов. Некогда было ни обтирать стойки, ни мыть посуду. Вообще некогда было ничего делать: еле успевали наполнять стаканы. Люди из Окленда, работающие на пристани, умеют при случае показать, что значит настоящая жажда.

Но это занятие — толкотня и борьба у стойки — показалось нам слишком нудным. Ведь все напитки в кабаках принадлежали нам. За них заплатили вожди партии, чтобы угостить нас. Мы же участвовали в шествии? Заработали же мы на выпивку? И потому мы решили произвести фланговую атаку, обошли стойку с обоих концов, оттолкнули в сторону запротестовавших было буфетчиков и начали угощаться сами, захватив с собой бутылки.

Выскочив затем на улицу, мы отбивали горлышко у бутылок о край бетонной панели и пили. Здесь не мешает сказать, что Нельсону и Джо Гусю приходилось уже пить в большом количестве неразбавленное виски, и это научило их пить с оглядкой. Ну, а я ничего этого не знал. Я все еще ошибочно думал, что пить надо как можно больше — в особенности, если за это не нужно платить. Мы поделились своими бутылками с другими, оставив и себе хорошую порцию, а больше всех выпил я. Но мне эта штука не понравилась. Я выпил ее, как выпил пиво, когда мне было пять лет, или вино, когда мне было семь. Я переборол свое отвращение и глотал виски, как лекарство. Опорожнив все бутылки, мы отправились в другие трактиры, где даровое виски также лилось рекой, и сами себя угощали.

Не имею ни малейшего понятия о том, сколько я выпил — не то два галлона, не то пять. Я помню только, что в начале оргии я выпивал сразу по полпинты, причем не запивал виски водой, чтобы отбить вкус, и не разбавлял его.

Однако наши политические деятели были слишком мудры, чтобы оставить в городе толпу пьяниц с Оклендской пристани. Когда подали обратный поезд, начался обход всех кабаков. Я уже начал испытывать на себе действие виски. Нас с Нельсоном кто-то вытолкнул из трактира, и мы очутились в самых последних рядах весьма беспорядочного шествия. Я мужественно плелся за другими, но координация у меня была в полном расстройстве, ноги дрожали, сердце стучало, а легким не хватало воздуха.

Вскоре я почувствовал полное бессилие, даже мой затуманенный мозг подсказывал, что я тут же свалюсь замертво и не попаду на поезд, если останусь в хвосте толпы. Я вышел из рядов и побежал вдоль дороги, по боковой тропинке, обсаженной развесистыми деревьями. Нельсон, смеясь, погнался за мной. Помню отдельные эпизоды, которые выделяются в моей памяти на общем фоне кошмара. Особенно ясно помню эти деревья и как я бешено мчался под ними; помню, что при каждом моем падении вся пьяная толпа принималась гоготать. Все думали, что это просто пьяные фокусы. Никому и в голову не пришло, что Джон Ячменное Зерно схватил меня за горло и душил, убийственно душил меня. Но я отлично сознавал это. Помню мимолетное чувство горечи при мысли, что я борюсь со смертью и что никто этого не хочет понять. Это было нечто вроде того, как если бы я тонул на глазах у целой толпы зевак, а те воображали бы, что я проделываю какие-то фокусы для их забавы.

Я упал и потерял сознание. О том, что случилось затем, мне рассказали потом. Из всего последующего

у меня в памяти осталась только одна картина. Нельсон обладал огромной силой: он схватил меня в охапку, дотащил до поезда и всунул в вагон. Когда ему, наконец, удалось усадить меня, я начал бороться с ним с такой силой и так задыхался от недостатка воздуха, что даже Нельсон, несмотря на всю свою тупость, понял, насколько мне плохо. Теперь я знаю, что мог тогда умереть тут же, на месте. Мне часто кажется, что я никогда не был так близок к смерти, как в тот раз. Как я вел себя — об этом я могу рассказать только со слов Нельсона.

Внутри у меня все буквально раскалилось и горело, этот внутренний огонь жег меня, и я задыхался. Мне не хватало воздуха. Я безумно жаждал воздуха. Попытка моя открыть окно не удалась: все окна в вагоне были наглухо привинчены. Нельсону приходилось видеть, как пьяные люди сходили с ума: он вообразил, что я хочу выброситься из окошка. Он пытался меня удержать, но я продолжал бороться. Я схватил чей-то факел и разбил окно.

Нужно сказать, что у нас на Оклендской пристани была одна группировка за Нельсона, а другая — против него. Вагон был полон представителей и тех, и других, причем все они хватили лишнего. Когда я разбил окно, противники Нельсона приняли это за сигнал. Один из них хватил меня кулаком и свалил на пол; таким образом началась общая свалка, из которой я помню только то, что мне потом рассказали; правда, у меня осталось еще воспоминание о ней в виде боли от сильного удара в челюсть, от которого я и свалился. Тот, кто хватил меня, тоже упал поперек меня, на нем очутился Нельсон; говорят, что в начавшейся затем общей свалке внутренность вагона была буквально разнесена в щепки, и осталось лишь весьма немного целых окон.

Быть может, это мое падение и потеря сознания было самое лучшее, что только могло со мной случиться. Резкие движения, которые я делал, когда боролся, только заставляли мое сердце быстрее колотиться, а у меня уже и без того пульс был достаточно ускорен, из-за чего легкие нуждались в усиленном притоке кислорода.

Когда окончилась драка и я открыл глаза, я все-таки еще не пришел в себя. Я так же мало сознавал окружающее, как утопающий, который продолжает барахтаться, даже потеряв сознание. Совершенно не помню, что я делал, но оказывается я так настойчиво кричал: «Воздуха, воздуха!», что Нельсон, наконец, сообразил, в чем дело: он понял, что я вовсе не собираюсь покончить с собой. Тут он уже сам вытащил осколки стекла из рамы и позволил мне высунуть голову и плечи из окна. Он отчасти понял, что положение мое очень серьезное, и обнял меня за талию, чтобы помешать мне высовываться слишком далеко. И так я ехал всю дорогу в Окленд, начиная бороться, как сумасшедший, всякий раз, как Нельсон пытался втащить меня обратно в вагон.

Тут-то у меня и появился за все это время один мимолетный проблеск сознания. Единственное, что я помню, начиная с мгновения, когда я упал на тропинке под деревьями, и до того момента, когда я проснулся на другой день к вечеру, — это миг, когда я высунул голову в окно и мне в лицо подул ветер; поезд мчался; мне в глаза с силой летели искры; они жгли мне веки, ослепляли меня, а я между тем дышал — дышал изо всех сил. Вся моя сила воли была направлена на то, чтобы дышать — дышать как можно глубже, набирать в легкие как можно больше воздуха в возможно короткое время. Иначе — смерть, вот что я хорошо понимал; ведь я был опытным пловцом, много нырял и потому отлично это знал; я испытывал адские муки от долгого недостатка воздуха в те минуты, когда ко мне возвращалось сознание; и, подставив лицо ветру и искрам, я дышал, чтобы не умереть.

Больше я ничего не помню. Я пришел в себя на другой день к вечеру в одной из гостиниц, недалеко от пристани. Я был один. Доктора ко мне не приглашали. Я так легко мог умереть; Нельсон и остальные решили, что мне попросту «надо дать проспаться», и оставили меня пролежать семнадцать часов в коматозном состоянии. Каждый врач знает, как часто люди умирали оттого, что выпивали кварту виски или

больше. Нам всем приходилось об этом читать, причем обыкновенно говорится, что это были привычные люди, но, пробуя пить на пари, не выдерживали. Я тогда об этом еще ничего не знал. Этот случай послужил мне наукой. Он не окончился печально не благодаря каким-нибудь особым качествам или моей доблести, а лишь благодаря счастливой судьбе и железному организму. Еще раз мое здоровье одержало верх над Джоном Ячменное Зерно. Еще одной убийственной ловушки его я избегнул, еще раз благополучно прошел по зыбкому болоту и с опасностью для жизни научился той осторожности, которая дала мне возможность продолжать пить, хотя и с оглядкой, в течение многих лет.

Небеса! Ведь это случилось двадцать лет назад; я еще жив и умею пользоваться жизнью; я с тех пор много видел, много сделал, активно жил; и я до сих пор содрогаюсь, когда вспоминаю, что был буквально на волосок от смерти, что чуть-чуть не пропустил эти чудесные два десятка лет, которые мне выпали на долю. И если Джону Ячменное Зерно не удалось меня погубить в день демонстрации Ханкокской пожарной команды, то в этом виноват был не он, поверьте!

Глава XV

В 1892 году, ранней весной, я решил отправиться в дальнее плавание. Решение это в сущности не было связано с днем демонстрации Ханкокской пожарной команды. Я все еще продолжал жить и посещать трактиры и буквально жил в кабаке. Пить виски было, по-моему, опасно, но дурного в этом ничего не было. Виски — вещь страшная, как и множество других вещей в мире. От виски люди умирали, но, с другой стороны, и у рыбака иногда опрокидывается лодка, и он тонет, или бродяга, едущий зайцем, попадает под поезд, который его режет на куски. Чтобы устоять против ветра и волн, против поездов и кабаков, нужно обладать известной сообразительностью. Что касалось меня, я решил никогда больше не выпивать зараз кварту виски.

Побудило меня сделаться матросом другое обстоятельство: я в это время впервые мысленно представил себе дорогу к смерти, по которой Джон Ячменное Зерно ведет своих приверженцев. Картину эту, впрочем, я рисовал себе еще довольно смутно; при этом она мне представлялась с двух сторон, которые у меня в то время часто переплетались между собой.

Наблюдая среду, в которой я вращался, я стал замечать, что тот образ жизни, который ведем мы, любители пьянства, более губителен, чем жизнь, которую ведет большинство людей. Джон Ячменное Зерно, уничтожая в человеке нравственное чувство, толкает его на преступление. Мне постоянно случалось видеть, как люди в пьяном виде делали такие вещи, которые не пришли бы им в голову, будь они трезвы. И это было еще не худшее. За преступлением следовало наказание. Преступление губило людей. Многие приятели мои, с которыми я встречался в кабаках и с которыми вместе выпивал, были в трезвом виде добродушными и безобидными малыми; напившись же, они оказывались способными на самые низкие, безумные выходки. И тогда полицейские уводили их, и они сидели за решеткой, и я ходил с ними прощаться перед тем, как их увозили на ту сторону залива, где на них надевали одежду каторжников, и сколько раз мне при этом приходилось выслушивать одно и то же оправдание: «Не будь я пьян тогда, ни за что бы этого не сделал!» Иногда случалось, что под влиянием Джона Ячменное Зерно совершались самые ужасные поступки, от которых содрогалось даже мое зачерствелое сердце.

Была и другая сторона у этой дороги смерти: то был путь привычных пьяниц. Такой человек мог в любой момент отправиться на тот свет без видимой причины. Когда пьяницы заболевали, даже пустячной болезнью, от которой поправился бы всякий нормальный человек, они попросту угасали, как свечка. Иногда их находили мертвыми в постели, порой их тела вытаскивали из воды; или же просто происходил несчастный случай, как, например, с Биллом Келли. Он в пьяном виде разгружал судно, и ему оторвало палец; а могло случиться, что ему оторвало бы и голову вместо пальца.

Итак, я начал задумываться над своим положением и пришел к заключению, что мой образ жизни никуда не годится. Слишком уж он быстро приводил к могиле, а моя юность и присущая мне жажда жизни не могли примириться с мыслью о смерти. Но был только один способ уйти от этой жизни: отправиться в плавание. В заливе Сан-Франциско зимовала целая промысловая флотилия, собиравшаяся на охоту за морскими котиками; в трактирах я встречал шкиперов, их помощников, охотников и гребцов. Я познакомился с охотником Питом Холтом и принял его предложение быть у него на шхуне гребцом. Мы тут же вспрыснули наше соглашение полудюжиной стаканчиков.

Сразу же проснулись мои прежние беспокойные стремления, которые было улеглись под влиянием Джона Ячменное Зерно. Я почувствовал, что мне до смерти надоели кабацкая жизнь и Оклендская пристань; я не мог даже понять, почему все это когда-то казалось мне таким привлекательным. В голове у меня все время носилась картина «дороги смерти», и я начинал уже бояться, что со мной что-нибудь

случится до отплытия, которое было назначено на январь. Я стал вести себя более осторожно, меньше пил и чаще бывал дома. Когда выпивка превращалась в дикую оргию, я удирал. Если Нельсон напивался до безумия, я всегда ухитрялся улизнуть от него.

12 января 1893 года мне исполнилось семнадцать лет, а 20 января я подписал договор о поступлении на судно «Софи Сезерленд». Это была трехмачтовая промысловая шхуна, отправлявшаяся к берегам Японии. Разумеется, договор пришлось вспрыснуть. Джо Виги разменял мне мою авансовую кредитку; сначала угощал Пит Холт, потом я, потом Джо Биги и остальные охотники. Что поделаешь? Таковы были нравы старых моряков. А кто такой был я — семнадцатилетний мальчишка, чтобы уклониться от обычаев этих зрелых, славных, отважных мужчин?

Глава XVI

На «Софи Сезерленд» пить было нечего, плавание продолжалось пятьдесят один день, и я все время блаженствовал. Мы воспользовались северо-восточным муссоном и при помощи его стали быстро продвигаться на юг, к Бонинским островам — отдельно стоящей и принадлежащей Японии группе, служившей местом сбора канадской и американской промысловых флотилий. Здесь суда запасались водой и производили необходимый ремонт, перед тем как пуститься в трехмесячное плавание вдоль японских берегов до Берингова моря, где происходила охота на стаи котиков.

Эти пятьдесят дней удачного плавания, проведенные мною в абсолютном воздержании от спиртных напитков, вполне восстановили мое здоровье. Я чувствовал себя отлично. Из моего организма был изгнан весь алкогольный яд; с самого начала плавания у меня ни разу не было желания выпить; я даже не вспоминал о выпивке. Разумеется, матросы часто говорили между собой о выпивке, рассказывали наиболее интересные или смешные случаи, происходившие во время попоек. Об этих инцидентах они вспоминали с бóльшим удовольствием и бóльшим увлечением, чем про всякие другие случаи из своей полной приключений жизни.

Старшим из матросов был некто Луис, толстяк лет пятидесяти. Это был спустивший все свое состояние шкипер. Его погубил Джон Ячменное Зерно, и он теперь заканчивал свою карьеру так же, как и начал ее, — простым матросом. Этот случай произвел на меня глубокое впечатление. Очевидно, Джон Ячменное Зерно умеет не только убивать людей. Луиса, например, он не убил. Он сделал хуже. Он лишил его власти, места, всех жизненных благ, втоптал в грязь его самолюбие и на всю жизнь осудил его на тяжелое существование простого матроса; а так как Луис был крепкий и здоровый человек, то ему, очевидно, предстояло очень долго влачить такое существование.

Наше плавание по Тихому океану завершилось. Мы увидели вулканические, заросшие лесом вершины Бонинских островов и вошли, лавируя между рифами, в хорошо защищенную гавань; вскоре загромыхал наш якорь, и мы стали на место, где уже находилось судов двадцать таких же бродяг — кочевников моря. С берега доносился аромат неведомых тропических растений. Туземцы на своих странной конструкции челноках и японцы на еще более странного вида сампанах плыли по заливу, гребя одним веслом, направляясь к нашему судну. В первый раз я попал в чужую страну. Наконец, я добрался до края света; теперь я воочию увижу все то, о чем читал в книгах. Я рвался сойти на берег.

Я сговорился с двумя матросами, и мы решили держаться все время втроем (мы так хорошо привели это в исполнение, что нас до конца плавания звали «Три собутыльника»). Одного — шведа — звали Виктором. Другой — норвежец Аксель. Виктор показал нам тропинку, которая исчезала сначала в диком ущелье, затем опять показывалась и шла по крутому склону из сплошной лавы, а оттуда вилась в гору среди пальм и цветов, то пропадая, то вновь появляясь. Он предложил нам подняться по этой дорожке, на что мы охотно согласились: оттуда открывался чудесный вид, там могут быть оригинальные туземные деревушки и, наконец, нас может ожидать какое-нибудь — но какое, никто из нас не знал — приключение. Акселю же очень хотелось отправиться на рыбную ловлю. Мы и на это согласились. Мы решили достать сампан, захватить двух рыбаков-японцев, которые знают рыбные места, и устроить грандиозную ловлю. Что же касается меня, то все проекты мне одинаково нравились.

Составив план, мы съехали на берег на лодке, минуя рифы из живых кораллов; добравшись до земли, мы вытащили нашу лодку на белый берег, покрытый коралловым песком. Мы прошли через песчаную полосу, вошли под сень кокосовых пальм и добрались до маленького городка. Там мы нашли несколько сотен буйствовавших матросов со всех концов земли; все они безмерно пили, безмерно пели и безмерно

плясали. Все это происходило на главной улице городка, к великому возмущению совершенно беспомощной горсточки японских полицейских.

Виктор и Аксель решили, что нужно пропустить по стаканчику, прежде чем отправиться на такую длинную прогулку. Мог ли я отказаться выпить с этими двумя задушевными парнями? Необходимо было вспрыснуть нашу дружбу. Этого требовал обычай. Мы все смеялись над нашим капитаном-трезвенником и презирали его за то, что он ничего не пил. Мне лично пить вовсе не хотелось, но зато мне надо было доказать, какой я хороший товарищ и славный малый. Даже воспоминание о Луисе не остановило меня, когда я глотал едкую, обжигающую жидкость. Правда, Джон Ячменное Зерно нанес Луису жестокий удар, но я-то ведь был молод, кровь, мол, здоровая и яркая, быстро текла по жилам, организм у меня железный и… ну, молодость всегда презрительно смеется при виде разрушительных действий старости.

Странный, крепкий напиток дали нам. Он сильно отдавал алкоголем. Нельзя было угадать, где и каким образом он приготовлен; скорее всего это была какая-то туземная настойка: он был горячий, как огонь, прозрачный, как вода, и действовал быстро, как смерть. Он был разлит по бутылкам из-под голландского вина, на которых сохранилась этикетка с весьма подходящим названием «Якорь». И в самом деле, от действия этого напитка мы стали на якорь. Мы так и не выбрались из города. И на сампане не поехали, и рыбы никакой не ловили. И хотя мы простояли на острове десять дней, но так ни разу и не прошлись по тропинке, шедшей вдоль утесов из лавы и утопавшей в цветах.

В городке мы встретили старых знакомых с других шхун — людей, с которыми мы бывали вместе в кабаках в Сан-Франциско перед отплытием. Каждая такая встреча начиналась выпивкой: поговоришь о том о сем, опять выпьешь; потом начинаешь песни и всякие шутки, пока, наконец, не зашумит в голове. Тогда все начинало казаться мне каким-то значительным и чудесным — все эти орущие во всю глотку старые морские волки (одним из которых был и я сам), собравшиеся для кутежа на коралловом утесе среди океана. Мне вспоминались отрывки из баллад о рыцарях, пирующих в старинном зале. Вот они расселись: эти за почетным концом — выше соли, а те — ниже соли; вот викинг только что вернулся с моря и сел за пир в ожидании битвы. И я чувствовал, что еще не умерла вся эта старина и что мы принадлежим к той же самой древней породе.

Еще не настал вечер, как Виктор от пьянства совершенно потерял рассудок. Он хотел драться со всеми и со всем. Мне случалось видеть в сумасшедших домах буйных помешанных; разницы между ними и Виктором не было никакой — разве только та, что он был еще несноснее. Нам с Акселем все время приходилось вмешиваться, мирить подравшихся, так что и нам попало в общей свалке; наконец, мы ухитрились, пустив в ход всю нашу осторожность и хитрость пьяных людей, уговорить нашего приятеля сесть в лодку, после чего мы отвезли его на судно.

Но не успел Виктор ступить на палубу, как начал скандалить. Силен он был, как несколько человек, вместе взятых, и он поднял на судне дым коромыслом. Ясно помню, как он загнал одного матроса в ящик с цепями; к счастью, тот не особенно пострадал — Виктор не в состоянии был как следует хватить его. Матрос всячески увертывался и увиливал от него, и Виктор в кровь расшиб себе кулаки об огромные звенья морской цепи. Когда же нам, наконец, удалось вытащить его из ящика, помешательство его успело уже принять другую форму: он вообразил себя великим пловцом и вдруг перескочил за борт и начал демонстрировать свое умение плавать, барахтаясь, как полудохлая морская свинья, и усиленно глотая соленую влагу.

Мы выудили его из воды, снесли вниз, раздели и уложили на койку, после чего и сами почувствовали себя совсем разбитыми. Но все-таки нам с Акселем хотелось еще побывать на берегу; мы и отправились, оставив на судне громко храпевшего Виктора. Любопытно то, что товарищи Виктора, сами не дураки выпить, осуждали его. Они неодобрительно качали головой и бормотали: «Такому человеку пить нельзя!»

А между тем Виктор был самым ловким матросом и самым добродушным человеком из всего экипажа. Это был во всех отношениях идеал моряка; товарищи ценили его по заслугам, уважали и любили. Но Джон Ячменное Зерно умел превращать его в одержимого. Вот здесь-то и делали различие между ним и собой прочие пьяницы. Они знали, что от пьянства — матросы всегда пьют чрезмерно — они тоже сходят с ума, но они впадали лишь в тихое помешательство. Буйное помешательство — вот это уже не годилось: оно портило веселье другим и часто кончалось трагедией. С точки зрения этих людей, в тихом помешательстве не было ничего предосудительного. Если мы станем на общечеловеческую точку зрения, разве не всякое помешательство является предосудительным? А кто умеет внушить безумие лучше Джона Ячменное Зерно?

Однако вернемся к нашему рассказу. Очутившись на берегу, мы с Акселем забрались в уютный японский трактирчик, уселись там и начали подсчитывать и сравнивать, у кого из нас больше синяков; за стаканчиком мы обсуждали недавние происшествия. Нам понравилось спокойно пить в тишине, и мы пропустили еще по одному. Тут в трактирчик заглянул один из наших товарищей, потом еще несколько, и мы продолжали с ними нашу скромную попойку. Наконец, мы пригласили японский оркестр, но не успели прозвенеть первые ноты *самисены* и *тайко*, как вдруг с улицы донесся дикий вой, ясно слышный сквозь бумажные стены. Мы узнали этот звук. Виктор, все еще продолжая вопить и совершенно пренебрегая дверями, влетел к нам, прорвав хрупкие стены дома. Глаза у него были налиты кровью, он дико размахивал мускулистыми руками. На него напало прежнее безумие; ему хотелось все уничтожать на своем пути; он жаждал крови, чьей-нибудь крови. Музыканты обратились в бегство; мы тоже. Спасаясь, мы вбегали в какие-то двери, порой лезли напролом сквозь бумажные стены; мы готовы были на все, только бы нам удрать.

К тому времени, когда дом оказался наполовину разрушенным, Виктор успел немного успокоиться; мы с Акселем согласились уплатить хозяину за все убытки, а сами отправились на поиски более спокойного местечка. На главной улице шел дым коромыслом. Сотни матросов в буйном веселье гуляли взад и вперед. Ввиду того, что начальник полиции со своим немногочисленным отрядом оказался совершенно бессильным, губернатор приказал всем капитанам судов собрать свои команды на корабли до захода солнца.

Что? Так вот как хотят с нами обращаться! Не успела эта новость дойти до шхун, как на них не осталось ни одной души. Все сошли на берег. Даже те, кто вовсе не собирался раньше, начали прыгать в лодки. Злосчастный приказ губернатора спровоцировал всеобщий скандал. После захода солнца прошло несколько часов, но матросы заявляли одно: «Пусть только попробуют вернуть нас на суда!». Они ходили по городу и приглашали все власти попытаться это сделать. Самая большая толпа собралась перед домом губернатора; пели во все горло матросские песни; из рук в руки передавали бутылки; некоторые шумно плясали. Полицейские, в том числе и резервный отряд, стояли кучками, совершенно беспомощные, и ждали от губернатора приказания, которого он весьма благоразумно не отдавал.

Мне эта вакханалия представлялась чем-то величественным. Казалось, будто вернулись времена испанских пиратов. Здесь был широкий, свободный разгул — это было достойно великих авантюристов. И я тоже участвовал в этом разгуле, и я был одним из этих морских разбойников, буйствовавших среди бумажных домиков японского городка.

Губернатор так и не отдал приказа очистить улицы. Между тем мы с Акселем продолжали бродить из трактира в трактир и везде выпивали. Вскоре во время какой-то пьяной проделки мы с ним разлучились, и я потерял его из виду; у меня у самого уже зашумело в голове. Я побрел дальше, на каждом шагу заводя новые знакомства; я пил стакан за стаканом и пьянел все больше и больше. Помню, я сидел где-то вместе с японскими рыбаками, с рулевыми гавайцами из нашей же флотилии и молодым матросом-датчанином,

только что вернувшимся из Аргентины, где он был ковбоем. Этот датчанин очень интересовался местными обычаями и обрядами. И вот мы начали пить *сакэ*, с полным и точным соблюдением всего японского этикета. Это был бесцветный, мягкий, тепленький напиток; подавали его в крошечных фарфоровых чашечках.

Помню еще мою встречу с юнгами — парнями лет восемнадцати — двадцати из английских семей средней руки. Они сбежали с судов, куда их отдали для обучения морскому делу, и вот теперь они очутились на промысловых шхунах в качестве матросов. Это были цветущие, ясноглазые юнцы с гладкой кожей; они были молоды, как и я, и тоже учились жизни среди взрослых мужчин. Да они и вправду уже были взрослыми. Они не хотели пить слабый *сакэ*, им нужны были четырехугольные бутылки, наполненные едкой, огненной жидкостью, которая зажигала у них кровь и возбуждала пожар в мозгу. Помню одну трогательную песню, которую они пели, с таким припевом:

Хочу тебе кольцо я дать,
Сынок мой дорогой,
Чтоб вспомнил про свою ты мать
В час бури роковой.

И они плакали, когда пели эту песню, — эти бесшабашные юные негодяи, нанесшие такой удар гордости своих матерей. Я тоже пел вместе с ними, и плакал вместе с ними, и наслаждался этой трогательной и драматической сценой, и пытался дать какое-то пьяное хаотическое объяснение жизни и романтическим приключениям. И еще одна картинка, которая ярко и отчетливо выделяется в тумане времени: мы — эти юнцы и я — идем по улице, обнявшись и покачиваясь, а над нами сияют звезды. Мы поем какую-то лихую матросскую песню, поем все, за исключением одного: он сидит на земле и горько плачет, а мы отбиваем такт, размахивая бутылками из-под джина. С обоих концов улицы доносятся голоса матросов, поющих, как и мы, хором, и вся жизнь кажется значительной, прекрасной, каким-то фантастическим и великолепным безумием.

Затем опять следует тьма, после нее я, открыв глаза, вижу при бледном свете начинающегося дня японку, которая заботливо и тревожно склоняется надо мной. Это жена местного лоцмана, и я лежу у двери ее дома. Мне холодно, я весь дрожу, я болен после вчерашней попойки. Чувствую, что я слишком легко одет. Ах, эти негодные юнги! У них, видно, вошло в привычку удирать. Теперь они удрали со всем моим имуществом. Часы мои исчезли. Несколько долларов, которые у меня были, тоже пропали. Нет и моего пальто. Пояса тоже. И… да, верно, башмаки тоже утащили.

Я описал для примера один из десяти дней, проведенных нами на Бонинских островах. Виктор оправился от своего временного сумасшествия, разыскал меня и Акселя, и мы после этого пили с большей осторожностью. Но мы так и не поднялись по тропинке из лавы, заросшей цветами. Город да бутылки из-под джина — вот все, что мы видели.

Тот, кто сам обжегся, не может не предупреждать других об опасности. Поступи я так, как следовало, я мог увидать на Бонинских островах много интересного, получить от многого настоящее удовольствие. Но я отлично понимаю, что дело вовсе не в том, как следует или как не следует поступать. Важно то, как поступаешь на самом деле. Такова извечная, неопровержимая истина. Я делал то, что делал. Я делал то, что делали все матросы на Бонинских островах. Я делал то, что делали в то самое время миллионы людей в различных точках земного шара. Я поступал так потому, что все меня толкало на этот путь, потому что я был человеком, вернее, мальчишкой, продуктом своей среды; потому что я не был ни болезненно-малокровным субъектом, ни полубогом. Я был просто человеком и шел по тому же пути, по которому шли все, шли люди, пред которыми я преклонялся, прошу не забывать — здоровые полнокровные мужчины, крепкие, могучие, шумливые, свободные духом, не рассчитывавшие по-мещански каждый свой шаг, а с

истинно царским великолепием расточавшие и жизнь, и свои силы, и деньги.

И этот путь был открыт передо мною. Точно во дворе, где играют дети, оставили незакрытым колодец. Какой прок убеждать маленьких смельчаков, шагающих своими крошечными неуверенными ножками по пути к познанию жизни, что нельзя играть близ незакрытого колодца. Все равно они непременно будут играть около него. Все родители это знают. И мы тоже знаем, что известный процент этих детей — самые живые и смелые из них — упадут в колодец. Нужно только одно, и каждый из нас это знает, а именно — прикрыть колодец. То же самое и с Джоном Ячменное Зерно. Все уговоры и нравоучения в мире не будут в состоянии удержать от Ячменного Зерна зрелых мужчин и подражающих им юношей до тех пор, пока Ячменное Зерно доступно всегда и повсюду и пока оно неразрывно связано с понятием о мужественности, смелости и широком размахе.

Единственный рациональный выход из этого положения для нас, представителей двадцатого столетия, — это забить колодец и доказать, что двадцатый век есть действительно двадцатый век, оставив девятнадцатому и всем предыдущим векам все то, что принадлежит им: сожжение ведьм, нетерпимость, фетишизм и самый гнусный из всех этих остатков варварства — Джон Ячменное Зерно.

Глава XVII

От Бонинских островов мы умчались на север, в поисках стада котиков, и долгих три месяца таскались по северным морям, в холод и мороз. Порой случалось, что мы попадали в густую, бесконечную полосу тумана и по целым неделям не видели солнца. Работа была неимоверно тяжелая, мы не пили и даже не думали о выпивке. А потом мы поплыли на юг, в Йокогаму, с огромным запасом шкур в трюме, предвкушая близость получения жалованья.

Мне очень хотелось сойти на берег и повидать Японию, но первый день после прибытия был всецело посвящен работе на судне: нас, матросов, отпустили только к вечеру. И здесь, согласно общепринятому порядку и установившемуся у мужчин обычаю вспрыскивать всякие сделки, Джон Ячменное Зерно снова подхватил меня под руку и повел, куда хотел. Капитан дал деньги охотникам для передачи нам, а те сидели и ждали нас в одном из местных трактиров, чтобы мы пришли их получить. Трактиром всецело завладела компания с нашей флотилии. Всякие напитки лились рекой. Угощали все. Могли ли мы после трех месяцев тяжелой работы и вынужденной трезвости — молодые, крепкие, цветущие, здоровые парни, в которых долго сдерживаемая дисциплиной и окружающими условиями жажда жизни теперь била ключом и шла через край, — могли ли мы удержаться, чтобы не выпить двух-трех стаканчиков? Выпьем немножко — так мы решили, — а потом пойдем осматривать город.

И повторилась та же самая история. Ведь сколько же раз нужно было выпить! А чем больше проникал в нашу кровь волшебный жаркий напиток, чем больше смягчались наши голоса и наши сердца, тем сильнее мы чувствовали, что теперь не время делать оскорбительное различие: согласиться выпить с одним товарищем и отказаться пить с другим. Все — товарищи, все мы вместе боролись с бурями и лишениями, все мы, стоя рядом, спускали паруса и натягивали канаты, сменяли друг друга у руля, лежали рядом на той же палубе, когда судно зарывалось в волны, и одновременно поднимали головы, когда оно выныривало, и смотрели, кого из товарищей не хватает. И потому надо было выпить со всеми, и все угощали, и голоса наши становились громче, когда мы все вспоминали тысячи товарищеских поступков. Про драки и словесные препирательства мы совсем забыли и твердо знали, что в целом мире нет парней лучше.

Так вот — был еще ранний вечер, когда мы попали в этот трактир, и за всю эту первую ночь на берегу я так Японии и не увидел; ничего я не увидел, кроме этого трактира — обыкновенного кабака, очень похожего на кабаки у нас дома, да и вообще на кабаки всего света.

Две недели мы стояли в Йокогамской гавани, но из всего города мы только и видели, что кабаки, где собирались матросы. Иногда кто-нибудь из нас нарушал однообразие попоек, выкинув какой-нибудь эффектный фортель. Мне, например, посчастливилось совершить настоящий подвиг по этой части: как-то раз, в темную полночь, я вернулся вплавь обратно на шхуну и крепко там уснул, а портовая полиция в это время искала в гавани мое тело и выставила мое платье для опознания.

Быть может, именно ради таких вещей и напиваются люди, думал я. В нашем маленьком кружке то, что сделал я, считалось из ряда вон выходящим событием. Вся гавань об этом говорила. В течение нескольких дней я слыл героем среди лодочников-японцев и в кабаках на берегу. Мой подвиг был достоин скрижалей истории. Я мог с гордостью вспоминать об этом событии и рассказывать о нем. Сознаюсь, что когда я вспоминаю это даже теперь, двадцать лет спустя, в душе моей поднимается тайное чувство гордости. Это был такой же яркий момент, как тот, когда Виктор разрушил чайный домик на Бонинских островах или когда меня обворовали беглые юнги.

Но интересно то, что наслаждение Джоном Ячменное Зерно было еще неведомо мне. Я был по

природе своей так далек от алкоголизма, что самый вкус алкоголя меня нисколько не прельщал; химическая реакция, которую он производил в моем теле, не доставляла мне никакого удовольствия: мой организм в подобной реакции не нуждался. Я пил потому, что пили те люди, с которыми я жил; пил потому, что не мог по характеру своему допустить такого позора, дать себя перещеголять другим в этом их излюбленном развлечении. Но я все еще был большим сластеной; в тех случаях, когда со мной не было никого, кто бы мог меня видеть, я покупал леденцы и с наслаждением поглощал их.

Под звуки веселой песни мы подняли якорь и вышли из Йокогамской гавани, держа курс на Сан-Франциско. На этот раз мы воспользовались северным течением, в спину нам дул крепкий западный ветер, так что мы после тридцати семи дней лихого плавания уже пересекли Тихий океан. Нам предстояло получить кругленькую сумму, и за все эти тридцать семь дней мы постоянно строили планы относительно того, как мы истратим наши деньги. За все это время никто из нас не выпил ни одного глотка вина, и мозги у нас совершенно прояснились.

Каждый матрос прежде всего уверял (как часто раздаются эти слова на баке возвращающихся домой судов!):

— Ну, я-то уж буду за версту держаться от этих акул (содержателей матросских гостиниц).

Затем — в скобках — шло сожаление о том, что в Йокогаме было истрачено так много денег. А затем уже каждый начинал мечтать на любимую тему. Виктор, например, уверял, что как только он высадится в Сан-Франциско, он пройдет прямо, не оглядываясь, через пристань и берег Барбари дальше — в самый город и сразу же поместит объявление в газетах о том, что он ищет комнату в скромной рабочей семье.

— Тогда, — говорил Виктор, — я запишусь недели на две в какой-нибудь танцкласс, чтобы познакомиться с девушками и молодыми ребятами. Потом я постараюсь попасть в компанию, где танцуют, меня начнут приглашать в гости на вечера и все прочее; а с теми деньгами, которые я получу, я смогу выдержать до января, и тогда опять отправлюсь за котиками.

Нет, пить он больше не станет. Он теперь знает, чем это кончается, особенно у него; вино вливается внутрь, а рассудок улетает прочь; и не успеешь оглянуться, как все деньги исчезают. По горькому опыту он знал, что перед ним выбор: или попойки дня на три сряду, вместе с акулами и гарпиями берега Барбари, или целая зима, со здоровыми развлечениями в приличном обществе. Разве можно было сомневаться, что он выберет.

Аксель же Гундерсон, который не любил ни общества, ни танцев, объявил:

— Я должен получить хорошую сумму, и я смогу поехать домой. Вот уже пятнадцать лет, как я не видал мать и всю мою семью. Как только мне выдадут деньги, я отправлю их домой, пусть они там ждут меня. Затем я выберу хорошее судно, направляющееся в Европу, и приеду опять с деньгами. Если сложить обе суммы вместе, то окажется, что у меня в жизни никогда не было столько денег сразу. Дома на меня будут смотреть, как на принца. Вы и представить себе не можете, до какой степени в Норвегии все дешево. Я смогу сделать всем подарки и тратить деньги так, что буду казаться им настоящим миллионером, и прожить целый год, не плавая на судах.

— Как раз то, что я собираюсь сделать, — заявил Красный Джон. — Вот уже три года, как я не имею ни одной строчки от своих, и десять лет, как я не был дома. А знаешь, Аксель, ведь в Швеции такая же дешевизна, как в Норвегии, а мои живут в деревне, фермерствуют. Я тоже пошлю свою получку домой и с тобой вместе на одном судне обогну мыс Горн. Мы себе хорошее судно найдем.

И Аксель Гундерсон, и Красный Джон начали наперебой описывать прелести сельской жизни и живописные обычаи своих стран. После этих рассказов каждый из них буквально влюбился в родной дом другого, и они торжественно поклялись совершить путешествие вместе и провести время вместе: шесть

месяцев в Швеции у Джона и шесть месяцев в Норвегии у Акселя. Так и не разнять их было до конца плавания — они прямо с головой ушли в обсуждение своих планов.

Длинного Джона домой не тянуло. Но бак ему надоел. Матросских гостиниц ему также не нужно. Он найдет себе комнатку в тихом семействе, поступит в навигационную школу и сдаст экзамен на шкипера. То же самое говорили и другие. Каждый клялся, что на этот раз он будет умнее и не станет сорить деньгами. Подальше от «акул», от прибрежного квартала, от кабаков — таков был лозунг у нас в команде.

Матросы стали невиданно бережливы и удивительно благоразумны. Они ничего не покупали у эконома. Накладывались заплаты на заплаты — разноцветные куски материй один на другой в самых необычайных комбинациях. Матросы экономили даже на спичках и закуривали не иначе как вдвоем или втроем от одной спички.

Не успели мы войти в гавань Сан-Франциско, как тотчас же после врачебного осмотра к нашему судну подплыли лодки с рассыльными из разных гостиниц. Они наводнили палубу; каждый во все горло рекламировал свое заведение, и у каждого за пазухой была даровая бутылка виски. Но мы с величественным видом и громкими ругательствами указали им на трап. Мы не нуждались ни в их гостиницах, ни в их виски. Ведь мы были трезвые, бережливые матросы и знали, на что тратить деньги.

Наконец настал день выдачи жалованья у судового комиссара. Мы вышли из конторы на тротуар с карманами, полными денег. На нас, точно хищные птицы, немедленно накинулись «акулы и гарпии». Мы переглянулись. Целых семь месяцев мы прожили вместе, не разлучаясь, а теперь дороги наши расходились. Оставалось выполнить последний обряд перед расставанием (ведь это же был обычай, священный обычай!).

— Пойдем, ребята, — сказал наш шкипер.

Тут же, под рукой, оказался и неизбежный кабак. Их даже целая дюжина была поблизости. А когда мы все зашли в один из них, «акулы» целой толпой стали у дверей на тротуаре. Некоторые из них пытались даже войти, но мы не желали иметь никакого дела с ними.

И вот мы все стали у длинной стойки — шкипер, штурман, шесть охотников, шесть лодочных рулевых и пять гребцов. Одного гребца не хватало: близ мыса Джеримо мы опустили его на дно моря, привязав ему к ногам мешок с углем, во время снежной бури, в промежутке между двумя снежными буранами. Нас было девятнадцать человек, и это была наша прощальная выпивка. После семи месяцев настоящей, тяжелой работы и в бурю и в затишье мы теперь в последний раз смотрели друг на друга. Мы отлично знали, что дороги моряков всегда расходятся в разные стороны. И все девятнадцать человек, как один, приняли угощение шкипера. А после этого помощник красноречиво окинул нас взглядом и потребовал еще виски. Помощника мы любили не меньше, чем шкипера, — мы любили обоих одинаково. Можно ли было, выпив с одним, не выпить с другим?

Затем угощал Пит Холт — охотник с моей лодки (он погиб через год на «Мери Томас», которая пошла ко дну вместе со всем экипажем). Время шло, один стакан виски следовал за другим; голоса наши становились громче, а в голове шумело. Всех охотников было шесть, и каждый из них настаивал, во имя священного чувства товарищества, чтобы весь экипаж выпил с ним хотя бы по одному стаканчику. Было еще шесть рулевых и пять гребцов, и все они рассуждали точно так же. У каждого в кармане звенели деньги, и каждый считал, что его деньги не хуже других, а душа у всех была щедрая и благородная.

Девятнадцать раундов — девятнадцать стаканов один за другим. Что еще нужно Джону Ячменное Зерно, чтобы всецело подчинить себе людей? Все мы были доведены до той точки, когда забываются всякие заботливо взлелеянные мечты. Команда, пошатываясь, вышла из трактира и попала прямо в объятия «акул и гарпий». После этого дело пошло быстро. Кто в неделю, а кто и в два дня просадил все

свои деньги, и содержатели матросских гостиниц начали их записывать на уходившие в плавание суда. Виктор был видный, рослый мужчина, по протекции какого-то своего приятеля ему удалось попасть в спасательную команду. Но объявления насчет комнаты в семье скромного рабочего он так нигде и не поместил и танцкласса никакого не видел. Длинный Джон тоже так и не попал в навигационную школу. Через неделю он поступил на временное место — крючником на речной пароход. Красный Джон и Аксель не послали домой своего жалованья. Вместо этого и их, как и всех прочих, раскидало в разные стороны: они поступили на разные суда и отправились плавать по всем морям света; их поместили туда содержатели гостиниц, и они трудились, чтобы уплатить «акулам» авансы, которых и в глаза не видели.

Меня лично спасло то, что у меня были дом и семья, куда я мог вернуться. Я переехал через залив, добрался до Окленда и между прочим взглянул в «свиток смерти». Нельсона уже не было — его застрелили во время вооруженного сопротивления отряду полиции. «Виски» тоже исчез. Исчезли также Старый Коул, Старый Смудж и Боб Смит. Другой Смит, с «Энни», утонул. Француз Фрэнк, по слухам, прятался где-то в верховьях реки; говорили, что он боится появиться внизу, потому что где-то что-то натворил. Еще несколько человек отбывали наказание в Сен-Квентине или Фольсоме. Большой Алек, грек, которого я близко знавал в Бенишии в старые времена и с которым мы, бывало, пили всю ночь напролет, убил двух человек и убежал за границу. Фитцсиммонс, с которым я служил в рыбачьем патруле, получил рану ножом в спину; у него было повреждено легкое; ранение осложнилось туберкулезом; он долго болел и умер. И так все, один за другим. Да, «путь смерти» был оживленным, бойким путем, а по всему тому, что я знал об этих людях, я не сомневался, что виноват во всем Джон Ячменное Зерно; за исключением одной только смерти не по его вине — смерти Смита с «Энни».

Глава XVIII

Мое увлечение Оклендской гаванью успело совершенно пройти. Мне перестала нравиться эта обстановка, вся эта жизнь. Я вернулся опять к Оклендской бесплатной библиотеке и снова начал читать книги — на этот раз с бóльшим пониманием. К тому же мать моя настаивала на том, что мне пора остепениться: покутил и баста, пора и за постоянную работу приняться. Да и семья моя нуждалась в деньгах. Подчиняясь всему этому, я поступил на джутовую фабрику и обязался работать по десять часов в сутки, получая по десять центов за час. Несмотря на то что я стал и сильнее и более ловким, я получал теперь ту же самую плату, что и на консервной фабрике несколько лет назад. Правда, здесь мне обещали через несколько месяцев повысить плату до доллара с четвертью в день.

С этого времени начинается для меня период полнейшей добродетели — в том, по крайней мере, что касается Джона Ячменное Зерно. Проходил месяц за месяцем, а я ни капли вина в рот не брал. Но мне не было еще восемнадцати лет, я был здоров, и мускулов моих не повредила физическая работа — она только укрепила их; понятно, что мне, как всякому молодому парню, необходимо было развлечение, что-нибудь возбуждающее, — нечто иное, чем книги и чисто механический труд.

Как-то раз я зашел в Союз христианской молодежи. Там царил здоровый спортивный дух, но для меня все это было чересчур по-детски. Я уже не был мальчиком, не был даже юношей, несмотря на мою молодость. Я привык держаться на равных со взрослыми мужчинами. Я знал о темных и страшных вещах. Для молодых людей, которых я встречал в Союзе христианской молодежи, я был человеком из совершенно иного мира: мы говорили на разных языках, я обладал более печальным и более ужасным жизненным опытом. (Теперь, когда я вспоминаю свою жизнь, я начинаю понимать, что настоящего детства у меня никогда не было.) Молодежь из Союза, во всяком случае, была не по мне: эти мальчики были слишком юны, слишком невинны. Впрочем, я не стал бы на это обращать внимание, если бы они сумели сойтись со мной на другой почве и оказать мне духовную поддержку. Но я много вычитал из книг — куда больше, чем они. Скудость их практического знания жизни, их духовное убожество — все это дало в сумме столь крупную, отрицательную величину, что она перевешивала и их нравственность, и успехи в занятиях спортом.

Одним словом, я уже не мог играть в детские игры с учениками приготовительного класса. Вся эта чистая, хорошая жизнь была закрыта для меня потому, что я уже прошел курс в школе Джона Ячменное Зерно. Я слишком рано узнал много лишнего. И все же, когда наступят новые, лучшие времена и алкоголь будет совершенно изгнан из жизни людей, именно в Союз христианской молодежи и другие интересные организации будут ходить те, кто теперь таскается по кабакам, чтобы там заводить знакомства.

Я работал по десять часов в день на джутовой фабрике. Это была нудная, чисто механическая работа. Мне же хотелось жизни, хотелось чувствовать, что я не только машина, работающая за десять центов в час. Но кабаков с меня было довольно. Мне нужно было нечто новое. Я превращался во взрослого человека. Во мне начали расти какие-то прежде неведомые мне и волнующие меня желания и стремления.

И в это-то время я по счастливой случайности встретился с Луисом Шаттоком. Мы стали друзьями.

Луис Шатток, совершенно не будучи порочным малым, был в сущности кем-то вроде дон-жуана; сам он, впрочем, был убежден, что он глубоко развращенный городской продукт. Я же вовсе таковым не был. Луис был красив, изящен и постоянно влюблялся. Влюбляться для него было интересным, всецело его поглощавшим занятием. А я о девушках и понятия не имел. Мне до сих пор не до них было. Эта сторона жизни прошла мимо меня. А когда однажды Луис поспешно простился со мной на улице и подошел, приподняв шляпу, к какой-то своей знакомой девице и пошел дальше рядом с ней, я почувствовал

волнение и зависть. Мне тоже захотелось поиграть в эту игру.

— Ну, зачем же дело стало? — сказал Луис. — Надо только барышню тебе найти.

Но это труднее, чем кажется на первый взгляд. Я вам сейчас это докажу в небольшом отступлении. Луис не был вхож в дом к своим знакомым девушкам. Ни у одной из них он не бывал. Разумеется, и я — совершенно чужой человек в этом новом для меня мире — находился в таком же положении. Кроме того, ни Луис, ни я не имели возможности посещать танцклассы и общественные вечера, а это были самые удобные места, чтобы завязать знакомства. Но у нас на это не хватало денег. Луис был учеником в кузнечной мастерской и получал лишь немногим больше меня. Мы оба жили дома и платили семье за свое содержание. Кроме того, надо было покупать папиросы, необходимую одежду и обувь, а после этого нам оставалась на личные расходы сумма, которая колебалась между семьюдесятью центами и долларом в неделю. Мы складывали наши капиталы, затем делили их поровну; порой остатки общих денег шли в пользу одного из нас, когда он, например, пускался в какую-нибудь крупную авантюру — вроде прогулки с барышней: трамвай в Блэр-Парк, туда и обратно, глядишь — и двадцати центов как не бывало; мороженое — две порции — тридцать центов, или какие-нибудь там темали, это стоило дешевле и обходилось в двадцать центов на двоих.

Но меня мало тревожило отсутствие денег. Презрение к деньгам, которому я научился у устричных пиратов, меня потом не покидало всю жизнь. В своей философии я завершил полный круг и всегда одинаково презирал деньги — как в те минуты, когда мне не хватало на что-нибудь десяти центов, так и в то время, когда я разбрасывал десятки долларов, угощая своих товарищей и разных прихлебателей.

Но каким же образом найти себе барышню? Льюис не мог привести меня в какой-нибудь дом и там представить девушкам. Сам я не был ни с кем знаком. Своих же приятельниц Луис ревниво берег для себя; во всяком случае, сама природа вещей не позволяла ему уступить мне одну из них. Правда, ему иногда удавалось уговорить свою знакомую привести с собой какую-нибудь подругу, но эти подруги оказывались лишь бледными копиями, совершенно бесцветными особами по сравнению с красотками Луиса.

— Тебе придется действовать, как действовал в свое время я, — сказал он наконец. — Я взял да и познакомился с барышней. Сделай то же самое.

И он научил меня, как следует поступать. Не надо забывать, что у нас с Луисом с деньгами было очень туго. Нам приходилось всячески изворачиваться, чтобы платить за свое содержание и сохранять приличный вид. Встречались мы с ним по вечерам, после рабочего дня, где-нибудь на углу или в маленькой бакалейной лавке в переулке, единственном месте, куда мы заходили. Здесь мы покупали папиросы, а иногда на пять центов «красненьких». (О да! Луис и я пожирали леденцы не краснея — сколько влезет. Ни он, ни я не пили. Ни он, ни я никогда не заходили в кабак.)

Но вернемся к девушкам. По совету Луиса, я должен был прибегнуть к самому простому способу: выбрать ту, которая мне нравится, и познакомиться с ней. Каждый день мы вечером гуляли по улицам. Девушки тоже прогуливались парами. Но, гуляя, девушка не может не посматривать на юношу, который проходит мимо и бросает ей искоса взгляды. (До сих пор, где бы я — теперь уже человек среднего возраста — ни находился, в каком бы то ни было городе, деревне или поселке, я опытным взором старого игрока слежу за этой милой, невинной игрой девушек и юношей, когда весна или лето выманивает их из дому на прогулку.)

Беда заключалась только в том, что в этот идиллический период своей жизни я, прошедший уже огонь и воду, оказался крайне робким и застенчивым. Луис постоянно подбадривал меня. Но я девушек не знал. Они казались мне, несмотря на мою скороспелость, таинственными существами. В критический момент мне не хватало смелости.

Тогда Луис начинал мне показывать, как это делается: красноречивый взгляд, улыбка, немножко смелости, приподнятая шляпа, какое-нибудь слово, в ответ — колебания, хихиканье, робкое волнение — и глядишь, дело уже завершено: Луис сам познакомился и кивает мне, чтобы я подошел, а он представит меня.

Но когда мы затем разделялись на пары и гуляли вместе, кавалер с дамой, я замечал, что Луис неизменно шел рядом с хорошенькой, а мне оставлял дурнушку.

Разумеется, после целого ряда попыток, о которых не стоит здесь говорить, я научился действовать лучше: набралось уже порядочно девушек, с которыми я мог раскланиваться и которые соглашались гулять со мной по вечерам. Но любовь я узнал не сразу. Меня занимало и интересовало такое времяпровождение, и я продолжал ему предаваться. Мысль о выпивке ни разу не пришла мне в голову. Впоследствии я, занимаясь обобщениями социологического характера, иногда подолгу задумывался над нашими с Луисом любовными приключениями. Но в общем все это было очень хорошо, чисто и невинно. Тогда же я узнал одну аксиому общего характера, но скорее биологического, чем социологического, а именно, что если исключить различие в одежде, то «Знатная леди и Джуди О'Греди во всем остальном равны».

А вскоре и я узнал, что такое любовь девушки, узнал всю прелесть, весь упоительный ее восторг. Я назову ее Хейди. Ей не было еще шестнадцати лет. Юбочка у нее доходила только до краев ботинок. Мы оказались рядом на собрании Армии Спасения; но сама она к этой организации не принадлежала. Не принадлежала к ней и тетка Хейди, сидевшая с ней рядом с другой стороны. Тетка эта приехала погостить из деревни, куда в то время еще не проникла Армия Спасения, и зашла на полчаса из любопытства. А Луис сидел рядом со мной и наблюдал: по-моему, он только наблюдал, так как Хейди не принадлежала к тому типу женщин, который ему нравился.

Мы сидели молча в эти незабываемые полчаса, но все время робко переглядывались друг с другом; несколько раз наши взгляды встречались, но мы сразу же отводили глаза в сторону. У нее было тонкое продолговатое лицо и необычайно красивые карие глаза. А носик — прямо мечта, как и губы — нежные, слегка капризные. На ней был берет, из-под которого виднелись волосы — мне казалось, что я никогда не видел такого красивого оттенка волос у шатенок. Эти полчаса убедили меня в том, что любовь с первого взгляда — вовсе не миф.

К сожалению, Хейди и тетка ушли очень скоро, как мне показалось (присутствующим на собраниях Армии Спасения разрешается уходить когда угодно). Собрание потеряло для меня всякий интерес; выждав для приличия несколько минут, мы с Луисом тоже направились к выходу. Когда мы выходили, одна женщина, сидевшая в задних рядах, узнала меня. Она встала и вышла вслед за мной. О ней я говорить не стану. Эта была женщина моего же круга, я познакомился с ней в давнишние времена на пристани. Когда Нельсона ранили, он умер у нее на руках, а она знала, что я был его единственным приятелем. Она хотела рассказать мне про смерть Нельсона, и я сам хотел про это узнать. И вот я перешагнул из новой жизни в старую, оторвался от моей зарождавшейся юношеской любви к маленькой шатенке в берете и окунулся в атмосферу прежней, хорошо знакомой мне мрачной дикости.

Выслушав ее рассказ, я побежал искать Луиса, боясь, что потерял мою первую любовь, едва увидев ее. Но на Луиса можно было в этом отношении положиться. Ее звали Хейди. Он узнает, где она живет. Она каждый день, идя в школу Лафайета или возвращаясь оттуда, проходила мимо мастерской кузнеца, у которого он работал. Больше того, он уже несколько раз видел ее в компании с другой ученицей той же школы, Руфью; и, наконец, Нита, у которой мы всегда покупали леденцы в мелочной лавочке, подруга Руфи. Нужно было первым делом пойти в мелочную лавочку и уговорить Ниту передать Руфи записку для Хейди. Если это получится, то мне останется только написать записку.

Так все и вышло. Мне довелось узнать свидания украдкой, на полчаса, познать все сладкое безумие юношеской любви. Есть в мире любовь, более сильная, чем эта, но нежнее ее нет ничего. Как сладко вспоминать про нее! Никогда ни у одной девушки не бывало более робкого поклонника, чем я, несмотря на то что я так рано узнал всю грязь мира и вел когда-то такую бурную жизнь. Я совершенно не знал девушек. Я, которого нарекли Принцем устричных пиратов; я, пускавшийся один в свет и живший как взрослый мужчина среди взрослых мужчин; я, который мог управлять судном в туман и в бурю, зайти в любой притон в приморском квартале и принять деятельное участие во всякой начинающейся драке или с шиком подозвать всех сидевших в кабаке к стойке, — я не знал, что можно сказать, как нужно действовать с этой тоненькой девчоночкой в коротенькой юбке, которая ничего не знала о жизни и незнание которой в этой области могло сравниться лишь — я так думал — лишь с моей житейской мудростью.

Помню, как мы сидели вдвоем на скамейке под звездным небом. Между нами было пространство в добрый фут шириной. Мы сидели вполоборота друг к другу, опершись на спинку скамейки; раз или два наши локти соприкоснулись. Я утопал в блаженстве, я говорил с ней, осторожно выбирая слова, чтобы как-нибудь не оскорбить ее нежный слух, но все время я мучительно старался понять, чего она от меня ждет. Чего может ждать молоденькая девушка от юноши, сидящего с ней рядом на скамейке и пытающегося проникнуть в тайны любви? Что я должен сделать? Должен ли я поцеловать ее? Хочет ли она, чтобы я сделал такую попытку? А если она ждет именно этого, а я этого не сделаю, что она подумает обо мне?

Ах, она была мудрее меня — теперь я это знаю — эта невинная женщина, ребенок в коротенькой юбке. Она часто встречалась с мальчиками. Она показывала мне, что я ей нравлюсь, всеми способами, которые может позволить себе девушка. Она сняла перчатки и держала их в руке. Помню, как она, в шутку наказывая меня за что-то сказанное мною, смело и непринужденно начала похлопывать меня по губам этими перчатками. Я чуть не потерял сознание от восторга. Более чудесного ощущения я никогда в жизни не испытал. Помню даже еле заметный запах духов, которыми были надушены ее перчатки: я вдыхал его, когда они касались моих губ.

И вдруг началось мучительное раздумье и сомнение. Не схватить ли мне эту ручку, размахивавшую надушенными перчатками, которые только что коснулись моих губ? Осмелюсь ли я тут же поцеловать ее или обнять за талию? Решусь ли я хотя бы сесть поближе к ней?

Ничего я не осмелился сделать. Так-таки ничего и не сделал. Я просто сидел и любил ее — любил от всей души. И мы на этот раз расстались без поцелуя. Помню, когда я поцеловал ее впервые; это было в другой раз, тоже вечером, при прощании, великий это был миг, когда я, наконец, собрался с духом и решился. В общем мы с ней виделись украдкой всего раз двенадцать и обменялись каким-нибудь десятком поцелуев — юношеских поцелуев, коротких, невинных, вселявших в нас самих удивление. Мы никогда не ходили вдвоем, даже на утренний концерт. Один раз мы съели на пять центов леденцов, но я твердо верил, что она меня любила. Знаю, что я-то безусловно любил ее, больше года мечтал о ней, и память о ней мне дорога до сих пор.

Глава XIX

Когда я бывал в обществе непьющих людей, о выпивке и не помышлял. Луис не пил. Ни ему, ни мне это было не по средствам, но — и это еще более знаменательно — у нас и желания не было выпить. Мы были вполне здоровыми и нормальными юношами. Если бы нас тянуло выпить, мы ухитрились бы пить, даже не имея денег.

Каждый вечер, закончив рабочий день, мы, умывшись, переодевшись и поужинав, встречались где-нибудь на углу или в мелочной лавке. Но вскоре закончились теплые осенние дни, а в холодные морозные вечера или в сырую погоду, когда сверху сыпал мелкий дождичек, угол являлся крайне неудобным местом для встреч. В мелочной же лавке печки не было. Нита — или кто бы там еще ни прислуживал покупателям — убегала при первой возможности в натопленную комнату при магазине. Туда мы не допускались, а в самой лавке стоял такой же холод, как и на улице.

Мы с Луисом начали обсуждать положение. Оставался один исход — кабак, место сбора для всех мужчин, то место, где они сталкивались с Джоном Ячменное Зерно. Как памятен мне этот мокрый и ветреный день, когда мы с Луисом, дрожа от холода (на пальто у нас не хватало денег), отправились искать себе подходящий трактирчик. В трактире всегда бывает тепло и уютно. Мы с Луисом шли туда вовсе не потому, что нам захотелось выпить. А между тем мы знали, что кабак — не благотворительное учреждение. Нельзя было сидеть там часами, не заказав чего-нибудь.

Денег у нас было очень мало. Жалко было тратить их, ведь на них можно было прокатиться в трамвае с кем-нибудь из знакомых девушек (когда мы гуляли одни, то на трамвай денег не тратили, а всегда ходили пешком). Понятно, что, попав в трактирчик, мы старались получить как можно больше удовольствия за свои деньги. Мы потребовали колоду карт, сели за стол и битый час играли в экрю; за этот час Луис угостил пивом один раз, и я один раз; пиво было самым дешевым напитком — кружка пять центов. Какая расточительность! Как нам было жаль этих денег!

Мы начали разглядывать посетителей. Это были преимущественно пожилые или среднего возраста рабочие. Большинство из них были немцы, держались они отдельными группами, и все, очевидно, давно знали друг друга. С ними у нас не могло быть ничего общего. Мы единодушно забраковали этот трактир и вышли расстроенные оттого, что зря потеряли вечер и истратили двадцать центов на совершенно ненужное нам пиво.

Наши поиски продолжались еще несколько дней; наконец, мы забрели в «Националь», на углу Десятой и Франклинской. Здесь общество было более подходящее. Луис нашел двух-трех знакомых, я тоже встретил несколько старых товарищей — своих соучеников по школе, с которыми дружил, будучи еще маленьким мальчиком в коротеньких штанишках. С ними мы начали вспоминать старину и расспрашивать друг друга, что сталось с тем, что поделывает другой. Разумеется, беседа велась за стаканчиком. Они угощали нас, и мы пили. Затем, согласно неписаному кодексу, настала наша очередь угощать. Это уже было чувствительно — это означало, что придется за один присест кинуть на прилавок центов сорок — пятьдесят.

Вечер прошел быстро и очень оживленно, но мы окончательно обанкротились. Карманные деньги, припасенные на целую неделю, целиком исчезли. Все же мы решили, что будем посещать только «Националь», но дали себе слово быть осмотрительнее с угощением. До конца недели приходилось экономить пожестче. Даже на трамвай не оставалось ни гроша. Пришлось отменить прогулку с двумя девушками из Западного Окленда, с которыми мы собирались завести роман. Мы договорились встретиться с ними на другой день в городе, а теперь у нас не хватало денег даже на то, чтобы довезти их домой. Как и многим, попадающим в затруднительное финансовое положение, нам приходилось

исчезнуть на время из вихря светской жизни — по крайней мере, до субботы, дня получки. Поэтому мы с Луисом стали назначать друг другу свидание в какой-то конюшне, где мы сидели, подняв воротники и стуча зубами, затем играли в экрю в казино в ожидании, пока не пройдет время нашего отшельничества.

После этого мы опять начали посещать «Националь», но старались тратить ровно столько, сколько требовали приличия, чтобы иметь возможность наслаждаться теплом и уютом. Иногда нам не везло. Раз, например, нас заставили принять участие в игре в карты, и мы проиграли два раза подряд (а по уговору проигравший угощал всех пятерых партнеров). Что за несчастие! Ведь это означало расход от двадцати пяти до восьмидесяти центов, в зависимости от того, сколько игроков потребуют десятицентовые напитки. Впрочем, мы всегда имели возможность временно отвратить последствия подобных катастроф: хозяин открыл нам кредит. Разумеется, этим день расчета только отодвигался, да и появлялось искушение тратить больше, чем мы истратили бы наличными. (Хорошо помню, что когда я следующей весной внезапно покинул Окленд и опять отправился бродяжничать, я остался должен этому трактирщику один доллар и семьдесят центов. Когда я, спустя несколько лет, возвратился, его уже не оказалось. Так я ему до сих пор не уплатил свой долг. Если он случайно прочтет эти строки, прошу его иметь в виду, что уплачу по первому же требованию.)

Я рассказал об этом инциденте с «Националем», чтобы еще раз показать, каким соблазном, каким искушением является Джон Ячменное Зерно при таком социальном строе, когда на каждом углу торчит кабак. Хуже того, некоторые поневоле принуждены прибегнуть к нему. Мы с Луисом были здоровыми юношами. Мы вовсе не хотели пить. Это было нам не по средствам. А между тем холодная, мокрая погода гнала нас в кабак, где нам приходилось тратить часть наших скудных капиталов на спиртные напитки. Строгие критики заметят нам, что мы могли бы отправиться в Союз христианской молодежи, в вечернюю школу, в общественные клубы или дома для юношества. На это есть только один ответ: мы туда не пошли! Таков неоспоримый факт. Не пошли, да и только. И еще теперь, в настоящий момент, существуют сотни тысяч мальчишек вроде меня и Луиса, которые проделывают с Джоном Ячменное Зерно как раз то, что делали мы с Луисом: у Джона тепло и уютно, он манит к себе пальцем и радушно встречает всякого, подхватывает его под руку и вкрадчиво нашептывает ему на ухо свое гнусное внушение.

Глава XX

Джутовая фабрика не выполнила обещания повысить мне жалованье до доллара с четвертью в день. В ответ на это я, чьи предки по прямой линии участвовали во всех войнах, начиная с давнишней дореволюционной борьбы с индейцами, — я, юный свободный американский гражданин, воспользовался своим правом на свободный труд и покинул фабрику.

Я все еще не отказывался от прежнего намерения найти себе постоянное занятие и потому начал присматриваться, не подвернется ли что-нибудь подходящее. Ясно было одно: неквалифицированный рабочий получал нищенскую плату. Необходимо научиться какому-нибудь ремеслу. Я решил стать электротехником. Спрос на них все более растет. Но каким же образом научиться электротехнике? Поступить в техническую школу или в университет — на это у меня не было средств; да и к тому же я был не особенно высокого мнения о теоретической науке. Я был практик и жил в том мире, где господствовала практика. Кроме того, я все еще верил в мифы, которые являлись необходимой принадлежностью мировоззрения всякого американского мальчишки в мое время.

Ведь мог же мальчишка-лодочник стать президентом[2]. Любой подросток, поступивший на службу в какое-нибудь торговое или промышленное учреждение, если он бережлив, энергичен, не пьет спиртных напитков, мог сам научиться делу, постепенно подняться, занимая все более и более ответственные должности, и, наконец, стать младшим компаньоном фирмы. А тогда уж стать старшим компаньоном — пустяки: это только вопрос времени. Часто случалось — так говорится в волшебной сказке, — что парню удавалось, благодаря своей старательности и усердию, жениться на дочери хозяина. К этому времени я уже успел твердо поверить в свое умение ухаживать и ни минуты не сомневался, что женюсь на дочери хозяина. В этом я был твердо убежден. Так поступали все мифические юноши, как только становились взрослыми!

Так я решил навсегда проститься с бродячей жизнью. Я отправился на электрическую станцию, снабжавшую энергией одну из линий оклендского трамвая. Меня повели к самому директору. Он принял меня в кабинете, роскошь которого буквально ошеломила меня. Но я все-таки храбро заговорил. Я объяснил ему, что мне хотелось бы на практике изучить электротехническое дело, что я работы не боюсь, что я привык к тяжелому труду, ему нужно только взглянуть на меня, чтобы убедиться в моей силе и выносливости. Я сказал ему, что хочу начать с низших ступеней и своим трудом пробиваться вверх, что я готов посвятить всю свою жизнь этому занятию и своей работе.

Директор прямо просиял. Слушая меня, он заявил мне, что я пойду далеко. Сам он всегда охотно шел навстречу каждому молодому американцу, желавшему пробить себе дорогу. Ведь предприниматели всегда ищут именно таких юношей, как я; но, увы, они очень редко находят их. Мое намерение похвально и достойно всякого уважения. Он сам лично будет следить за тем, чтобы мне была дана полная возможность его выполнить. (А я слушал его, и сердце у меня трепетало, и я думал, не на его ли дочери я со временем женюсь?)

— Прежде чем окончательно выйти на самостоятельный путь и начать изучать более сложные и тонкие подробности профессии, — сказал он, — вам, разумеется, придется поработать в вагонной мастерской, где производится ремонт и установка моторов. (Тут я уже окончательно решил, что это будет именно его дочь, и соображал, много ли у него акций компании.)

— Но, — продолжал он, — вы сами, конечно, понимаете, что не можете начать с должности помощника электротехника, работающего по установке моторов. Это придет позднее, когда вы заслужите ваше повышение. Вы должны в сущности начать с самого начала. Ваши обязанности в вагонной мастерской

будут заключаться в подметании пола, мытье окон, общей уборке помещения. Когда вы докажете, что умеете справляться с этими обязанностями, тогда вы можете стать помощником электромонтера.

Я не вполне ясно понимал, каким образом подметание и мытье пола могут служить подготовкой к профессии электромонтера, но из книжек знал, что все начинали с самой черной работы и благодаря своему усердию становились в конце концов владельцами всего предприятия.

— Когда можно начать? — спросил я, стремясь как можно скорее вступить на путь, открывавший передо мной столь блестящие перспективы.

— Но, — сказал директор, — как мы с вами уже условились, вы должны начать с самого начала. Вы не можете сразу попасть в вагонную мастерскую, даже уборщиком. Вы должны раньше пройти через машинное отделение и проработать некоторое время смазчиком.

У меня слегка ёкнуло сердце: на миг мне представилось, что путь, отделяющий меня от его дочери, становится что-то уж очень длинным, но я тотчас же воспрянул духом. Знакомство с паровым двигателем будет мне только полезно: я стану от этого еще лучшим электротехником. Если я буду работать смазчиком в машинном отделении, то мне удастся изучить устройство машин во всех деталях, — я знал, что не упущу такого случая. Господи! Карьера моя представлялась мне в еще более блестящем виде, чем раньше.

— Когда мне явиться на работу? — спросил я глубоко признательным тоном.

— Но, — сказал директор, — вы не можете ожидать, чтобы вас с первого же дня определили в машинное отделение. Вам нужно к этому подготовиться. Нечего и говорить, что вам необходимо пройти через котельное отделение. Впрочем, я знаю, вы сами отлично это понимаете. Вы увидите, что даже подкладывание угля — целая наука, это не пустячок, к которому можно относиться с пренебрежением. Знаете ли вы, что мы взвешиваем каждый фунт угля, который сжигаем? Таким образом мы узнаем достоинство того или иного сорта, который нам приходится покупать; мы до мелочей, до последнего грамма учитываем расходы в каждой отрасли производства. Вместе с тем мы замечаем, какой истопник расходует больше угля и кто, по неумению или небрежности, хуже других использует его. — Лицо директора опять расплылось в улыбке. — Видите, каким важным является пустячный, казалось бы, вопрос об угле; чем лучше вы освоитесь с этим делом, тем лучшим станете работником, более ценным и для нас и в собственных глазах. Ну, а теперь согласны ли вы приняться за дело?

— Когда угодно, — мужественно ответил я, — и чем скорее, тем лучше.

— Хорошо, — сказал он. — Приходите завтра к семи.

Меня повели и показали, в чем будут состоять мои обязанности. При этом мне были объявлены условия работы: десятичасовой рабочий день; работать ежедневно, включая воскресенья и праздничные дни; один свободный день в месяц; жалованье — тридцать долларов в месяц. Не от чего было прийти в восторг! Уже несколько лет тому назад на консервной фабрике я зарабатывал по доллару в день за десять часов работы. Я утешал себя мыслью, что моя работа не ценилась дороже теперь лишь потому, что я все еще был неквалифицированным рабочим. Но теперь пойдет иначе. Теперь я буду работать именно ради приобретения квалификации, чтобы научиться ремеслу, составить себе карьеру и состояние и добиться руки директорской дочери.

И начинал-то я именно так, как полагалось, — с самого начала. В этом-то и была вся суть. Я должен был подавать уголь истопникам, которые сыпали его в топку, и вырабатываемая им энергия превращалась в пар; а пар, в свою очередь, в машинном отделении превращался в электрическую энергию, с которой имели дело электротехники. Без сомнения, с подачи угля начиналось все, — если только, разумеется, директору не вздумается послать меня на копи, где добывался уголь, чтобы я получил более полное представление о происхождении электрической энергии, приводящей в движение городские трамваи.

Работа! Оказалось, что я, до сих пор не отстававший в работе от взрослых мужчин, понятия не имел о том, что называется настоящей работой. Десятичасовой рабочий день! Мне приходилось подавать уголь как для дневной, так и для ночной смены; несмотря на то, что я работал весь обеденный перерыв, мне никогда не удавалось окончить работу раньше восьми вечера. Я работал по двенадцать и по тринадцать часов, и мне здесь не платили сверхурочных, как на консервной фабрике.

Так и быть, сразу открою тайну. Я выполнял работу двух человек. До моего поступления дневную смену обслуживал взрослый, сильный рабочий, а ночную — другой, такой же взрослый и сильный. Каждому из них платили по сорока долларов в месяц. Директор с целью экономии убедил меня исполнять работу двух мужчин за тридцать долларов в месяц. Я воображал, что он помогает мне изучать электротехническое дело. А он попросту сберегал компании пятьдесят долларов в месяц.

Но я-то еще не знал, что заменяю двух рабочих. Никто мне этого не сказал: директор предупредил всех, чтобы никто не проговорился. С каким мужеством я принялся за дело в первый день! Я работал с максимальной быстротой, наполнял железную тачку углем, бегом вез ее к весам, взвешивал, а оттуда катил ее в котельное отделение и опрокидывал на железные листы перед топкой.

Работа! Я делал больше, чем двое, которых я заменял. Те просто возили уголь на тачках и высыпали его на листы. Я же так поступал только с углем для дневной смены, уголь для ночной смены я должен был насыпать кучей у стены в котельном отделении. Помещение это было очень тесное. Первоначально оно предназначалось для рабочего, подававшего уголь для ночной смены. Из-за этого мне приходилось делать очень высокую кучу и насыпать уголь все выше и выше, подпирая его крепкими досками. Под конец я должен был делать двойную работу: сначала высыпать содержимое тачки на пол, а потом подбрасывать его наверх лопатой.

Я весь обливался потом, но ни на секунду не прекращал работы, хотя чувствовал, что начинаю изнемогать. К десяти часам утра я израсходовал столько энергии, что уже почувствовал голод; тогда я быстро вытащил один из толстых двойных бутербродов, которые я принес себе на завтрак, и съел его стоя, не смыв с себя покрывавшей меня с головы до ног угольной пыли; ноги у меня при этом так и тряслись. К одиннадцати я успел съесть весь свой завтрак. Но не все ли равно? Зато я могу теперь работать весь перерыв. И я проработал все время перерыва и весь день. Настали сумерки, а я все еще продолжал работать при электричестве. Ушел истопник дневной смены, пришел ночной. А я все возил и возил уголь.

В половине девятого, еле держась на ногах, я вымылся, переоделся и поплелся к трамваю. До дому было три мили; я получил билет на даровой проезд, но имел право сидеть только в том случае, если окажется лишнее место и никто из платных пассажиров не будет стоять. Я забрался в угол открытого вагона, молясь в душе, чтобы мое место никому не понадобилось. Но трамвай понемногу наполнялся, и не успел я проехать и полдороги, как вошла женщина, для которой уже не хватило места. Я хотел встать, но, к своему удивлению, понял, что не могу. Сидение на холодном ветру точно парализовало мое утомленное тело, и оно буквально приросло к скамейке. Мне еле-еле удалось к концу пути расправить ноющие суставы и мускулы и встать на нижнюю ступеньку вагона. А когда пришло время выходить, я чуть не упал на землю.

Еле волоча ноги, я прошел два квартала и, прихрамывая, вошел в кухню. Пока мать готовила мне ужин, я накинулся на хлеб с маслом. Но я не успел наесться как следует и бифштекс не успел изжариться, как я уже заснул мертвым сном. Напрасно трясла меня мать: ей так и не удалось разбудить меня и накормить мясом. Тогда она позвала отца, и вдвоем они кое-как дотащили меня до моей комнаты, где я, как сноп, упал на кровать. Отец и мать раздели и уложили меня. Утром началась новая мука, когда меня стали будить. Все тело у меня ныло, и, еще хуже, распухли кисти. Я отыгрался на завтраке за пропущенный накануне ужин и, наконец, побрел, прихрамывая, на трамвай, захватив с собой на завтрак вдвое больше, чем в первый день.

Работа! Пусть попробует восемнадцатилетний юноша перещеголять двух взрослых рабочих и перевозить и насыпать больше угля, чем они. Работа! Задолго до полудня я съел весь свой скромный завтрак до последней крошки. Но я твердо решил показать всем, на что способен мужественный юноша, решивший пробить себе дорогу. Хуже всего было то, что руки у меня совсем распухли и отказывались мне служить. Почти все знают, как больно бывает ступить, если растянешь сухожилие. Легко вообразить поэтому, какое это страдание, когда приходится работать лопатой и возить тяжелую тачку при растяжении жил в обеих кистях.

Работа! Сколько раз я опускался, когда никого не было поблизости, и плакал от злости и досады, от утомления и отчаяния. Этот второй день был для меня самым тяжелым. Я выдержал до вечера и закончил работу только благодаря истопнику дневной смены, который перетянул мне кисти широкими ремнями. Он так крепко затянул эти ремни, что получилось нечто вроде гибкой гипсовой повязки. Этот кожаный футляр придал крепости моим кистям и тем самым освободил их от части давления и напряжения. К тому же он так плотно облегал их, что опухоль не могла увеличиваться.

Так я учился электротехнике. День за днем я плелся домой по вечерам и засыпал, не успев поужинать; меня раздевали и укладывали. А по утрам я спешил, прихрамывая, на работу, неся с собой все более и более внушительные завтраки.

Я уже больше не читал и не брал книг из библиотеки. Прогулки со знакомыми девушками тоже пришлось прекратить, я превратился в настоящую рабочую скотину. Я только работал, ел и спал, а мозг мой все время дремал. Это был какой-то кошмар. Работал я ежедневно, считая и воскресенья, заранее мечтая о единственном свободном дне, который мне дадут по прошествии месяца; я решил, что целые сутки пролежу в кровати и буду отсыпаться.

Самое странное в этом то, что за все время я ни капли не брал в рот и о вине даже не вспоминал, хотя знал, что при переутомлении люди почти всегда начинают пить. Я видал такие случаи и сам иногда прибегал к этому после тяжелого труда. Но я так мало склонен был к алкоголизму, что мне даже не приходило в голову искать облегчения в выпивке. Я привел этот пример с целью доказать, что у меня не было ни малейшего врожденного расположения к алкоголизму. Вся суть этого примера заключается в том, что впоследствии, много лет спустя, постоянное соприкосновение с Джоном Ячменное Зерно все-таки, наконец, возбудило во мне тягу к питью.

Я уже не раз замечал, что истопник дневной смены как-то странно на меня поглядывает. Наконец он решился и сказал мне все. Начал он с того, что взял с меня клятву не выдавать его. Директор запретил ему говорить мне об этом, и он рисковал потерять место. Он рассказал мне о двух рабочих, которые работали до меня, один для дневной, а другой для ночной смены. Я получал тридцать долларов за то, за что они получали восемьдесят. Истопник признался, что он открыл бы мне тайну и раньше, но был уверен, что я не выдержу и сам уйду. А теперь он видел, что я попросту вгоняю себя в гроб без всякого смысла. По его словам, я только сбивал цену на труд и отнимал работу у двух людей.

Будучи американцем, да при том еще человеком самолюбивым, я ушел не сразу. Знаю сам, что это было глупо с моей стороны, но я решил не бросать работы, пока не докажу директору, что могу выполнить ее, не сваливаясь с ног. Вот тогда я откажусь от места, а он поймет, какого отличного работника лишается.

Так я и сделал, что было крайне глупо. Я продолжал работать, пока часам к шести не высыпал последней тачки угля. После этого я пошел отказываться от места и вместе с тем и от надежды научиться электротехническому делу путем выполнения работы двух взрослых мужчин за жалованье, которое дается только мальчишкам. А затем я отправился домой, завалился спать и спал круглые сутки.

К счастью, я недолго пробыл на электрической станции и не успел надорваться. Впрочем, мне

пришлось после этого целый год носить кожаные ремни в виде браслетов. Эта работа запоем внушила мне полное отвращение к физическому труду. Я попросту не хотел больше работать. Меня тошнило при одной мысли о работе. Даже если я никогда прочно не устроюсь, не все ли равно? К черту всякие попытки изучить ремесло! Куда лучше бродить по миру и веселиться, как я это делал раньше. И вот я опять отправился бродяжничать. На этот раз я отправился на восток, путешествуя в товарных вагонах.

Глава XXI

Но полюбуйтесь-ка! Не успел я вернуться к бродячей жизни, как снова столкнулся с Джоном Ячменное Зерно. Я постоянно попадал в общество незнакомых людей, но стоило только выпить с ними, как мы сближались. Иногда приходилось чокнуться в кабаке с подвыпившими городскими жителями, иногда — с каким-нибудь веселым, основательно нагрузившимся железнодорожником, у которого из каждого кармана торчало по бутылке, или же с компанией «алки». Это могло случиться и в штате, где была запрещена продажа спиртных напитков, например в Айове. Пока я прогуливался по главной улице Де-Мойна в 1894 году, ко мне подходили совершенно незнакомые люди и приглашали зайти в подпольные кабаки; помню, что я пил в какой-то парикмахерской, потом в водопроводной мастерской и наконец — в мебельном магазине.

Всегда и везде со мной был Джон Ячменное Зерно. В те счастливые времена даже бродяга имел возможность частенько напиваться. Помню, какую отличную попойку мы однажды устроили в Буффало, когда нас посадили в тюрьму. А когда нас выпустили на свободу, мы снова напились, тут же, на улице, добыв необходимые для этого средства попрошайничеством.

У меня не было влечения к спиртным напиткам; но когда все вокруг пили, я не отставал от других. Путешествовал ли я или просто бездельничал, я непременно подбирал себе в спутники или товарищи самых живых, всем интересующихся людей, а именно эти-то как раз пили больше всех. У них всегда было более развито чувство товарищества и резче проявлялась индивидуальность; они были смелее остальных. Может быть, именно темперамент и заставлял их пренебрегать всем обыкновенным, будничным и искать развлечения в ложных и фантастических радостях, которые доставляет людям Джон Ячменное Зерно. Как бы то ни было, неизменно оказывалось, что людей, больше всего приходившихся мне по душе, тех людей, с которыми мне хотелось быть вместе, можно было найти только в обществе Джона Ячменное Зерно.

Мои скитания по Соединенным Штатам сильно изменили мое представление о жизни. В качестве бродяги я имел возможность видеть закулисную сторону общества; я мог в сущности заглянуть даже под сцену и видеть, как работает весь механизм. Я увидел, как вращаются колеса общественной машины, и узнал, что физический труд вовсе не пользуется тем почетом, о котором вечно твердят нам школьные учителя, проповедники и политические деятели. Человек без ремесла был просто беспомощным рабочим скотом. А научившись ремеслу, он волей-неволей должен был записываться в профсоюз, чтобы иметь возможность заниматься своим делом. И союз этот должен всячески бороться с союзами предпринимателей и запугивать их, чтобы добиться увеличения заработной платы или сокращения рабочего дня. Союз предпринимателей, в свою очередь, тоже прибегал к запугиваниям и угрозам. Когда же рабочий старел или с ним происходил несчастный случай, его выкидывали вон, как поломанную машину, как мусор. Я видел таких людей, доживавших остаток своих дней далеко не в почете.

Итак, мои новые взгляды на жизнь сводились к тому, что всякий физический труд отнюдь не является занятием почтенным и что он вовсе не окупается. Нет, я решил, что не нужно мне никакого ремесла и никаких директорских дочек. Путь преступлений тоже не для меня. Стать преступником почти так же ужасно, как пахать землю. Выгодно продавать свой мозг, а не физическую силу; поэтому я решил никогда больше не продавать свои мускулы на рынке. Мозг, только мозг — вот что я буду продавать!

Я вернулся в Калифорнию с твердым намерением получить образование. Начальную школу я уже давно окончил и потому теперь поступил в среднюю оклендскую школу. Чтобы платить за учение, я устроился работать привратником. Кроме того, мне помогала сестра и я не брезгал никакой работой: если у меня бывало несколько свободных часов, я косил газоны или выколачивал у кого-нибудь ковры. Я

трудился, чтобы избавиться от необходимости работать в будущем, и принялся за дело всерьез, усмехаясь над собой при мысли об этом парадоксе.

Забыта была всякая юношеская любовь, и Хэйди, и Луис Шатток, и вечерние прогулки. Мне было некогда. Я записался в литературный клуб имени Генри Клея и стал бывать в гостях у кое-кого из его участников. Там я встречался с симпатичными девушками, носившими длинные платья. Состоял я и в частных кружках, где толковали о поэзии и искусстве и о различных тонкостях грамматики. Кроме того, я сделался членом местного социалистического клуба, где изучали философию, политическую экономию и ораторствовали на различные темы. В бесплатной библиотеке я выписывал по пять-шесть книг и все время параллельно с учебой занимался чтением.

Целых полтора года я капли в рот не брал и даже ни разу не вспомнил про вино. На выпивку не хватало времени, да и желания не было. Служба, учеба и невинные развлечения вроде игры в шахматы не оставляли мне ни одной свободной минуты. Я постепенно проникал в новый мир и предавался этому с такой страстью, что старый мир, где царил Джон Ячменное Зерно, ничем уже не прельщал меня.

Впрочем, я ошибся: все-таки один раз зашел в трактир. Я отправился к Джонни Рейнгольдсу в «Разлуку», чтобы занять у него денег. Вот еще один из ликов Джона Ячменное Зерно. Содержатели кабаков всегда славились добротой. Можно сказать, что в общем они во много раз щедрее, чем так называемые деловые люди. И вот, когда мне нужно было во что бы то ни стало достать десять долларов, а обратиться было не к кому, я пошел к Джонни Рейнгольдсу. Несколько лет уже прошло с тех пор, как я в последний раз заходил в его заведение. Да и в этот раз, когда я зашел попросить у него десять долларов, я не выпил ни одного стакана. И тем не менее Джонни Рейнгольдс дал мне деньги, не потребовав ни процентов, ни залога.

Да и после этого, в течение недолгого периода моей борьбы за образование, я не раз заходил к Джонни Рейнгольдсу и занимал у него деньги. Когда я поступил в университет, я взял у него в долг сорок долларов, без залога, без процентов, не истратив у него ни гроша. Но зато — и в этом-то вся суть дела, этого требуют обычай и неписаное правило — много лет спустя, когда я стал человеком состоятельным, я частенько делал крюк, чтобы зайти к Джонни Рейнгольдсу и истратить у него немного денег — как бы проценты за его прежние ссуды. Не подумайте, что Джонни просил об этом или что он этого ожидал. Нет, я поступал так, повинуясь, как я уже говорил, тем неписаным правилам, которые я изучил, когда проходил всю науку Джона Ячменное Зерно. В тяжелую минуту, когда человеку не к кому обратиться за помощью, когда он не может заложить ни малейшей вещицы, на которую согласился бы посмотреть лютый ростовщик, он всегда может пойти к какому-нибудь знакомому кабатчику. Благодарность — черта, свойственная природе человеческой. Когда у такого человека заведутся деньги, можете быть уверены, что часть их попадет за стойку в кассу того, кто пришел ему на помощь. Припоминаю начало моей литературной деятельности, когда небольшие гонорары, которые я зарабатывал, помещая свои рассказы в журналах, присылались мне с поразительной неаккуратностью, доходившей буквально до трагизма. А ведь мне приходилось тогда содержать всю семью, которая все увеличивалась: жену, детей, мать, племянника, а кроме того, мою кормилицу Мамми Дженни и ее старика-мужа, для которых настали тяжелые времена. Было два места, где я мог занять денег: парикмахерская и кабак. Парикмахер брал с меня по пяти процентов в месяц с платой вперед. Другими словами, когда я брал у него в долг сто долларов, он вручал мне только девяносто пять. Остальные пять долларов он удерживал в виде процентов за первый месяц. За второй я платил ему еще пять долларов и так каждый месяц, пока я, наконец, не устроил забастовку моим издателям, выиграл и смог выплатить свой долг.

Другое место, куда я мог обратиться, был кабак. Содержателя того кабака, о котором я сейчас говорю, знал года два. Никогда я не выпил у него ни одного стакана; даже когда я пришел просить у него денег, я

не истратил ни гроша на вино. И все же он ни разу не отказал мне. К сожалению, он переехал в другой город раньше, чем я разбогател. До сих пор жалею об этом.

Говорю все это вовсе не для того, чтобы прославлять кабатчиков. Нет, я это говорю, чтобы показать все могущество Ячменного Зерна, чтобы иллюстрировать на примере одну из множества причин, которые влекут человека к пьянству; кончается же это сближение тем, что в конце концов человек видит, что уже не может обходиться без алкоголя.

Но возвращаюсь к моему рассказу. Я был теперь далек от всяких приключений и с головой ушел в учение. Каждая секунда у меня была занята, и я совершенно забыл о том, что на свете существует Ячменное Зерно. Дело в том, что вокруг меня никто не пил. Окажись рядом любитель выпить и угости он меня, я, разумеется, снова начал бы пить. Но его не было, и я проводил свои немногие часы досуга или за шахматами, или же гулял с симпатичными девушками-студентками, или, наконец, катался на велосипеде в те редкие счастливые дни, когда он не находился в ломбарде.

Я все время подчеркиваю главное: у меня не было ни малейшего признака тяги к вину, характерной для алкоголиков, несмотря на продолжительную и суровую школу, которую я прошел под влиянием Джона Ячменное Зерно. Я порвал с прежней жизнью, и меня приводила в восторг идиллическая простота общения студентов и студенток. Кроме того, я проложил себе путь в царство мысли и был духовно опьянен. Как я скоро узнал, и после духовного опьянения бывает своего рода похмелье.

Глава XXII

Для прохождения курса средней школы требовалось три года. На это у меня не хватало терпения. К тому же я не мог продолжать учиться и из-за отсутствия денег. В любом случае я не мог выдержать трех лет; а между тем мне очень хотелось попасть в университет. Проучившись год в школе, я решил сократить время учебы. Заняв деньги, я поступил на старшее отделение подготовительных курсов, где натаскивали к приемным экзаменам в высшие учебные заведения. По тем условиям я должен был через четыре месяца быть готовым к поступлению в университет. Таким образом я сокращал себе период учения на целых два года.

Ну и зубрил же я! За треть года мне предстояло проделать работу, и притом для меня непривычную, целых двух лет. Я зубрил и зубрил в продолжение пяти недель, так что у меня под конец всякие квадратные уравнения и химические формулы прямо из ушей торчали. Но тут как-то раз вызвал меня директор курсов. К сожалению, он был вынужден вернуть мне плату за учение и попросить меня покинуть курсы. Дело заключалось вовсе не в моей успеваемости. Я учился хорошо; он был убежден, что поступи я в университет — у меня и там все пойдет отлично. Беда вся в том, что мое поступление сюда вызвало разные толки и пересуды. Как! За четыре месяца пройти два курса! Ведь это же невозможно. А тут еще в университетах начали очень строго относиться ко всяким подготовительным курсам. Может выйти скандал, а этого он вовсе не желал, и потому мне лучше всего добровольно уйти.

И я ушел. Я вернул взятую мною в долг сумму и засел, стиснув зубы, за зубрежку — один, без руководителя. До начала приемных экзаменов в университет оставалось еще три месяца. Не пользуясь никакими лабораториями, без учителей я, сидя у себя в спальне, пытался втиснуть и уложить в себя за какие-нибудь три месяца двухлетний курс, да и приходилось повторять пройденное в предыдущем году.

Я учился по девятнадцать часов в сутки. В течение трех месяцев я работал таким образом, давая себе отдых лишь в самых редких случаях. Переутомился я и физически, и умственно, но я все зубрил. У меня переутомились и начали болеть глаза, но, к счастью, не полностью отказались мне служить. Под конец я, может быть, даже и спятил немножко. Помню, я в то время был твердо убежден, что открыл формулу квадратуры круга, но благоразумно отложил проверку моего открытия до того времени, когда сдам экзамены. Вот тогда, думал я, уж покажу им!

Наконец подошло время экзаменов. Они продолжались несколько дней. Я почти не смыкал глаз: буквально каждую секунду я посвящал зубрежке или повторению пройденного. В результате, когда я сдал последний экзамен, оказалось, что мое переутомление достигло предела. Мне противно было смотреть на книги. Я не хотел ни о чем думать, не хотел даже видеть мыслящего человека.

При моем состоянии только одно могло мне помочь, и я сам назначил себе это лечение — мне нужно было побродить. Я даже не стал ожидать результатов экзаменов. Я попросил знакомого одолжить мне свою парусную лодку, положил туда сверток с одеялами, пакет с разной провизией, поднял парус и отчалил. Лодку подхватил ранний утренний прилив и вынес ее из Оклендской бухты. В заливе я попал в полосу течения и быстро помчался далее с помощью доброго ветерка. Залив Сан-Пабло курился, курился и пролив Каркинез у плавильни Селби; я высматривал один за другим и оставлял позади себя «опознавательные» пункты; Нельсон научил меня ориентироваться по ним, когда мы плавали с ним на «Северном Олене» — незабвенной шхуне, вечно ходившей под всеми парусами.

Впереди показался город Бенишия. Я промчался мимо входа в бухту Тернерской верфи, обогнул пристань Солано и поравнялся с рядом лодок; тут я увидел теснившиеся друг к другу баркасы рыбаков; я был опять в тех местах, где когда-то вел бурную жизнь, предаваясь пьянству.

И вот тут-то со мной случилось нечто — лишь много лет спустя я понял все значение этого события. Я вовсе не собирался останавливаться в Бенишии. Попутный ветер свистел и надувал паруса; для человека, привыкшего к морю, погода была прямо как на заказ. Впереди показались мысы Буллхед и Армипойнтс, заграждавшие вход в бухту Сьюисан, которая тоже курилась. И все же, не успел я заметить рыбачьи баркасы, как, не задумываясь, сразу же отпустил румпель, натянул шкоты и направил лодку к берегу. Вмиг в глубине моего переутомленного мозга что-то зашевелилось, и я понял, чего именно мне хотелось. Мне хотелось вина, мне хотелось напиться.

Желание это было неудержимое, вполне определенное, властное. Больше всего в мире мой заработавшийся, измученный мозг жаждал забвения. Это забвение нужно было искать в том, в чем я до сих пор всегда находил его. Вот в этом-то и вся суть дела. В первый раз за всю мою жизнь я сознательно, намеренно хотел напиться. Это было новое, совершенно неизвестное мне проявление силы Джона Ячменное Зерно. Желание это было не физическое: не тело мое, а усталый, переутомившийся мозг жаждал опьянения, жаждал забвения.

И вот теперь-то я подхожу в главному. Не пьянствуй я раньше, мысль напиться никогда не пришла бы мне в голову, даже несмотря на сильнейшее переутомление. Начав с физического отвращения к спиртным напиткам, много лет выпивая исключительно за компанию с товарищами и то только потому, что в моей бродячей жизни я на каждом шагу натыкался на Ячменное Зерно, я теперь достиг той стадии, когда мой мозг потребовал не только вина, но полного опьянения. Однако если бы я долго не приучал себя к спиртным напиткам, я не ощутил бы потребности в них. Я проплыл бы, не останавливаясь, мимо Буллхеда в белом паре, поднимавшемся с поверхности Сьюисанского залива, в опьянении ветром, свистевшим вокруг меня и надувавшим мой парус, я нашел бы забвение и отдых и освежил бы мою усталую голову.

Итак, я причалил к берегу, привязал лодку и начал поспешно пробираться между баркасами рыбаков. Чарли Ле Грант кинулся мне на шею. Лиззи, его жена, прижала меня к своей роскошной груди. Билл Мерфи, Джо Ллойд — все остатки старой гвардии — окружили и обнимали меня. Чарли схватил бидон и направился к трактиру Йоргенсона, находившемуся тут же, по другую сторону железнодорожного полотна. Бидон означал, что он идет за пивом. А мне хотелось виски, и я крикнул ему, чтобы он прихватил бутылку.

Много раз путешествовала эта бутылка через рельсы и обратно. К нам стали заглядывать еще другие старые друзья тех добрых старых времен: рыбаки — греки, русские, французы. Каждый угощал по очереди, а потом опять начинали сначала. Рыбаки приходили и уходили, а я все оставался и пил со всеми. Я упивался виски, я дул его стакан за стаканом. Я с жадностью глотал огненную жидкость, я наслаждался, когда почувствовал, что у меня зашумело в голове.

Пришел Ракушка, некогда, до меня, бывший компаньоном Нельсона, он был все так же красив, но стал еще бесшабашнее; он почти свихнулся от усиленного пьянства. У него только что произошла ссора с компаньоном шлюпа «Газель», причем были пущены в ход ножи и кулаки; теперь ему хотелось напиться и усилить лихорадочное возбуждение, в которое его приводило воспоминание о драке. Поглощая виски, мы с ним вспоминали про Нельсона, покоившегося вечным сном здесь же, в Бенишии; мы плакали, говоря о нем, вспоминали только хорошие его качества и снова и снова посылали за виски.

Все уговаривали меня остаться переночевать; но в открытую дверцу виднелись волны, вздымаемые сильным ветром, и свист его стоял у меня в ушах. И тут же, пока я старался забыть, как целых три месяца сидел за книгами по девятнадцать часов в сутки, Чарли Ле Грант перенес все мои вещи в большой баркас для ловли лососей. Он добавил к моему багажу мешок с углем, переносную печурку, жаровню, кофейник, сковородку, положил еще кофе и мяса и только что пойманного окуня.

Моим приятелям пришлось поддерживать меня, пока я переходил через шаткую пристань и садился в лодку. Они же закрепили мне шпринтом верхний угол паруса так, что он натянулся туго-туго, точно

деревянная доска. Несколько человек испугались и не хотели закреплять шпринтов, но я стал настаивать, и Чарли меня поддержал. Он-то во мне не сомневался, ведь он давно уже знал меня и знал, что если я еще в состоянии видеть, то, значит, и в состоянии управлять лодкой.

Время прилива уже кончилось. Отлив мощно гнал волны от берега, но с моря дул свирепый ветер и от встречи его с отливом на море господствовало сильное волнение. Сьюисанская бухта кипела и белела от барашков. Но рыбачьи баркасы волнения не боятся, а управлять я умел хорошо; я ставил нос наперерез волнам, взлетал на гребни, опускался и все время, не переставая, бормотал пьяным голосом и громко выражал свое презрение ко всем книгам и учению. Волны захлестывали за борт, наполняя лодку водой на целый фут; но я только смеялся, чувствуя, как у меня хлюпает под ногами, и, громко распевая, выражал свое презрение к ветру и океану. Я называл себя владыкой жизни, овладевшим разъяренными стихиями, а со мной вместе мчался и Джон Ячменное Зерно. Я то изрекал математические формулы, то излагал философские теории, сыпал математическими терминами, цитатами, то затягивал песни прежних дней — тех, когда я бросил консервную фабрику, чтобы сделаться устричным пиратом: «Черная Лу», «Быстрое облачко», «Громила из Бостона», «Сюда, ко мне, бродяги-игроки», «Если бы я была птичкой», «Шенандоа».

Несколько часов спустя, когда заход солнца зажег небо, я очутился там, где сливаются мутные воды рек Сакраменто и Сан-Хоакина. Тут я стрелой пролетел по гладкой поверхности замкнутой со всех сторон бухты, мимо Блек-Даймонда, вошел в устье Сан-Хоакина и добрался до Антиоха. К этому времени я уже успел несколько протрезветь и основательно проголодаться. Я причалил к берегу рядом с большим, нагруженным картофелем баркасом, оснастка которого показалась мне знакомой. И в самом деле, на нем я нашел друзей; они поджарили мне моего окуня в прованском масле и угостили отменным рагу из мяса, вкусно пахнувшим чесноком, и итальянским хлебом с толстой коркой, но без масла, и все это мы запили густым, крепким красным вином.

Моя лодка была полна воды, но я нашел койку и сухую постель в уютной каюте баркаса; там я и улегся и долго курил, беседуя с приятелями про старые дни, а над нами выл ветер в снастях, и туго натянутый канат стучал о мачту.

Глава XXIII

Целую неделю я плавал; после этого я вернулся домой, вполне готовый приняться за занятия в университете. После той попойки я всю неделю не пил. Чтобы не пить, мне приходилось избегать моих старых приятелей; ведь в той веселой, привольной жизни, к которой я опять вернулся, Джон Ячменное Зерно встречался на каждом шагу. Тогда, в первый день, меня потянуло к вину, но потом, в следующие дни, мне уже не хотелось пить: утомленный мозг отдохнул. Совесть тут не играла никакой роли. Я нисколько не жалел и не стыдился, что принял участие в оргии там, в Бенишии; я даже и не вспоминал о ней и с радостью вернулся к моим книгам и занятиям.

Лишь много лет спустя я вспомнил этот случай и оценил его по-настоящему. В то время, да и долго потом, я воспринимал это просто как веселую шутку. Но зато позднее, когда я снова узнал, что значит умственное перенапряжение, мне суждено было припомнить все и еще раз испытать мучительное желание забыться в вине.

Но, если не считать этого единственного случая в Бенишии, я продолжал вести абсолютно трезвый образ жизни. Я не пил, во-первых, потому, что мне этого не хотелось, во-вторых, я жил теперь, окруженный книгами и вращаясь в обществе студентов, где пьянствовать не было принято. Очутись я среди веселых бродяг, я, разумеется, сам стал бы напиваться. Ибо в этом-то и заключается вся беда, главный недостаток того пути, по которому следуют любители приключений: путь этот — царство Джона Ячменное Зерно.

Я закончил первый семестр первого курса и в январе 1897 года перешел на второй. Но недостаток средств, а кроме того, сознание, что университет не дает мне всего того, что мне нужно, и отнимает слишком много времени, — все это заставило меня оставить учебу. Особенно я не огорчался. Я учился два года и — что было еще ценнее — очень много читал. Кроме того, я научился правильно говорить. Правда, я еще делал ошибки, но уже не в письме, а лишь иногда в разговоре, когда из-за чего-нибудь волновался.

Я решил немедленно избрать себе карьеру. Меня очень интересовали четыре отрасли: во-первых, музыка; во-вторых — поэзия; в-третьих — мне хотелось писать на философские, политико-экономические и политические темы; наконец, в-четвертых — это меня, между прочим, привлекало меньше всего — я думал заняться беллетристикой. Но затем я решительно вычеркнул из списка музыку, зная, что из этого ничего не выйдет. Я засел у себя в комнате, где и принялся одновременно за все сразу. Боже мой, как горячо я принялся за дело! Я весь кипел жаждой творчества, я горел, как в лихорадке. Думаю, что другой на моем месте не выдержал бы. Удивляюсь, как у меня не случилось размягчение мозга от чрезмерной работы и меня не посадили в сумасшедший дом. Я писал, писал все что угодно — громоздкие трактаты, короткие рассказы научного и социологического характера, стихи всех родов, начиная с сонетов и триолетов и кончая трагедией, написанной белыми стихами, и слоноподобной эпической поэмой в духе Спенсера. Бывали случаи, что я сидел за столом по пятнадцати часов в сутки, изо дня в день, и писал не переставая. Порой я совсем забывал о еде или попросту отказывался идти обедать, чтобы не отрываться от бумаги, на которую набрасывал страстные излияния своей души.

А затем началась история с печатанием на машинке. У мужа сестры была пишущая машинка, на которой он работал днем. По ночам он разрешал мне ею пользоваться. Удивительная эта была штука. Я готов заплакать, вспоминая свою борьбу с ней. Это, вероятно, была модель первых лет эры пишущих машин: шрифт состоял из одних заглавных букв. В ней сидел какой-то злой дух. Она не подчинялась никаким законам физики и каждую секунду опровергала древнюю и почтенную аксиому, что одинаковые действия дают одинаковые результаты. Готов утверждать под присягой, что эта машина никогда не поступала одинаково два раза подряд. Снова и снова она доказывала, что совершенно разные действия

смогут дать одинаковые результаты.

Как у меня болела от нее спина! До этого моя спина выдерживала какое угодно напряжение, а при моей прежней, не отличавшейся особенной изнеженностью жизни на нее подчас взваливалось очень и очень много. Но эта машинка доказала мне, что у меня не спина, а какая-то слабая былинка. Я усомнился даже в силе моих плеч. После каждой схватки с машинкой они ныли, точно от ревматизма. По клавишам приходилось ударять с такой силой, что человек, находившийся за стеной, принимал этот звук за гром или воображал, что кто-то ломает мебель. Приходилось ударять так сильно, что у меня боль от указательного пальца разливалась вплоть до самого локтя, а на кончиках пальцев вскакивали волдыри, которые лопались и затем появлялись снова.

Хуже всего было то, что я не только учился писать на машинке, но одновременно и переписывал свои рукописи. Чтобы написать какую-нибудь тысячу слов, я должен был совершить подвиг, продемонстрировав физическую выносливость и выдержав сильнейшее умственное напряжение; а между тем я каждый день сочинял много слов, и их нужно было напечатать и отослать издателям.

Эта жизнь — писание днем, печатание по ночам — чуть не уморила меня: переутомление мозга, нервное переутомление, да еще вдобавок и физическое, тем не менее, ни разу не привели меня к мысли напиться. Я парил слишком высоко, чтобы нуждаться в каком-нибудь дурмане. Все время, пока я не спал, я проводил — за исключением, разумеется, часов, когда сидел за машинкой, — в каком-то блаженном состоянии творчества. Кроме того, меня не тянуло к стакану еще и по другой причине: ведь я еще верил во многое — в настоящую любовь мужчин и женщин, в родительскую любовь, в людскую справедливость, в искусство — одним словом, во все те наивные представления, на преклонении перед которыми основана вся наша жизнь.

Однако ждавшие моих произведений издатели предпочитали продолжать ожидание. Мои рукописи проделывали невероятное количество миль, колеся между Тихим и Атлантическим океанами. Быть может, именно необычный вид напечатанных на дикой машине строчек и мешал издателям принять хоть один какой-нибудь пустячок от меня. Я продал букинистам все мои с таким трудом приобретенные учебники за бесценок. Я занимал деньги небольшими суммами, где только мог, и позволял моему старику-отцу, работавшему из последних, быстро угасавших сил, кормить меня.

Все это продолжалось недолго, всего лишь несколько недель. Затем мне пришлось сдаться и поступить на работу. Между тем я не ощущал потребности залить горе вином. Особого разочарования я не испытывал. Дело откладывалось — вот и все. Быть может, у меня и в самом деле недостаточная подготовка. Я успел уже многому научиться из книг и сознавал, что я только коснулся источника знаний. Но я все еще витал в облаках. Все время, пока я не спал, а также и большую часть тех часов, которые бы следовало посвятить сну, я отдавал книгам.

Глава XXIV

Мне наконец удалось найти работу за городом в маленькой, превосходно налаженной паровой прачечной при Бельмонтской школе. Мы с еще одним парнем исполняли всю работу — от сортировки и стирки до глажения крахмальных рубах, воротничков и манжет и плойки кружевного белья профессорских жен. Мы работали, выбиваясь из сил, особенно когда с наступлением лета ученики школы стали носить полотняные брюки. Чтобы выутюжить как следует пару таких брюк, нужно затратить уйму времени. А этих пар было огромное множество. В течение бесконечных недель мы обливались потом над своей работой, которой, казалось, никогда не будет конца. Как часто по ночам, пока ученики храпели в своих постелях, мы с товарищем трудились при электричестве у парового катка или гладильной доски.

Часы тянулись бесконечно, и работа казалась тяжелой, несмотря на то что мы были уже настоящими профессионалами и не тратили лишней энергии на бесполезное движение. Я получал 30 долларов в месяц на хозяйских харчах — немного больше, чем на электрической станции и на консервной фабрике. Разница была только в еде, которая почти ничего не стоила моему хозяину (мы ели в кухне), но помогала мне сэкономить 20 долларов в месяц. Таким образом, оценка моей окрепшей с годами силы, ловкости и всех знаний, почерпнутых мною из книг, выражалась в этой прибавке в 20 долларов. Судя по темпам, которыми подвигалась моя «карьера», я мог рассчитывать на то, чтобы сделаться к концу жизни ночным сторожем за 50 долларов в месяц, а не то, пожалуй, и полисменом с жалованьем в 100 долларов плюс какие-нибудь побочные доходы.

Мы с товарищем так усердно отдавались своей работе в течение недели, что к субботе превращались в настоящие развалины. Я снова почувствовал себя в давно знакомом состоянии рабочей скотины; я работал больше ломовой лошади, и мысли, заполнявшие в это время мой мозг, едва ли многим отличались от мыслей лошади. Я привез с собой в прачечную целый ящик книг, но вскоре убедился, что совершенно не способен прочесть ни одной из них. Я засыпал, как только принимался за чтение, а если мне и удавалось на протяжении нескольких страниц сохранить глаза открытыми, то содержание все же бесследно ускользало от меня. Я отказался от занятий такими трудными предметами, как право, политическая экономия и биология, и попробовал углубиться в более легкие, вроде истории. Но я все равно засыпал. То же повторилось и с беллетристикой. Когда же я убедился, что засыпаю даже над захватывающими романами, я бросил борьбу. За все время, которое я провел в прачечной, мне так и не удалось прочесть ни одной книги.

Когда в субботу вечером мы прекращали работу до утра понедельника, я, кроме желания спать, чувствовал еще только одно желание — выпить. Второй раз в жизни я слышал настойчивый зов Ячменного Зерна! В первый раз это было вызвано умственным переутомлением, но теперь мой мозг не был переутомлен, напротив — он находился в состоянии полного отупения. В этом и заключалась беда. Мой мозг, оживленный видом нового мира, который открыли ему книги, жадно требовал себе пищи и жестоко страдал от вынужденного застоя и бездействия.

И я, старый, задушевный друг Джона Ячменное Зерно, знал, что он даст мне взлет фантазии, грезы о могуществе, все, что поможет мне забыть кружение стиральных машин, вращение катков, жужжание центробежных выжималок, крахмальные сорочки и бесконечные полотняные брюки, которые морщатся под моим летающим утюгом. Вот в чем сила Ячменного Зерна: он находит путь к вашим слабостям, недостаткам, усталости и истощению. Он предлагает вам легкий исход — и лжет, лжет от начала до конца. Телу он даст ложную силу, духу — ложный подъем, а все окружающее заставляет казаться несравненно лучше, чем оно есть на самом деле.

Но не нужно забывать, что Ячменное Зерно принимает различные образы. Он не всегда обращается к слабости и усталости, иногда он взывает к избытку сил, чрезмерному возбуждению и скуке от бездействия. Он может подхватить под руку любого человека в любом настроении. Он способен опутать всех людей своей сетью. Он меняет старые светильники на новые, лохмотья действительности на блестки иллюзии — и в результате обманывает всякого, кто связывается с ним.

Однако я так и не добрался до вина — по той простой причине, что ближайший кабак находился за полторы мили от нашей прачечной. Но это доказывает только, что голос Ячменного Зерна не слишком громко раздавался в моих ушах. Будь он посильнее, я не остановился бы перед расстоянием и в десять раз большим, чтобы раздобыть вина. А с другой стороны, будь кабак за углом, я непременно напился бы. Но при сложившихся обстоятельствах я проводил свой единственный день отдыха лежа в тени под деревом с воскресными газетами, и усталость моя была так велика, что даже их поверхностная пена оказывалась мне не под силу. Юмористическое приложение вызывало бледную улыбку на моем лице, и вслед за тем я неизменно засыпал.

Хотя я так и не подчинился Ячменному Зерну, пока работал в прачечной, все же он оказал на меня известное влияние. Я услышал его зов, почувствовал беспокойное желание, тоску по наркотику. И это подготовило во мне почву для более сильного влечения в последующие годы.

Главная особенность этого влечения заключалась в том, что оно развивалось исключительно в моем мозгу. Мой организм не требовал алкоголя, а скорее, наоборот, питал к нему отвращение. Работая на электростанции, я сильно уставал и у меня никогда не возникало желания выпить. Но когда, выдержав вступительные экзамены в университет, я почувствовал переутомление от умственного труда, то сразу же напился. В прачечной я опять-таки уставал физически, но не так сильно, как во время работы на станции. Но разница заключалась в том, что тогда мой ум еще дремал. Между тем временем и работой в прачечной передо мной открылось царство разума. Когда я возил на тачке уголь, мой ум спал; когда же я работал в прачечной, мой ум, жаждущий деятельности, терпел непосильные муки.

И не имело значения, поддавался ли я чарам Ячменного Зерна, как в Бенишии, или обуздывал себя, как в прачечной, семена влечения к нему давали свои ростки.

Глава XXV

После прачечной сестра с мужем снарядили меня в Клондайк. Эта была первая тяга в эту страну за золотом, начавшаяся осенью 1897 года. Мне был 21 год. Физически я чувствовал себя прекрасно. Помню, как в конце двадцативосьмимильного перехода с грузом через Чилкутский перевал, от берега Дайи к озеру Линдерман, я не только не отставал от индейцев, но даже не раз перегонял их. Переход от последней стоянки до озера составлял три мили. Я проделывал этот путь по четыре раза в день туда и обратно и каждый раз, направляясь к озеру, переносил на себе сто пятьдесят фунтов поклажи. Иначе говоря, я проделывал по ужаснейшей дороге двадцать четыре мили, из них двенадцать под тяжестью сто пятьдесят фунтов.

Да, я послал карьеру к черту и снова ступил на путь приключений, мечтая разбогатеть. И, конечно, на этом пути я встретил Ячменное Зерно. На этой дороге, как всегда, толпились мужественные рыцари, романтики, бродяги и искатели приключений, которые легко переносили голод, но не могли обойтись без виски. Виски шло с ними рядом, тогда как мука лежала нетронутая у края дороги, в ямах для хранения припасов.

По счастью, трое из нашей четверки не пили. Поэтому я выпивал довольно редко, лишь тогда, когда попадал в пьющую компанию. У меня среди припасов была и кварта виски, но я так и не откупорил ее во время пути. Лишь шесть месяцев спустя, когда мы стояли в уединенном лагере, я откупорил ее для доктора, которому нужно было оперировать больного без анестезии. Доктор и пациент осушили сообща мою бутылку, после чего началась операция.

Через год я вернулся в Калифорнию, чтобы оправиться от цинги, и узнал, что умер мой отец и что я, таким образом, остался главным и единственным кормильцем семьи. Если я скажу вам, что от Берингова моря до Британской Колумбии я ехал на пароходе кочегаром, а оттуда в Сан-Франциско палубным пассажиром, вы поймете, что я не привез с собой из Клондайка ничего, кроме цинги.

Времена были тяжелые. Трудно было найти какую-нибудь случайную работу. Я только и мог рассчитывать на что-либо подобное, ибо все еще не имел никакой специальности. Я не думал о карьере. С этим было покончено раз навсегда. Теперь на мне лежала забота о том, чтобы раздобыть пропитание для двух ртов, кроме своего, и сохранить кров над нашими головами. Да к тому же нужно было приобрести еще и зимнюю одежду, ибо моя годилась лишь для лета. Совершенно необходимо было немедленно найти какую-нибудь работу. Потом бы, немного передохнув, я мог бы, пожалуй, подумать и о будущем.

В тяжелые времена безработица прежде всего отражается на неквалифицированных рабочих. Я же ничего не умел, кроме прачечного и морского дела. Ответственность перед семьей мешала мне отправиться в море, а найти работу в прачечной не удавалось. Так я и сидел без работы. Я стал на учет в пяти конторах по найму. Я дал объявление в трех газетах и обошел всех своих немногочисленных знакомых, которые могли бы помочь мне найти работу. Но они или не могли, или не хотели сделать это.

Положение стало отчаянным. Я заложил часы, велосипед и макинтош, завещанный мне отцом, который очень им гордился. Этот макинтош был и остался единственным наследством, полученным мной за всю жизнь. Новый он стоил пятнадцать долларов, но оценщик дал за него всего два. Раз как-то ко мне явился один из моих бывших дружков по морской службе и притащил с собой костюм, завернутый в газетную бумагу. Он не мог толком объяснить мне, откуда у него этот костюм, но я и не настаивал на подробностях. Я сам хотел взять этот костюм, но совсем не для того, чтобы носить. Я отдал за него товарищу кучу старья, которое не брали в заклад и поэтому бесполезное для меня. Он распродал его по мелочам, выручив за него несколько долларов, а я заложил костюм за пять долларов ростовщику, и,

насколько мне известно, он до сих пор там находится. Я никогда и не собирался выкупать его.

Однако я так и не находил себе работы, хотя несомненно должен был представлять собой ценность на рынке труда. Мне было двадцать два года, весил я сто шестьдесят пять фунтов без одежды, и каждый фунт мой был вполне годен для работы. Последние следы цинги исчезли благодаря лечению сырым картофелем. Не было места, в которое бы я не сунулся в поисках работы. Я пробовал стать натурщиком в мастерской живописи, но хорошо сложенных безработных парней оказалось чересчур много, и я не выдержал конкурса. Я отзывался на объявления престарелых инвалидов, искавших себе компаньонов, и стал было агентом по распространению швейных машин на комиссионных началах, без жалованья. Но бедняки не покупают швейных машин в тяжелые времена, так что пришлось отказаться от этой работы.

Конечно, наряду с такими легкомысленными затеями, я искал работу портового грузчика или хоть кого-нибудь, но зима надвигалась, и рабочая армия города с каждым днем росла благодаря притоку новых сил из деревни. Кроме того, я, который бесконечно блуждал по всем странам мира и царству разума, не был членом ни одного профсоюза.

Я брался за все, что подворачивалось, работал поденно и по часам, косил лужайки, подрезал изгороди, выбивал ковры. Я даже подготовился к экзамену для поступления на гражданскую службу в почтовое ведомство и сдал его лучше всех. Но, увы, вакансий не было, и мне опять нужно было ждать. В поисках места я занимался всем подряд, между прочим попробовал заработать десять долларов, описав путешествие, которое я совершил в открытой лодке вниз по Юкону, проделав 1900 миль за девятнадцать дней. Я понятия не имел о газетной работе, но твердо верил, что мне заплатят за мой рассказ.

Однако я так ничего и не получил. Самая большая газета Сан-Франциско, в которую я переслал по почте свою рукопись, не давала мне никакого ответа, но и не возвращала рассказа. Чем дольше она держала его, тем больше во мне крепла уверенность, что он принят.

Странно! Некоторые как бы рождаются счастливчиками, а на других счастье сваливается с неба. Меня же судьба подгоняла к счастью дубиной, и этой дубиной размахивала горькая необходимость.

Я давно уже отказался от мысли стать писателем и, принимаясь за рассказ, искренне стремился только к тому, чтобы заработать десять долларов. Это был предел моих желаний, ибо десять долларов помогли бы мне продержаться до тех пор, пока я получу постоянную работу. Если бы в то время открылась вакансия в почтовом ведомстве, какая бы это была для меня радость!

Но вакансия не открывалась, и постоянная работа не наклевывалась. Я продолжал заниматься чем попало и в то же время писал повесть для журнала «Друг молодежи». Я обработал и переписал ее на машинке за 7 дней. Мне кажется, из-за такой спешки мне и вернули ее.

Пока моя повесть путешествовала взад и вперед, я попробовал написать несколько маленьких рассказов. Один из них я продал за пять долларов «Ежемесячнику», а за другой «Черный кот» уплатил мне целых сорок долларов. «Ежемесячник» предложил мне по семь долларов пятьдесят центов за любой рассказ — уплата по напечатании. Я выкупил велосипед, часы и отцовский макинтош и взял напрокат пишущую машинку. Кроме того, я заплатил долги в нескольких лавках, открывших мне небольшой кредит. Один лавочник-португалец, помню, никогда не позволял моим счетам подниматься выше четырех долларов, а Гопкинса, другого торговца, ни за что нельзя было заставить перешагнуть через пять долларов.

Но тут-то как раз я получил из почтового ведомства приглашение явиться на службу. Оно поставило меня в чрезвычайно затруднительное положение. Шестьдесят пять долларов жалованья — постоянный ежемесячный заработок — были для меня почти непреодолимым искушением. Я не знал, на что решиться. И, кажется, никогда не смогу простить начальнику почтовой конторы Окленда его отношения ко мне. Я явился на приглашение и попробовал обратиться к нему как человек к человеку. Я откровенно объяснил

ему свое положение.

— Выходит, — сказал я ему, — будто я могу зарабатывать литературным трудом. Дело хорошее, но не совсем верное.

Я попросил его пропустить в этот раз мою очередь, взяв на мое место следующего по списку кандидата, а когда откроется новая вакансия, сообщить мне…

Но он резко оборвал меня:

— Значит, вы не хотите занять это место?

— Напротив, хочу, — возразил я, — видите ли, если вы пропустите меня на этот раз…

— Если хотите получить это место, то поступайте сейчас, — холодно заявил он.

К счастью, холодная жестокость этого человека разозлила меня.

— Прекрасно, — сказал я, — я отказываюсь от места.

Глава XXVI

Таким образом я сжег свои корабли и погрузился в писательство. Боюсь, что я всегда был склонен к крайностям. Так и тут: с раннего утра до поздней ночи я не отрывался от своей работы, писал, переписывал на машинке, изучал теорию словесности и знакомился с жизнью известных писателей, чтобы узнать, каким путем они добились успеха. Из двадцати четырех часов я тратил на сон не больше пяти и работал остальные девятнадцать часов почти без передышки. Свет в моей комнате горел обычно до двух-трех часов утра, и это обстоятельство навело даже одну мою добродушную и немного романтически настроенную соседку на выводы в духе Шерлока Холмса. Никогда не встречая меня в течение дня, она заключила, что я картежник и что лампу в окне ставит моя мать, чтобы ее гуляка-сын находил по ночам дорогу домой.

Главная трудность для начинающих писателей заключается в долгих периодах безденежья, когда издательские чеки перестают приходить, а все, что может быть заложено, уже давным-давно в ломбарде. Я довольно благополучно проходил зиму в своем летнем костюме, но зато, когда снова наступило лето и все денежные люди — издатели и редакторы — разъехались на отдых, а рукописи мирно почивали в конторах издательств до окончания каникул, я испытал самый долгий и тяжелый период нужды.

Тяжесть моего положения обострялась еще тем, что мне не с кем было посоветоваться. У меня не было ни одной знакомой души среди писателей или людей, когда-либо пробовавших писать. Я даже не знал ни одного репортера. Кроме того, я скоро обнаружил, что для успешной работы на новом поприще мне нужно забыть все, чему преподаватели и профессора литературы учили нас в высшей школе и в университете. Тогда это очень возмущало меня, но теперь мне все стало понятно. Профессора и преподаватели не могли предугадать в 1895 и 1896 году тех требований, которые будут предъявляться писателям через пять лет. Они были прекрасно осведомлены относительно всего, что касалось классиков, но американским издателям 1899 года все это было совершенно не нужно. Они желали чего-нибудь в современном духе и предлагали за это такие большие деньги, что преподаватели и профессора словесности несомненно распрощались бы со своей работой, если бы могли поставлять подобный материал.

Итак, я бился, уламывал мясника и лавочника, снова заложил часы, велосипед и отцовский макинтош и работал — работал без передышки, уделяя сну лишь короткие промежутки времени между занятиями. Многие критики упрекали меня в том, что один из моих литературных героев, Мартин Иден, слишком быстро стал образованным человеком. За три года я превратил его из простого матроса в известного писателя. Критики говорят, что это невозможно. Однако Мартин Иден — это я сам. К концу трех лет напряженной работы, — из которых два пошли на среднюю школу и университет, один — на литературную работу, а все три были заполнены самыми интенсивными занятиями, — я печатал уже рассказы в таких журналах, как «Атлантический ежемесячник», правил корректуры своей первой книги, помещал статьи по социологии в «Космополитен» и «Мак-Клюре», отклонил сделанное мне по телеграфу из Нью-Йорка предложение стать соредактором журнала и готовился жениться.

Теперь я хочу остановиться на этой тяжелой подготовительной работе, особенно на последнем ее годе, когда я изучал свое писательское ремесло. И в этом году, отдавая мало времени сну и напрягая свой мозг до последних пределов, я не пил и не чувствовал к выпивке ни малейшей тяги. Алкоголь просто не существовал для меня. По временам я страдал от сильного перенапряжения мозга, но алкоголь никогда не представлялся мне лекарством, которое принесло бы желанное облегчение. Небеса! Чеки издателей и извещение о том, что вещь моя одобрена, — вот единственное лекарство, которого я жаждал. Тонкие конверты от издателя среди утренней почты возбуждали меня больше, чем полдюжины коктейлей. А если

в конверте к тому же еще появлялся чек на приличную сумму, то подобное событие просто опьяняло меня.

В этот период своей жизни я вообще не имел представления о том, что такое коктейль. Когда вышла моя первая книга, несколько друзей по Аляске, членов Богемского клуба в Сан-Франциско, устроили в мою честь обед в клубе. После обеда мы погрузились в чудеснейшие кожаные кресла и начали заказывать напитки. Мне никогда не приходилось слышать до тех пор такого перечня вин и водок. Я не знал, что это за штука ликер, и не понимал, что «шотландка» значит попросту виски. Мне были знакомы только напитки, доступные беднякам, распиваемые в кабачках пограничных и портовых городов, — дешевое пиво и самое дешевое виски, которое называется просто виски, а не как-нибудь иначе. Я был в полном смущении, не зная, на чем остановиться, и лакей чуть не упал в обморок, когда я приказал подать себе в виде послеобеденного напитка красное вино.

Глава XXVII

По мере того как росли мои успехи на литературном поприще, условия моей жизни улучшались и горизонт расширялся. Я заставлял себя обязательно писать и перепечатывать на машинке тысячу слов в день, не исключая воскресений и праздников. Кроме того, я по-прежнему продолжал усиленно заниматься, хотя и не так напряженно, как прежде. Теперь я разрешал себе спать пять с половиной часов в сутки, — я прибавил еще полчаса. Материальный успех давал мне возможность уделять больше времени физическим упражнениям. Я стал больше кататься на велосипеде, главным образом потому, что он уже не находился постоянно в ломбарде. Я боксировал, фехтовал, ходил на руках, занимался прыжками в высоту и длину, стрелял в цель, метал диск и плавал. И я убедился, что физическая работа требует больше сна, чем умственная. Были ночи, когда физическое утомление заставляло меня проспать шесть часов, а иногда, в случае особенно сильной усталости, и все семь. Однако подобным оргиям сна я предавался не часто. Мне нужно было еще столько узнать, так много сделать, что, проспав семь часов, я начинал злиться на себя и неизменно от всего сердца благословлял человека, изобретшего будильник.

При этом я, как и прежде, не чувствовал никакого влечения к алкоголю. Во мне было еще слишком много чудесной веры, я жил в слишком приподнятом настроении. Я был социалистом, стремился избавить человечество от всех зол, и алкоголь не мог вызвать и тени того восторженного подъема, который давали мне мои идеалы. Мой голос, подкрепленный литературными успехами, казалось, приобрел еще больше веса. По крайней мере, писательская слава собирала мне более многочисленную аудиторию, чем моя репутация оратора. Я стал получать приглашения от клубов и всевозможных организаций с просьбой публично изложить свои идеи. Я боролся за правое дело, продолжал учиться и писать, и вся эта работа целиком поглощала меня.

До этого времени у меня был лишь очень ограниченный круг знакомых, но теперь я стал понемногу бывать в обществе. Меня часто приглашали в гости, особенно на обеды, где я знакомился с множеством людей, материально более обеспеченных, чем я. И многие из них пили. Они пили не только в гостях, но также у себя дома и угощали меня, когда я приходил к ним. Ни одного из них при этом нельзя было бы назвать алкоголиком: они пили умеренно, и я следовал их примеру как их гость и приятель. Я не стремился пить, не испытывал к вину никакого влечения.

Теперь у меня был свой дом. Когда человека приглашают в гости, он, естественно, должен принимать и у себя. Это один из признаков моего улучшившегося благосостояния. Поскольку в гостях меня всегда угощали вином, то мне не оставалось ничего другого, как угощать своих друзей тем же. Поэтому я завел у себя запас пива, виски и красного вина, который с того времени уже не переводился в моем доме.

И тем не менее, в течение всего этого периода я не испытывал ни малейшего влечения к алкоголю. Я пил, когда пили другие, за компанию, и так как мне было безразлично, что пить, я подражал другим. Если все пили виски, пил виски и я; если все пили пиво, я тоже пил пиво. А когда в доме не было гостей, я не брал в рот ничего хмельного. В моем кабинете всегда стоял графин виски, но я месяцами, а то и годами не испытывал желания выпить в одиночестве.

Обедая в гостях, я с удовольствием ловил ласковый, приветливый блеск предобеденного коктейля, он казался мне очень приятным и заманчивым. Однако высокое напряжение жизненной энергии и душевный подъем, не покидавший меня, давали мне возможность прекрасно обходиться и без него, так что у себя дома, когда садился за стол один, никогда не считал нужным выпить перед обедом коктейль.

С другой стороны, я помню одного очень интересного человека, постарше меня, который часто заходил ко мне побеседовать. Он любил виски, и мы часто, бывало, просиживали с ним целые дни,

опрокидывая рюмку за рюмкой, пока оба не начинали чувствовать на себе действие алкоголя. Но почему же я делал это? Не знаю, должно быть, под влиянием старой привычки и по примеру прежних дней и ночей, когда я подростком сидел со стаканом в руке среди пьющих.

Кроме того, я больше не боялся Ячменного Зерна. Я находился в той чрезвычайно опасной стадии сближения с ним, когда человек склонен считать себя его господином. Это убеждение находило себе подтверждение в том, что я сумел отказаться от вина в долгие годы труда и учения. Я мог по желанию пить или отказываться, или пить не напиваясь, а главное — я ясно сознавал, что не чувствую склонности к вину. В этот период я пил исключительно по той же причине, по которой напился в свое время с гарпунщиком Скотти и устричными пиратами. Так поступали мужчины, перед которыми я тоже желал показать себя мужчиной. Все эти блестящие люди — искатели приключений в области интеллекта — пили. Прекрасно. Почему же мне не пить вместе с ними? Ведь я был так уверен, что мне нечего опасаться алкоголя.

Так продолжалось несколько лет. Иногда я порядком выпивал, но такие случаи были редки. Они нарушали мою работу, а я этого не хотел. Я помню, как провел несколько месяцев в Лондонском Ист-Энде, работая над своей книгой. Мне приходилось большей частью вращаться там среди худших подонков низших классов, причем я несколько раз напивался и очень злился на себя за это, ибо алкоголь нарушал ход моей работы. Однако и тут я поддался хмелю лишь потому, что, вступив на путь приключений, не мог избежать встречи с ним.

Бывали и такие случаи, когда я, полагаясь на свое долгое знакомство и близость с Ячменным Зерном, принимал участие в пьяных состязаниях с другими мужчинами. Конечно, это случалось лишь на пути приключений в различных частях земного шара и вызывалось только моим самолюбием. Какие странные формы принимает иногда самолюбие — оно заставляет человека пить лишь для того, чтобы показать другим, какая у него крепкая голова. Однако это странное самолюбие существует не только в теории, оно — непреложный факт.

Как-то раз, например, кучка молодых революционеров пригласила меня в качестве почетного гостя на «кружку пива». Это единственная заправская попойка, на которой я вообще когда-либо присутствовал. Принимая приглашение, я не понял истинной сути дела. Я воображал, что услышу пылкие и возбужденные речи, хотя некоторые при этом, пожалуй, и выпьют лишнего. Однако оказалось, что такие пирушки являются любимым развлечением пылких юношей, которые разгоняют будничную тоску, спаивая таким образом уважаемых людей. Как я узнал потом, в прошлый раз у них присутствовал также почетный гость — талантливый молодой радикал, не искушенный в пьянстве, и они напоили его до положения риз.

Очутившись среди них, я понял, в чем дело, и почувствовал, как нелепая мужская гордость закипает во мне. Уж и покажу я этим молокососам! Увидят, небось, кто из нас выносливее и крепче, у кого сильнее воля и характер, желудок и голова, кто способен дойти до свинского состояния и не подать виду. И этакие желторотые птенцы воображают перепить меня!

Это, видите ли, было испытание на выносливость, а ни один мужчина не согласится признать себя слабее других. Тьфу — пиво! Я успел за это время привыкнуть к более дорогим напиткам и уже много лет не прикасался к пиву. Но в свое время я распивал его с настоящими мужчинами и поэтому был уверен, что сумею показать кое-что этим щенкам. Попойка началась, причем мне пришлось состязаться с наиболее сильными из них. Некоторым участникам разрешалось выходить из состязания, но только не почетному гостю.

И все суровые ночи, проведенные мною без сна, все книги, которые я прочел, вся мудрость, которую я впитал в себя, — все померкло, отступило перед обезьяной и тигром, поднявшимися во мне из пропасти моего атавизма и разжигавшими в душе похотливое желание превзойти других скотов.

Когда пирушка кончилась, я все еще держался на ногах, ходил прямо и не шатался, чего никак нельзя было сказать о ком-либо из моих хозяев. Я вспоминаю, как один из них, остановившись на углу улицы, обливаясь с досады слезами, жаловался на то, что я трезв. Он и представить себе не мог, ценой какого железного усилия (возможного лишь благодаря долгой тренировке) я удерживал сознание в своем плавающем мозгу, сохранял власть над мускулами и речью, не позволял своему голосу ломаться и ослабевать и продолжал последовательно и логично мыслить. При этом я ухитрялся еще посмеиваться над ними. Не я вышел дураком из этого состязания. Я гордился своей победой. Черт побери, я и сейчас еще горжусь ею! Так уж странно устроен человек.

Но на следующее утро я не написал положенной тысячи слов. Я чувствовал себя больным, отравленным и весь день не находил себе места. Мне предстояло прочесть публичную лекцию, я прочел ее и уверен, что она была не лучше моего самочувствия. Некоторые из моих вчерашних хозяев явились на лекцию и уселись в передних рядах, очевидно, с целью подметить во мне следы прошедшей ночи. Не знаю, что удалось заметить им, но я по некоторым признакам убедился, что они чувствуют себя не лучше моего, и нашел в этом известное утешение.

— Никогда больше! — клялся я.

И действительно, с тех пор никому не удавалось вовлечь меня в подобное состязание. Это было последнее, в котором я принимал участие. О, мне приходилось пить и после этого, но я пил благоразумнее, умереннее, без всякого соревнования. Вот таким-то образом опытные пьяницы приобретают еще больше опыта.

Приведу еще один пример, подтверждающий, что в этот период своей жизни я пил только ради компании. Я плыл через Атлантический океан на «Титанике». С самого начала путешествия я подружился с одним англичанином, специалистом по проводке кабелей, и молодым испанцем, членом какой-то пароходной фирмы. Они пили только «лошадиную шею» — безалкогольный сладкий холодный напиток с яблочной или апельсинной коркой, который подавался в высоких бокалах. И в течение всего пути я пил только «лошадиную шею». С другой стороны, если бы оказалось, что мои товарищи предпочитают виски, я стал бы пить с ними виски. Не следует заключать из этого, что я был слабохарактерным человеком. Просто мне было безразлично, что пить, никаких соображений нравственного характера в этом отношении у меня не было. Молодость делала меня сильным, я не испытывал никакого страха перед Ячменным Зерном и считал, что легко могу отказаться от него, как только захочу.

Глава XXVIII

Я не был еще готов к тому, чтобы принять дружбу Ячменного Зерна. Чем старше я становился, тем больше рос мой успех, выше становились заработки и мир все шире и заманчивее раскрывался передо мной. Ячменное Зерно начинал играть все большую роль в моей жизни. Но наше общение ограничивалось пока лишь шапочным знакомством. Я пил только для того, чтобы поддержать компанию, а в одиночестве никогда не прикасался к спиртным напиткам. Иногда я напивался, но считал подобные опьянения лишь данью, к тому же довольно легкой, которую я был обязан платить обществу.

В то время я был еще настолько далек от Ячменного Зерна, что даже в периоды отчаяния, иногда овладевавшего мной, не обращался к нему за помощью. У меня бывали тогда большие неприятности, житейские и сердечные, которые сами по себе не имеют отношения к этому рассказу, но в связи с ними я переживал душевные бури, непосредственно связанные с историей моих отношений с Ячменным Зерном.

Мое положение было не совсем обычным. Я слишком горячо отдавался позитивистской науке и слишком долго был позитивистом. В пылу юности я допустил обычную ошибку: принялся чересчур ретиво искать правду. Я сорвал с нее все покровы и в ужасе отступил перед ее страшным ликом. Все это кончилось тем, что я потерял свою прекрасную веру почти во все, кроме человечества, вернее — той части его, которая действительно одарена необычайной силой.

Такие длительные припадки пессимизма слишком хорошо знакомы большинству людей, чтобы о них стоило распространяться. Достаточно сказать, что я переносил свою болезнь очень тяжело. Я думал о самоубийстве с хладнокровием греческого философа и жалел лишь о том, что столько близких зависят от меня, нуждаясь в пище и крове, которые я им обеспечивал. Однако это были всего лишь нравственные соображения. Спасла же меня единственная уцелевшая вера — вера в народ.

Все то, ради чего я просиживал бессонные ночи и за что боролся, изменило мне. Успех — я презирал его. Слава — это был остывший пепел. Общество — мужчины и женщины, стоящие над отребьями порта и бака, — оказалось потрясающе убогим в умственном отношении. Женская любовь стоила не больше всего остального. Деньги — но ведь я же не мог спать больше чем в одной постели. А зачем мне доход, превышающий стоимость ста бифштексов в день, если я мог съесть всего-навсего один? Искусство, культура — перед лицом железных фактов биологии они казались мне смешными, а их служители еще того потешнее.

Все это говорит о том, как сильно я был болен. Я — прирожденный боец, и все, за что я бился до тех пор, оказалось вдруг пустым бредом. Оставался *народ*. Борьба моя была кончена, но я все же видел перед собой еще одно знамя, за которое стоило ринуться в бой, — *народ*!

Но пока я, дойдя до предела мучений, опустившись на дно отчаяния, блуждал в долине мрака, нащупывая последнюю нить, способную привязать меня к жизни, я оставался глух к призывам Ячменного Зерна. В моем сознании ни разу не мелькнула мысль о том, что алкоголь принесет мне облегчение, что он своей ложью даст мне силы жить. Я видел перед собой только один выход — револьвер, вечный мрак, в который погрузит меня пуля. В доме у меня хранилось сколько угодно виски для гостей. Я ни разу не прикоснулся к вину. Я боялся своего револьвера, особенно в тот период, когда мое сознание и воля мучительно вынашивали в себе лучезарный образ народа. В то время я испытывал такое непреодолимое желание умереть, что боялся, как бы не покончить с собой во сне. Я отдал друзьям свой револьвер и попросил их запрятать его так, чтобы, подчиняясь бессознательному влечению, я не нашел бы его.

Но *народ* спас меня. *Народ* снова приковал меня к жизни. Оставалось еще нечто, достойное борьбы, стоившее ее. Я отбросил всякое благоразумие и с еще большим пылом ринулся в бой за социализм. Я

смеялся над предостережениями издателей, источников моих ста бифштексов в день, и проявлял жестокое равнодушие к чувствам инакомыслящих — тех, кого оскорблял, и как грубо оскорблял в пылу сражения! Более умеренные радикалы обвиняли меня в том, что я своей отчаянной и губительной страстностью, своей крайней революционностью задержал развитие социалистического движения в Соединенных Штатах на пять лет. Между прочим, я позволю себе заметить теперь, после стольких лет, что, по моему глубокому убеждению, я ускорил развитие социализма в своей стране — по меньшей мере на пять минут!

Только *народу*, а отнюдь не Ячменному Зерну, я обязан тем, что победил свою тяжелую болезнь; а в период выздоровления я узнал любовь женщины, которая окончательно залечила мои раны и развеяла мой пессимизм на много долгих дней, пока Ячменное Зерно не разбудил его снова. Но в этот период я уже не так ревностно искал правду и не стремился больше сорвать с нее последние покровы, хотя, казалось, и сжимал их подчас в своей руке. Я не желал снова заглянуть в лицо обнаженной истине, я подавлял в себе желание видеть его во второй раз. И самое воспоминание о том, что я увидел в тот первый единственный раз, я решительно изгнал из памяти.

Я был очень счастлив. Мне жилось хорошо. Я находил радость в ничтожных мелочах и старался не принимать всерьез значительных событий. Я все еще читал книги, но уже без прежнего увлечения. Я и теперь читаю их, но никогда уже не вернется ко мне тот прежний восторг юношеской страсти, с которым я откликался на таинственный голос, призывавший меня разрешить загадку бытия и надзвездных пространств.

Итак, я хотел сказать в этой главе следующее: из тяжелой болезни, которая в свое время может поразить каждого из нас, я вышел без помощи Ячменного Зерна. Любовь, социализм, *народ* — здоровые идеалы человеческого духа вылечили и спасли меня. Мне кажется, что если когда-либо существовал человек, лишенный от природы всякой склонности к алкоголю, то это именно я. И однако… Но пусть следующие главы расскажут остальное. Из них читатель узнает, какой ценой я заплатил за четверть века общения с чересчур доступным Джоном Ячменное Зерно.

Глава XXIX

Оправившись от своей тяжелой болезни, я по-прежнему продолжал пить исключительно в компании. Я пил только тогда, когда пили другие. Но незаметно во мне стала определяться и расти потребность в алкоголе. Это не было, однако, физической потребностью моего организма. Я продолжал заниматься боксом, плавал, носился под парусами, ездил верхом, жил здоровой жизнью на лоне природы и своим цветущим состоянием привел в изумление врачей, дававших мне заключение о состоянии здоровья при страховании жизни. Оглядываясь теперь назад, я нахожу, что причина этой потребности в алкоголе коренилась в моем мозгу, нервах, в желании во что бы то ни стало испытать душевный подъем. Как объяснить это?

Дело обстояло приблизительно так. Физиологически, с точки зрения вкуса и желудка, алкоголь был мне противен. Он нравился мне не больше, чем пиво в пятилетнем возрасте и красное вино в семилетнем. Работая или занимаясь в одиночестве, я не чувствовал никакой нужды в том, чтобы выпить. Но не то я стал более зрелым, не то умнее (пожалуй, то и другое вместе, а может быть, просто постарел), — не знаю, в чем тут было дело, — только, находясь в обществе, я перестал испытывать от этого удовлетворение и возбуждение. Шутки и забавы, которые прежде развлекали меня, утратили теперь всякий интерес, а пустая, глупая болтовня женщин и напыщенные самоуверенные речи ничтожных тупых мужчин причиняли мне настоящие мучения. Это дань, которую приходится платить за избыточные знания (или за собственную глупость). В данном случае неважно, в чем заключалась причина этого явления, ибо само оно было непреложным фактом. Общение с людьми перестало радовать меня и придавать душевные силы.

Быть может, это происходило оттого, что я слишком высоко парил в облаках, быть может — оттого, что чего-то не увидел. Трудно сказать. Знаю только одно, что я отнюдь не страдал истерией и не был переутомлен. Мой пульс бился вполне нормально, сердце поразило врачей страхового общества своим превосходным состоянием, а легкие просто привели их в экстаз. Я, как и прежде, ежедневно писал свою тысячу слов и с пунктуальной точностью выполнял все житейские обязанности, выпадавшие на мою долю. Я был вполне доволен, весел, спал, как младенец. Но…

Стоило мне попасть в общество, как я тотчас же начинал испытывать тоску, от которой внутренне обливался слезами. Я совершенно лишился способности смеяться вместе со всеми или насмехаться над глупыми рассуждениями тех, кого я считал глубокомысленными дураками; я лишился способности балагурить, как балагурил, бывало, прежде, или принимать участие в глупой болтовне женщин, которые под внешней наивностью и мягкостью скрывают всю прямолинейность и непримиримость своих праматерей — самок обезьян.

При этом, клянусь, я не был пессимистом. Мне все просто надоело. Я слишком часто наблюдал одни и те же сцены, слишком часто слышал одни и те же песни и шутки. Мне было чересчур хорошо известно состояние кассы этого театра, и я так хорошо знал каждое колесо закулисных машин, что никакая бутафория, смех и песни не могли заглушить в моих ушах их скрип.

Никогда не следует ходить за кулисы, ибо там вы рискуете увидеть, как ваш кумир — божественный тенор бьет свою жену. Я пренебрег этими правилами и теперь расплачивался за это; а быть может, я попросту был глуп. Впрочем, причина тут не играет роли. Важен самый факт, а факт заключался в том, что общение с людьми превратилось для меня в мучительную и тяжелую обязанность. Однако я должен сказать, что в редких, чрезвычайно редких случаях мне попадались избранные души или наивные, вроде меня самого, и я с ними проводил восхитительные часы в мечтах, этом раю глупцов. Такой избранной душой — или наивным человеком — была моя жена. Она никогда не докучала мне и всегда являлась для

меня источником неистощимого удивления и восторга. Но я не мог проводить все свое время исключительно в ее обществе. Да к тому же было бы и несправедливо и неумно заставлять ее вечно сидеть со мной вдвоем. Кроме того, я был автором целого ряда книг, пользовавшихся успехом, а общество требует, чтобы писатель уделял ему некоторую часть своего досуга. Да и вообще всякому нормальному человеку необходимо для себя самого и для дела общаться с людьми.

Теперь мы подходим к сути вопроса. Как быть человеку, который должен участвовать в жизни общества, несмотря на то что интерес к ней уже пропал? Ответ — звать Джона Ячменное Зерно. Четверть века он терпеливо ожидал, чтобы я обратился к нему за помощью. Тысячи его уловок благодаря моему здоровью и удаче не достигали цели, но у него было припрятано про запас не мало фокусов. Я заметил, что один, два или несколько коктейлей делали меня веселее, терпимее к глупостям остальных глупцов. Один или несколько коктейлей, выпитых перед обедом, давали мне возможность искренне хохотать над тем, что давно уже утратило способность смешить меня. Коктейль был ударом хлыста, шпорой, пинком для моего утомленного ума и пресыщенного духа. Он вызывал у меня смех, подстегивал к песне и так взвинчивал меня, что я начинал смеяться, петь и с жаром болтать всякий вздор и пошлости, к вящему удовольствию посредственностей, вообще не представлявших себе ничего другого.

Без коктейля я был никуда не годным собеседником, но выпив, становился душой общества. Я достигал при помощи напитков искусственного возбуждения и потому пил до тех пор, пока не становился весел. Начало было так незаметно, что даже мне, давно знакомому с Ячменным Зерном, не приходило в голову, что это может далеко завести. Я начал ощущать потребность в музыке и вине и вскоре почувствовал необходимость уже в бешеной музыке и в огромном количестве вина.

Вот в это-то время я и заметил, что с нетерпением жду предобеденных коктейлей. Мне хотелось пить, и я отдавал себе в этом отчет. Помню, как, будучи военным корреспондентом на Дальнем Востоке, я испытывал неотразимое желание бывать в одной знакомой семье. Я не только принимал все приглашения на обед, но старался, помимо этого, попасть туда еще и среди дня. Правда, хозяйка была очаровательной женщиной, но не она так сильно привлекала меня в дом. Дело было в том, что она умела приготовлять самые замечательные коктейли во всем этом большом городе, где искусство приготовления смешанных напитков доведено среди иностранной колонии до высокой степени совершенства. Ни в клубах, ни в гостиницах, ни в других частных домах нельзя было найти подобных коктейлей. Ее коктейли были изысканны. Это были настоящие шедевры, дававшие минимум неприятных вкусовых ощущений и максимум подъема. Однако и тут я жаждал коктейлей только ради хорошего настроения, которое они вызывали. Покинув этот город, я несколько месяцев странствовал вместе с японской армией, проехав сотни миль рисовых полей и перевалив через горы, пока мы не вступили в Маньчжурию. И все это время я не прикасался к Ячменному Зерну. На спинах моих навьюченных лошадей можно было всегда найти несколько бутылок виски, однако я ни разу не откупорил ни одной из них. Конечно, если в мой лагерь попадал белый человек, я открывал бутылку, и мы, как полагается, распивали ее вместе. Ведь попади я в его лагерь, он несомненно сделал бы то же самое. Я возил с собой виски только для гостей и даже поставил весь этот расход в счет газеты, в которой работал.

Только оглядываясь назад, я могу проследить почти незаметный рост своей тяги к алкоголю. Я не замечал тогда неясных намеков, соломинок в вихре мелких происшествий, значение которых ускользало от меня.

Приведу один пример. В течение нескольких лет я каждую зиму совершал шести-или восьминедельное плавание по заливу Сан-Франциско. На моей комфортабельной и прочной яхте «Пена» имелась удобная каюта и плита, топившаяся углем. У меня был кореец-повар, и я часто приглашал с собой одного или двух друзей, чтобы разделить с ними прелесть плавания. При этом я непременно брал с собой

и пишущую машинку, на которой ежедневно отстукивал свою тысячу слов. В тот раз, о котором я говорю, со мной поехали Клаудсли и Тодди. Тодди отправлялся со мной в первый раз. В предыдущие поездки Клаудсли всегда отдавал предпочтение пиву, поэтому, приглашая его, я всякий раз запасал на яхте пиво, которое мы и пили во время путешествия.

Правда, на этот раз дело обстояло иначе. Тодди получил свое прозвище за дьявольское искусство, с которым он приготовлял напиток с тем же названием[3]. Поэтому я запас пару галлонов виски.

Во время путешествия мне пришлось купить еще немало галлонов, ибо мы с Клаудсли сильно пристрастились к обжигающему тодди, который был действительно восхитителен на вкус и вызывал необычайно приятное возбуждение.

Мне нравился тодди. Я старался проникнуть в секрет его приготовления. Мы пили в строго установленном порядке: один стакан перед завтраком, один перед обедом, один перед ужином и последний перед тем, как лечь спать. Мы никогда не напивались. Но я должен сказать, что четыре раза в день мы бывали очень веселы. Среди плавания Тодди вызвали по делу обратно в Сан-Франциско, и мы с Клаудсли позаботились о том, чтобы повар-кореец приготовлял для нас в положенное время тодди по рецепту нашего друга.

Но это продолжалось, только пока мы были на судне. Вернувшись домой, я больше не пил ни перед завтраком, ни перед сном. С тех пор я вообще никогда не пил горячего тодди, а со времени этого путешествия прошло уже много лет! Дело в том, что мне тодди нравился. Веселость после него казалась мне необычайно приятной. Это коварные апостолы Ячменного Зерна незаметно совершали свою опасную работу. Легкий зуд, который они вызывали, должен был со временем превратиться в беспрерывное, неутолимое желание. А я, проживший столько лет в тесном общении с Ячменным Зерном, ничего не подозревал, ни о чем не догадывался и смеялся над его неудачными попытками овладеть мной.

Глава XXX

Мое выздоровление отчасти выражалось в том, что я снова начал находить удовольствие в мелочах, в ничтожных пустяках, не имеющих отношения к книгам или проблемам бытия. Я стал увлекаться играми, забавами, плаванием, пусканием воздушного змея, возней с лошадьми и решением механических головоломок. В результате я почувствовал, что устал от города. В Лунной Долине, на ранчо, я нашел свой рай и окончательно отказался от городской жизни. В город меня влекли теперь лишь музыка, театр и турецкие бани.

Моя жизнь протекала превосходно. Я много работал, много занимался спортом и чувствовал себя очень счастливым. Из книг я начал отдавать предпочтение тем, в которых было больше вымысла и меньше действительности. Я занимался теперь несравненно меньше, чем раньше. Я по-прежнему интересовался основными проблемами существования, но относился к ним уже гораздо благоразумнее, помня, как я обжегся, пытаясь обнажить истину. В этом настроении таилась, пожалуй, капля лжи, капля притворства, но это были ложь и притворство человека, желающего жить.

Я сознательно закрывал глаза на то, что считал необузданным проявлением биологических законов. Я просто старался искоренить в себе скверную привычку, уничтожить вредное направление ума. Повторяю, я был очень счастлив. Беспристрастно и внимательно перебирая всю свою жизнь, я нахожу, что это был самый счастливый ее период.

Но надвигалось беспорядочное и бессмысленное, как мне кажется, время — время расплаты за долгое знакомство с Ячменным Зерном. На ранчо часто приезжали знакомые, оставшиеся на несколько дней погостить. Некоторые из них совсем не пили. Но тех, кто пил, полное отсутствие алкоголя на ранчо лишало привычных удовольствий. Я чувствовал, что нарушаю законы гостеприимства, заставляя их переносить это лишение, и поэтому завел винный погреб специально для гостей.

Я никогда не интересовался коктейлями настолько, чтобы познакомиться с их приготовлением. Поэтому я обратился к хозяину одного бара в Окленде с просьбой заготовлять их для меня оптом и пересылать морем на ранчо. Когда гостей не было, я совсем не пил. Но зато стал подмечать, что, закончив свою утреннюю работу, я с удовольствием вспоминаю о присутствии гостя, потому что оно служило мне предлогом выпить коктейль за компанию.

Тогда я был еще так мало отравлен алкоголем, что один коктейль вполне удовлетворял меня и поднимал мое настроение. Он озарял пламенем мой мозг и веселил меня, вызывая предвкушение восхитительного процесса еды. С другой стороны, мой желудок был настолько вынослив и сила моего сопротивления так велика, что этот единственный коктейль являлся только мерцанием пламени, легчайшим щекотанием. Однажды кто-то из моих друзей без стеснения, откровенно выразил желание выпить по второму коктейлю. Мы выпили. После второго бокала огонь, пробежавший по моим жилам, оказался заметно горячее; он дольше согревал, и смех звучал громче и сердечнее. Такие впечатления не забываются. Подчас я думаю, что начал пить именно оттого, что чувствовал себя чересчур счастливым.

Я помню, как однажды мы с Чармиан отправились на длительную прогулку верхом по горам. Мы отпустили на этот день прислугу и вернулись домой лишь поздно вечером, к веселому ужину, который нам предстояло самим разогреть себе. О, как чудесно было возиться вдвоем в кухне, пока наш ужин шипел на огне. Я лично был на верху блаженства: книги и высокие истины отошли куда-то далеко. Тело мое ликовало от избытка здоровья, и я чувствовал приятную усталость от долгой езды. День был великолепен. Ночь также. Со мной была любимая женщина, и мы с ней готовились пировать в веселом уединении. Забот у меня не было. Все счета были оплачены, а обильный приток денег не прекращался. Будущее все шире

раскрывалось передо мной. В кухне жарились вкусные вещи, смех наш звучал звонко, а в желудке я ощущал приятное щемящее чувство голода.

Мне было так хорошо, что я вдруг ощутил в глубине своего сознания потребность почувствовать себя еще лучше. Я был так счастлив, что испытал необходимость стать еще счастливее. И я знал, как достичь этого. Недаром я был хорошо знаком с Ячменным Зерном. Несколько раз я отлучался из кухни, направляясь к бутылке с коктейлем, и всякий раз содержимое ее уменьшалось на одну добрую порцию. Результат был превосходен. Я не был навеселе, не был пьян, но напиток согрел меня. Я весь пылал, и мое счастье вознеслось выше пирамид. Как ни щедро осыпала меня жизнь своими дарами, я сумел умножить их. Это был великолепный момент — один из прекраснейших в моей жизни. Но мне пришлось расплатиться за него много лет спустя, как вы это скоро увидите. Такие моменты навсегда сохраняются в памяти, а человек по своей глупости воображает, что одинаковые причины всегда вызывают одинаковые результаты. На самом деле это не так, иначе тысячная трубка опиума давала бы такое же наслаждение, как первая, а один коктейль после года привычного пьянства оказывал бы такое же действие, как в первый раз.

Однажды перед обедом, закончив свои утренние занятия, я выпил коктейль один. С этого дня я ежедневно стал выпивать перед обедом коктейль, даже в те дни, когда гостей не было. Тут-то Ячменное Зерно и одолел меня. Я начал пить регулярно и в одиночестве и пил уже не для того, чтобы поддержать компанию и не из-за вкусового ощущения, а ради того действия, которое напиток производил на меня.

Меня тянуло выпить коктейль перед обедом. И мне никогда не приходило в голову, что было бы лучше воздержаться от этого. Мои средства позволяли подобную прихоть; я мог оплатить тысячу коктейлей, если бы пожелал. И что такое для меня один коктейль, ведь сколько раз в течение многих лет я совершенно безнаказанно поглощал неумеренное количество более крепких напитков.

Жизнь моя на ранчо протекала следующим образом. Каждое утро я с четырех или с пяти часов работал в постели с корректурами. В половине девятого я садился к столу. До девяти занимался корреспонденцией и делал заметки, а ровно в девять неизменно принимался за свое писание. К одиннадцати, иногда немного раньше или позднее, моя тысяча слов была готова. Еще полчаса на то, чтобы привести в порядок свой письменный стол, — и я был совершенно свободен до конца дня. Я ложился в гамак под деревьями, с полученной почтой и газетами. В половине первого я обедал, а днем плавал и катался верхом.

Однажды утром, перед тем как улечься в гамак, я выпил один коктейль. Это повторилось и в следующие дни, причем я, само собой разумеется, не пропускал и второго коктейля в половине первого, перед обедом. Вскоре я заметил, что еще утром, сидя за работой, я с нетерпением ожидаю этого коктейля.

Теперь я, по крайней мере, ясно сознавал, что хочу алкоголя. Ну и что из этого? Я нисколько не боялся Ячменного Зерна. Ведь я не со вчерашнего дня знаю его. Я умудрен опытом, благоразумен и никогда не доведу дела до крайности. Я знаю все опасности и капканы, которые Ячменное Зерно расставляет на пути своих жертв, и помню, как он уже пытался раз погубить меня. Но все это было позади, в далеком прошлом. Я больше никогда не напьюсь до бесчувствия, никогда не опьянею. Все, чего я хочу, — чтобы коктейль согрел и возбудил меня, чтобы он расшевелил во мне веселость, вызвал смех на губах и слегка подстегнул воображение. О, я чувствовал себя господином не только над самим собой, но и над Ячменным Зерном.

Глава XXXI

Но одно и то же возбуждающее средство при частом употреблении перестает вызывать в человеческом организме прежнюю реакцию. Вскоре я заметил, что один коктейль уже совсем не производит на меня прежнего действия. После одного коктейля я ничего не ощущал: ни тепла, ни щекотания, ни смешливости. Теперь, чтобы вызвать желанный результат, требовалось уже два или три коктейля. А я во что бы то ни стало хотел добиться этого результата. Обычно в половине двенадцатого, прежде чем отправиться с почтой в гамак, я выпивал один коктейль, а через час, перед обедом, проглатывал другой. Но вскоре у меня установилась привычка вылезать из гамака на десять минут раньше, чтобы успеть выпить до обеда два коктейля. Это сделалось моей обычной порцией — три коктейля в часовой промежуток между окончанием работы и обедом. Таким образом, я приобрел две самых губительных привычки: пить регулярно и пить в одиночестве.

Я очень охотно пил в компании, но когда рядом никого не было, то пил и один. Вскоре я шагнул еще дальше. Если моим гостем бывал человек, пьющий умеренно, то я старался выпить два бокала, пока он выпивал один: один с ним вместе, другой без него, так, чтобы он не заметил. Этот второй бокал я пил украдкой. Хуже того, я начал пить один даже тогда, когда у меня в доме был гость — мужчина, товарищ, с которым можно было бы выпить вместе. Но Ячменное Зерно тут же подсказывал мне оправдание. Нехорошо благодаря излишку гостеприимства вводить гостя в соблазн, заставлять его напиваться. Он не привык много пить и опьянеет, если я уговорю его выпить вместе со мной. При такой постановке вопроса мне оставалось одно из двух: или пить украдкой этот второй бокал, или отказаться от того возбуждения, которое мой гость извлек уже из половинного количества алкоголя, необходимого для меня.

Я прошу читателя не забывать при чтении этого рассказа о развитии моей склонности к алкоголю, что я не глупец и не слабовольный человек. По общепринятым понятиям, я человек, преуспевший в жизни; успех этот, смею сказать, превосходит обычный успех среднего удачливого человека, и, чтобы добиться его, мне пришлось затратить немало энергии, ума и силы воли. При этом у меня крепкий организм, который легко переносит то, от чего более слабые умирали, как мухи. И тем не менее именно со мной и моим организмом приключилось то, что я описываю теперь. И я сам, и мое пьянство — непреложные факты. Мое пьянство — не теория, не отвлеченность, это нечто действительно имевшее место, и оно еще сильнее подчеркивает мощь Ячменного Зерна — этого варварства, которое мы все еще продолжаем сохранять, этого убийственного изобретения, этого пережитка далеких жестоких времен, которое собирает свою тяжелую дань с юношества, подрывая силы, подавляя высокий дух лучшей части человечества.

Но возвращаюсь к своему рассказу. Поплавав всласть в пруду, совершив великолепную прогулку верхом по горам или по Лунной Долине, я приходил в такое приподнятое и восторженное настроение, что немедленно ощущал в себе желание повысить его еще на пару градусов. Я знал, что одного коктейля перед ужином будет мало для этого; по меньшей мере два или три — вот что мне нужно. Я выпивал их. Почему бы нет? Ведь это была жизнь, а я всегда так нежно любил ее! Вскоре и вечерняя выпивка вошла в привычку.

Кроме того, я постоянно находил предлоги, чтобы выпить лишний коктейль. Иногда это была особенно приятная мне компания, иногда легкое раздражение, вызванное моим архитектором или вороватым каменщиком, работавшим на моей ферме; то смерть моей любимой лошади, наскочившей на изгородь из колючей проволоки, то приятные известия от моих издателей и редакторов. Значимость повода не играла никакой роли, как только желание выпить зарождалось во мне. Суть заключалась в том, что я жаждал алкоголя. После двух десятков лет общения с ним вопреки желанию я начал теперь желать его. И моя сила являлась источником моей слабости, ибо мне нужно было два, три, четыре бокала, чтобы

достичь того результата, какой дает обычному человеку один.

Тем не менее, я твердо продолжал соблюдать одно правило: никогда не пить до тех пор, пока мой ежедневный урок в тысячу слов не будет выполнен. Когда же работа была закончена, коктейль как бы возводил за ней стену, служившую гранью между моей исполненной задачей и предстоящей частью дня, отданной развлечениям. Мои мысли больше не возвращались к работе до девяти часов следующего утра, когда я снова усаживался за свой письменный стол и принимался писать. Я очень ценил эту возможность забываться. При помощи Ячменного Зерна я сохранил таким образом свою энергию. Ячменное Зерно, думал я, не так уж чёрен, как его малюют. Он оказывает немало полезных услуг, и в данном случае дело обстоит именно так.

И я продолжал создавать произведения, дышащие здоровьем, цельностью и искренностью. В них нельзя было найти и тени пессимизма. Я познал дорогу к жизни за время своей длительной болезни. Я понимал, что иллюзии необходимы, и превозносил их. До сих пор мои произведения сохраняют тот же характер — они чисты, дышат энергией и оптимизмом, а все это рождает влечение к жизни. И критики неизменно уверяют меня, будто жизненная энергия так и бьет ключом из моей личности и будто я сам нахожусь во власти тех иллюзий, которые превозношу.

Раз уж я отклонился, позвольте мне задать здесь один вопрос, который я ставил себе десятки тысяч раз. Почему я пил? Какая была в этом необходимость? Ведь я был счастлив. Пил ли я потому, что был слишком счастлив? Я был силён. Пил ли я потому, что был слишком силён? Обладал ли я чересчур большим запасом жизненной энергии? Не знаю, почему я пил. Мне трудно дать на это определенный ответ, хотя кое-какие подозрения с каждым днем больше и больше укрепляются во мне. Я слишком долго поддерживал близкие отношения с Ячменным Зерном. Левша с помощью долгих упражнений может научиться нормально пользоваться правой рукой. Не превратился ли и я, не алкоголик по природе, в пьяницу благодаря упорно прививавшейся привычке?

Я был так счастлив. Оправившись от тяжелой болезни, я очутился в объятиях любимой женщины. Затрачивая меньше труда, я зарабатывал теперь все больше денег. Здоровье мое было превосходно, я спал, как младенец. Я продолжал писать книги, пользовавшиеся успехом, а на поприще политической борьбы противники мои смущенно отступали перед фактами, которыми жизнь ежедневно подтверждала правильность моих тезисов. Ни днем ни ночью я не испытывал горя, разочарования или сожаления. Я был постоянно счастлив. Жизнь была сплошным бесконечным гимном, и я досадовал даже на часы безмятежного сна, отнимавшие у меня радости, которые я испытал бы за это время, если бы бодрствовал. И все же я пил. Ячменное Зерно незаметно для меня подготовлял почву для новой болезни, которая была всецело плодом его рук.

Чем больше я пил, тем больше требовалось алкоголя для достижения прежних результатов. Приезжая из Лунной Долины в город, я часто обедал где-нибудь в гостях. Один коктейль, который обычно подавался перед обедом, не производил на меня решительно никакого впечатления. Он нисколько не возбуждал меня перед едой. Поэтому, отправляясь куда-нибудь в гости, я предварительно выпивал два-три коктейля, а если встречал приятелей, то и пять, и шесть, ибо несколько лишних коктейлей уже не играли для меня роли. Однажды я очень спешил, и мне некогда было дожидаться, пока приготовят несколько коктейлей. Блестящая идея осенила меня: я приказал буфетчику приготовить мне сразу двойной коктейль. С тех пор, торопясь куда-нибудь, я всегда заказывал двойной коктейль и таким образом сберегал время.

Одним из результатов этого регулярного употребления алкоголя в больших дозах явилась общая подавленность. Мой мозг и нервы, привыкнув к искусственному возбуждению, утратили способность возбуждаться без искусственного подстегивания. Я все меньше мог обходиться без алкоголя, общаясь с

людьми. Прежде чем присоединиться к друзьям и почувствовать себя комфортно в компании, я должен был ощутить щелчок и ожог Ячменного Зерна, взлет фантазии, радостное озарение мозга, щекочущий смех, прикосновение и жало чертовщины, улыбку на ликах вещей.

Другим результатом было то, что Ячменное Зерно начал постепенно загонять меня в западню. Он вновь навлекал на меня мою долгую болезнь, подстрекал к тому, чтобы вновь взяться за преследование истины, сорвать с нее покровы и взглянуть ей прямо в лицо. Однако все это совершалось постепенно. Мои мысли незаметно ожесточались, но процесс этот двигался почти незаметно.

Подчас в моем мозгу зарождалась тревожная мысль: куда приведет меня систематическое злоупотребление алкоголем? Но Ячменное Зерно быстро успокаивал подобные мысли. «Пойдем-ка выпьем, и я объясню тебе все», говорит он обычно и добивается своего. Случай, который я приведу сейчас, очень характерен в этом отношении, и Ячменное Зерно никогда не упускал повода напомнить мне о нем.

Однажды я сделался жертвой несчастного случая, который потребовал очень болезненной операции. Как-то утром, приблизительно через неделю после операции, я лежал, слабый и измученный, на своей больничной койке. Здоровый загар на моем лице (поскольку его можно было разглядеть сквозь неровную отросшую бороду) превратился в болезненную желтизну. Около моей постели стоял доктор, собираясь уходить. Он неодобрительно посматривал на сигарету, которую я курил, и под конец заметил:

— Вам следовало бы бросить курение. Оно в конце концов непременно погубит вас. Взгляните на меня!

Я взглянул. Он был приблизительно моего возраста, широкоплечий, с высокой грудью, блестящими глазами и ярким здоровым румянцем на щеках. Трудно было представить себе лучший образчик здоровья и силы.

— Я тоже курил, — продолжал он. — Все больше сигары. Но потом бросил. И вот, видите…

Он говорил с некоторым самодовольством, которое находило себе опору в сознании собственного физического превосходства. А через месяц его не стало. И погубил его не несчастный случай, а полдюжины различных палочек с многоэтажными латинскими названиями, которые накинулись на него и уничтожили. У него случились какие-то необычайные, чрезвычайно мучительные осложнения, и этот великолепный образчик человечества за много дней до смерти начал кричать так, что его слышно было на целый квартал. И крики эти так и не умолкали до самой его кончины.

«Видишь, — говорил Ячменное Зерно. — Он заботился о себе, он даже отказался от курения, и вот что он получил за это. Стоило, а? От бацилл все равно не убережешься. Твой великолепный доктор принимал всевозможные меры, а все же не спасся от них. Когда бацилла скачет, нельзя знать, куда она угодит. Может быть, в тебя, а может быть, — в другого. Подумай только, как много он потерял. Не желаешь ли и ты отказаться от всего, что я могу тебе дать, а какая-нибудь бацилла в конце концов уничтожит тебя? Жизнь не знает справедливости. Это — лотерея. Но я надеваю улыбающуюся маску на жизнь и действительность. Улыбайся же и ты, смейся со мной вместе. В конце концов ты, разумеется, не уйдешь от судьбы, но пока смейся. Мир — мрачная темница. Я освещаю ее для тебя. Хорош, нечего сказать, свет, в котором случаются такие милые истории, как с твоим доктором. Остается одно — пить и забывать обо всем».

И я, конечно, выпивал рюмочку ради забвения, которое она приносила с собой. И каждый раз, как Ячменное Зерно напоминал мне об этом случае, я неизменно следовал его совету. Однако я пил разумно, с толком. Я выбирал вина только высшего качества. Я искал лишь подъема и забвения, избегая неприятных последствий, которые влечет за собой употребление дешевых сортов вин и опьянение. Замечу мимоходом, что такое разумное употребление алкоголя всегда доказывает, что человек прошел уже не малый путь с Ячменным Зерном.

Однако я по-прежнему продолжал твердо держаться одного правила: никогда не прикасаться к вину, прежде чем последнее слово моей ежедневной работы не будет написано. Иногда я освобождал себя от всяких занятий и в такие свободные дни разрешал себе пить когда угодно.

А люди, никогда не употреблявшие спиртных напитков, еще удивляются, как это можно втянуться в пьянство.

Глава XXXII

Когда мой «Снарк» вышел из Сан-Франциско, направляясь в далекое плавание, на борту его не было ничего спиртного, или, вернее, никто из нас не имел понятия о том, что на борту имеются спиртные напитки, присутствие которых мы обнаружили только много месяцев спустя. Это отсутствие алкоголя было хитростью, придуманной мною. Я хотел сыграть шутку с Ячменным Зерном. Это доказывает, что я все-таки слегка прислушивался к предупреждениям голоса разума.

Конечно, я старался замаскировать это перед самим собой и придумывал извинения для Ячменного Зерна. При этом я пытался найти даже научные основания. Я говорил себе, что буду пить только в портах. Во время плавания мой организм будет очищаться от алкоголя, зато на стоянках выпивка доставит мне больше удовольствия. Она станет сильнее возбуждать меня и резче подстёгивать.

Переход от Сан-Франциско до Гонолулу занял двадцать семь дней. После первого же дня на яхте мысль о вине совершенно перестала беспокоить меня. Я хочу подчеркнуть, насколько я не алкоголик по своей природе. Правда, иногда во время плавания, предвкушая прелесть завтраков и обедов на очаровательных верандах Гавайских островов (мне приходилось уже не раз бывать там раньше), я думал, конечно, и о напитках, которые мы будем при этом пить. Но, думая об этих напитках, я не испытывал никакого раздражения, никакой досады из-за длительности перехода. Я просто-напросто рисовал их себе как часть ожидавших нас веселых и приятных пиршеств.

Таким образом, я еще раз доказал себе, что являюсь в полной мере господином Ячменного Зерна. Я мог пить и отворачиваться от него по своему желанию. На основании этого опыта я решил пить и в будущем, как только этого захочу.

Мы провели около пяти месяцев на различных островах Гавайской группы. На берегу я пил, пожалуй, даже несколько больше, чем перед отъездом из Калифорнии. Вообще население Гавайи в среднем употребляет немного больше спиртных напитков, чем жители умеренных широт, точнее, широт, более удаленных от экватора. Гавайские же острова лежат в субтропической зоне. Чем больше я приближался к экватору, тем больше, оказывалось, люди пили, и тем больше пил с ними и я.

С Гавайских островов мы отправились на Маркизские. Мы шли туда шестьдесят дней, и за все это время ни разу не сходили на берег и не встретили ни одного парохода. Но в начале плавания кок, наводя порядок в камбузе, нашел клад. На самом дне глубокого ящика для припасов он обнаружил дюжину бутылок анжелики и мускателя. По всей вероятности, их доставили на судно с ранчо вместе с другими домашними консервами и банками варенья. Шесть месяцев в камбузе не прошли даром для густого сладкого вина — оно еще больше загустело, стало еще крепче.

Я попробовал. Восхитительно! И с тех пор ежедневно в двенадцать часов, закончив необходимые вычисления и определив положение судна, я выпивал полстаканчика вина. Оно давало удивительный эффект. Оно повышало настроение, и без того прекрасное море казалось мне еще более прекрасным. Каждое утро, потея над своей тысячей слов, я предвкушал удовольствие, которое получу в полдень от стаканчика.

Досадно было только то, что приходилось делиться вином с другими, а точно знать, сколько времени продлится плавание, никто не мог. Да и бутылок, к сожалению, оказалось всего двенадцать. И когда они кончились, я пожалел о каждой капле, перепавшей моим спутникам. Во мне пробудилась жажда, и я с нетерпением ждал Маркизских островов.

Когда я прибыл туда, я уже не владел собой. На Маркизских островах мы встретили несколько белых

людей, множество болезненных туземцев и увидели великолепную природу. Здесь было огромное количество рома, вдоволь абсента, но ни капли виски или джина. Местный ром обжигает рот до такой степени, что сходит слизистая оболочка. Но я вообще всегда легко приспособляюсь к обстоятельствам и быстро привык к абсенту. Однако неприятность заключалась в том, что его приходилось пить в огромном количестве, иначе он не оказывал на меня никакого действия.

Покидая Маркизские острова, я обеспечил себя достаточным количеством абсента до Таити, а там раздобыл уже шотландского и американского виски, застраховавшись таким образом от «сухого» плавания. Однако я не хочу, чтобы читатель неправильно понял меня. На «Снарке» не было пьянства в общепринятом смысле.

Опытный и привычный пьющий доводит себя до легкого опьянения и проделывает это круглый год без всякого видимого вреда для себя. В наше время в Соединенных Штатах сотни и тысячи таких людей пьют в клубах, гостиницах и собственных домах. Они никогда не бывают пьяными, но в то же время очень редко бывают трезвыми, хотя большинство из них с негодованием отвергнет подобное обвинение. И все они искренно верят, как искренне верил и я, что они контролируют и себя, и Джона Ячменное Зерно.

Во время плавания я пил умеренно, но на берегу позволял себе больше. Моя потребность в алкоголе, казалось, возросла в тропиках. Это обычное явление, всем известно, что белые поглощают в тропиках очень большое количество алкоголя. Тропики — неподходящее место для белых людей. Их кожа недостаточно пигментирована, чтобы служить защитой от ослепительно-ярких белых солнечных лучей. Ультрафиолетовые и другие большой частоты и невидимые глазом лучи верхнего края спектра разъедают и разрушают их внешние покровы, точно так же, как икс-лучи разрушали ткани первых экспериментаторов, не знавших об опасности и не умевших защитить себя.

Характер белых людей в тропиках резко портится. Они делаются жестокими, безжалостными, совершают чудовищные злодеяния, мысль о которых никогда не закралась бы в их голову в привычном для себя умеренном климате. Они становятся нервными, раздражительными, безнравственными и при этом пьют, как никогда не пили раньше. Пьянство является одной из форм вырождения, которому подвергаются белые люди под влиянием продолжительного и сильного действия раскаленных солнечных лучей. При этом количество алкоголя, которое они поглощают, возрастает чисто механически. Белым людям не следует слишком долго задерживаться в тропиках. Там их подстерегает смерть, и пьянство лишь ускоряет встречу с ней. А они бессознательно способствуют этому, делая все, чтобы ускорить процесс разрушения.

Проведя на тропиках всего лишь пару лет, я заболел солнечной болезнью. Я много пил все это время, но не алкоголь стал причиной моей болезни и не он заставил нас прервать путешествие. Я был силён, как бык, и много месяцев боролся с солнечной болезнью, которая разрушала мои нервные ткани и разъедала кожу. На Новогебридских и Соломоновых островах, а также под тропическим солнцем, среди коралловых островов экватора, я работал за пятерых, несмотря на малярию и несколько других менее значительных болезней, вроде библейской серебристой проказы.

Вести судно через рифы, отмели, проливы, вдоль неизвестных берегов коралловых морей — само по себе дело нелегкое. Я же был единственным опытным моряком на борту. Мне не с кем было проверить свои наблюдения, не с кем посоветоваться в непроницаемой тьме, среди не занесенных на карту рифов и мелей. Я один отбывал все вахты, ибо на борту не было ни одного моряка, которому я мог бы доверить судно. Я был в одно и то же время и капитаном, и боцманом. Я выстаивал на вахте двадцать четыре часа в сутки и только урывками погружался в дремоту, когда это позволяли обстоятельства. В-третьих, я был еще и доктором, а докторские обязанности на «Снарке» были в ту пору тоже не шуткой. Решительно все на борту болели малярией, настоящей тропической малярией, которая может убить человека в три месяца.

Кроме того, многие страдали жестокими язвами и чесоткой нгари-нгари, которая может довести человека до безумия. Наш японец-повар и в самом деле помешался от своих слишком многочисленных болезней. Один из моих полинезийских матросов чуть не умер от черной лихорадки. Да, работы была уйма: я давал лекарства, ухаживал, рвал зубы и помогал своим пациентам справляться с такими пустяками, как пищевое отравление.

В-четвертых, я был писателем. Я ежедневно потел над своей тысячью слов, исключая лишь те дни, когда припадок малярии выводил меня из строя или когда то же самое проделывали со «Снарком» утренние шквалы. В-пятых, я был еще путешественником, жадно стремившимся как можно больше увидеть и занести свои наблюдения в записную книжку. В-шестых, наконец, я был хозяином и владельцем судна, заходившего в отдаленные места, где посетители редки и привлекают к себе всеобщее внимание. Мне приходилось принимать у себя на яхте гостей, самому посещать плантаторов, промышленников, губернаторов, капитанов военных кораблей, курчавых царьков-людоедов и их премьер-министров, не всегда достаточно состоятельных, чтобы прикрыть свое тело ситцевой рубахой.

Конечно, я пил. Я пил со своими гостями и хозяевами. Кроме того, я пил и один. Работая за пятерых, я считал себя вправе выпить. Алкоголь очень хорошо влияет на тех, кто работает свыше сил. Я судил об этом по действию, которое он оказывал на мою маленькую команду. Поднимая якорь с глубины в сорок морских саженей, люди выбивались из сил и после получасовых усилий задыхались и дрожали всем телом. Хорошая порция рома быстро вливала в них новую силу. Дыхание их становилось спокойнее, вытерев рты, они снова охотно брались за работу. А когда нам пришлось накренить «Снарк» и между приступами лихорадки работать по шею в воде, я заметил, как неочищенный местный ром помогал делу.

Здесь мы опять сталкиваемся с новой чертой многоликого Джона Ячменное Зерно. Кажется, будто он дает вам что-то, не требуя ничего взамен. Там, где силы иссякли, он поднимает на ноги утомленного человека. На некоторое время мы ощущаем приток свежих сил. Я помню, как однажды мне пришлось восемь дней грузить уголь на океанский пароход. Работа была адская, и нас, грузчиков, поддерживали одним только виски. Мы все время работали полупьяными и без виски не справились бы с этой работой.

Сила, которую дает Джон Ячменное Зерно, настоящая. Она извлекается из тех же источников, что и всякая сила. Но за нее приходится расплачиваться, и с процентами. Станет ли, однако, измученный работой человек заглядывать так далеко? Он принимает это волшебное превращение сил за то, чем оно кажется, — за чудо. И немало переутомленных дельцов, людей умственного труда и чернорабочих, поддавшись заблуждению, становятся на путь, по которому Ячменное Зерно ведет их к смерти.

Глава XXXIII

Я отправился в Австралию, чтобы лечь там в больницу и подлечиться; после этого я собирался продолжить путешествие. Я провел в больнице много долгих недель, но ни разу не вспомнил о выпивке. Я знал, что это меня ждет, когда я встану на ноги.

Однако, когда я поднялся с постели, оказалось, что мои главные болезни так и остались невылеченными. Таинственная солнечная болезнь, ставившая в тупик лучших австралийских специалистов, продолжала по-прежнему разрушать мои ткани, да и малярия не оставляла меня, сваливая с ног в самые неожиданные моменты. Она заставила меня однажды отказаться от турне по городам, в которых мне предложили прочесть ряд лекций.

Все это заставило меня отказаться от путешествия на «Снарке» и поискать более прохладного климата. Выйдя из больницы, я в тот же день начал пить. Это вышло само собой. Во время еды я пил вино, а перед едой — коктейли. А если мои собутыльники предпочитали виски с содовой, то и я пил вместе с ними виски. Я чувствовал себя до такой степени господином Ячменного Зерна, что мог приниматься за него или бросать его по желанию, как делал это всегда, и думал, что так будет всю жизнь.

Некоторое время спустя в поисках более прохладного климата я отправился на крайний юг Тасмании и очутился в местности, где нельзя было достать ничего спиртного. Это обстоятельство не огорчило меня, и я попросту перестал пить. Лишение это не было мне в тягость. Я наслаждался прохладным воздухом, ездил верхом и отстукивал ежедневно свою тысячу слов, за исключением тех случаев, когда у меня с утра начинался приступ малярии.

Боюсь, как бы читатель не объяснил мои болезни тем, что в предшествовавшие годы я злоупотреблял алкоголем. Но ведь и мой японец-слуга Наката, до сих пор живущий при мне, сильно страдал от малярии, а Чармиан, кроме малярии, схватила еще тропическую неврастению, от которой избавилась лишь после нескольких лет лечения в умеренном климате. Между тем ни она, ни Наката ничего не пили.

Вернувшись в Хобардт-Таун, где можно было достать алкоголь, я начал пить по-прежнему. То же продолжалось и в Австралии. Однако, уезжая из Австралии, я очутился на пароходе, капитан которого был трезвенником, и перестал пить. За сорок три дня пути я не взял в рот ни капли хмельного. В Эквадоре, под экваториальным солнцем, где люди умирали от желтой лихорадки, оспы и чумы, я тотчас же снова начал пить. И пил все, что только могло возбудить меня. Я не заболел ни одной из этих болезней, но Чармиан и Наката ничего не пили и тоже не заболели.

Несмотря на все зло, которое мне причинили тропики, я все же продолжал питать к ним глубокую нежность и по пути задерживался в различных местах, не спеша вернуться к чудесному умеренному климату Калифорнии. Но где бы я ни путешествовал, я неизменно отстукивал ежедневно свою тысячу слов; приступы моей малярии становились все слабее, серебристая кожа исчезала, разъеденные солнцем язвы благополучно рубцевались, и я при этом пил, как только может пить здоровый, крепкий мужчина.

Глава XXXIV

Вернувшись домой в Лунную Долину, я продолжал регулярно пить. Распорядок дня остался тот же: утром — ничего; первый бокал я выпивал, только окончив свою тысячу слов. Затем, в промежутке между этим бокалом и обедом, я выпивал достаточное количество вина, чтобы почувствовать себя в приятном возбуждении. За час до ужина я снова взвинчивал себя таким путем. Никто никогда не видел меня пьяным по той простой причине, что я никогда не был пьян. По два раза в день я бывал в очень веселом приподнятом настроении, а количество алкоголя, которое я поглощал для этого, свалило бы с ног непривычного человека.

Повторялась старая история. Чем больше я пил, тем больше мне требовалось, чтобы добиться прежнего эффекта. Пришло время, когда коктейли перестали действовать на меня. Их нужно было столько, что у меня не хватало времени на их приготовление и места для хранения множества бутылок. Виски действовало гораздо сильнее, быстрее и употреблять его приходилось в несравненно меньшем количестве. Я стал пить перед обедом ржаную или виноградную водку, а в конце дня — шотландское виски с содовой.

Раньше я всегда спал превосходно, но теперь мой сон немного испортился. Прежде, когда мне случалось проснуться среди ночи, я начинал читать и очень быстро засыпал. Но теперь чтение не помогало. Я мог читать час или два кряду и все-таки не засыпал; и тут я убедился, что виски прекрасно помогает мне. Иногда для того, чтобы уснуть, требовалось два или три бокала.

После этого до утра оставался такой небольшой промежуток, что организм мой не успевал во время сна переработать алкоголь, и я просыпался с ощущением сухости и горечи во рту, тяжестью в голове и легкими спазмами в желудке. Мне порой бывало очень скверно по утрам. Я страдал от похмелья, обычного для людей, постоянно и много пьющих. Мне тотчас же нужно было снова выпить чего-нибудь возбуждающего, укрепляющего. Раз уж вы позволили Ячменному Зерну захватить власть над собой, доверьтесь ему и в дальнейшем. Итак, я начал пить перед утренним завтраком, чтобы оказаться в силах проглотить его. Я приобрел в это время и другую привычку — ставить на ночной столик кувшин с водой, чтобы освежать свою обожженную и зудящую слизистую оболочку.

Теперь мой организм находился постоянно под действием алкоголя, и я не позволял себе передышки. Отправляясь в какое-нибудь захолустье и не зная наверняка, найдется ли там алкоголь, я брал с собой в чемодан одну или несколько кварт виски. Прежде меня поражало, когда это делали другие, но теперь я сам, не краснея, проделывал то же самое. Когда же я попадал в компанию пьющих, то все правила и порядок летели к чертям, и я пил все, что пили они, и в таком же количестве, что и они.

Я превратился в великолепный ходячий спиртовой факел. Он питался собственным жаром и разгорался все неистовее. За весь день я не знал минуты, когда мне не хотелось пить. Я начал прерывать свою работу на середине, выпивая бокал после пятисот написанных слов. Вскоре я стал выпивать и перед началом работы.

Я слишком хорошо понимал, чем это грозит, и принял меры. Я твердо решил не прикасаться к вину, пока не закончу своей работы. Но тут передо мной возникло новое дьявольское осложнение. Я уже не мог работать, предварительно не выпив. Я обязательно должен был выпить, чтобы быть в состоянии писать. Я начал бороться с этим. Мучительная жажда одолевала меня, но я продолжал сидеть за своим письменным столом, вертеть в руках перо и карандаш, хотя слова так и не выливались на бумагу. Мой мозг не в силах был думать о чем-либо, кроме одного, что там, в другом конце комнаты, в винном погребце стоит Ячменное Зерно. Когда я, прийдя в отчаяние, уступал и выпивал, мой мозг сразу прояснялся и тысяча слов

бывала написана без всякого усилия.

В своем городском доме в Окленде я прикончил запас вина и намеренно не стал возобновлять его. Это оказалось бесполезным, ибо, к несчастью, на нижней полке буфета оставался еще ящик пива. Тщетно пробовал я писать. Пиво, убеждал я себя, жалкий суррогат благородной влаги; к тому же я его не люблю. Однако мысль об этом ящике, находящемся так близко под рукой, не выходила у меня из головы. Только выпив бутылку, я мог писать. И немало бутылок пришлось мне опорожнить, прежде чем вся тысяча слов оказалась на бумаге. Хуже всего было то, что пиво вызывало у меня изжогу. Однако, несмотря на это, я скоро прикончил ящик.

Теперь в погребце было пусто. Я не делал новых запасов. Путем поистине героических усилий мне удалось под конец заставить себя писать ежедневную тысячу слов без помощи Ячменного Зерна. Но все время, пока я писал, мучительная жажда не покидала меня. И как только утренняя работа заканчивалась, я убегал из дому и устремлялся в город, чтобы выпить. Какой ужас! Если хмель мог до такой степени поработить меня, не алкоголика по природе, как же должен страдать настоящий алкоголик, ведя борьбу против потребности организма, в то время как самые близкие ему люди не только не сочувствуют этим мукам, не понимают их, но еще презирают и высмеивают его.

Глава XXXV

Час расплаты приближался. Джон Ячменное Зерно начал собирать свою дань не столько с тела, сколько с души. Старая долгая болезнь, исключительно психического порядка, вернулась снова. Давно похороненные знакомые призраки опять подняли головы. Но теперь они были грознее и страшнее, чем прежде. Прежние призраки были чисто интеллектуального происхождения. Вот почему их побеждала здравая и нормальная логика. Но теперь их воскрешала Белая Логика Джона Ячменное Зерно, а Ячменное Зерно никогда не пойдет против призраков, вызванных им самим. При таком заболевании пессимизмом человек непременно будет пить дальше, ища облегчения, которое Ячменное Зерно обещает ему, но никогда не дает.

Как мне описать Белую Логику тем, кто никогда не испытывал ее на себе? Можно ли вообще описать ее? Возьмем Страну Гашиша, страну беспредельного протяжения во времени и пространстве. В прошлые годы я совершил два незабываемых путешествия в эту далекую страну. Впечатления, которые я пережил там, сохранились в моей памяти до мельчайших подробностей. Однако я напрасно пытался описать хотя бы одну незначительнейшую особенность этого царства людям, никогда не бывавшим в нем.

Я пускал в ход всевозможные метафоры и гиперболы, стараясь объяснить им, как целые века и бездны невообразимого ужаса и муки могут быть пережиты в промежутке между двумя нотами джиги, которую быстро играют на рояле. Я бился целый час, пытаясь втолковать им это свойство Страны Гашиша, и в результате так ничего и не объяснил. А раз я оказался не в силах описать им хотя бы одну особенность из всех безмерно ужасных и чудесных свойств этого царства, значит, я не сумел дать им ни малейшего представления о Стране Гашиша в целом.

Но стоит заговорить об этой очаровательной стране с кем-нибудь, кто побывал в ней, как мы сразу поймем друг друга. Одна фраза, одно слово вызовут в уме его то, чего не могли вызвать целые часы объяснений в воображении людей, никогда не странствовавших там. Так же обстоит дело и с царством Ячменного Зерна, где правит Белая Логика. Тем, кто ни разу не был там, рассказ путешественника покажется непонятным и фантастическим. Я могу только попросить не бывавших в царстве Ячменного Зерна постараться принять мой рассказ на веру.

Алкоголь внушает человеку роковые истины. В этом отношении трезвый ум уступает пьяному. По-видимому, истины не всегда бывают одного порядка. Одни истины более правдивы, другие менее, и эти-то как раз и полезнее остальных, так как живое хочет жить. Вы видите теперь, о неискушенный читатель, как безумно и богохульно царство Ячменного Зерна, о котором я рассказываю языком его поклонников. Этот язык чужд вам, ибо все трезвенники уклоняются от путей, ведущих к смерти, и избирают лишь пути жизни. Ибо существует много дорог, как и разных истин. Но имейте немного терпения. Быть может, через то, что покажется вам сперва лишь набором слов, вы случайно увидите едва намеченные очертания других далеких стран и поймете людей другого склада.

Алкоголь говорит правду, но эта правда не соответствует привычным нормам. Все нормальное способствует здоровью. То, что здорово, ведет к жизни. Нормальная правда — правда иного, низшего порядка. Возьмем ломовую лошадь. Несмотря на всю безотрадность своего существования, от первого момента до последнего, она каким-то загадочным, непонятным для нас образом верит, что жизнь хороша, что тяжелая работа в хомуте полезна, что смерть ужасна и что жить стоит; что в конце, когда силы ее ослабеют, ее не станут подгонять пинками, бить и понукать, заставляя трудиться свыше сил, что старость имеет свои хорошие стороны, ценится и пользуется уважением. Хотя на самом деле старость ужасна, и животное, спотыкаясь при каждом ударе, на каждом шагу, среди безжалостного рабства и медленного

разложения будет тянуть свой груз, вплоть до конца, а конец этот — живодерня, распределение частей клячи (ее чувствительного мяса, ее розовых крепких костей, ее соков, ферментов и всех ощущений, которые когда-то воодушевляли ее) по птичьим дворам, по кожевенным заводам, по клеевым фабрикам и по заводам для выработки искусственных удобрений. Но до последнего неверного шага эта ломовая лошадь должна верить в низшую правду, в правду жизни, которая вообще только и делает ее существование возможным.

Эта ломовая лошадь, как все остальные лошади, как вообще все животные, включая человека, ослеплена жизнью, все чувства ее притуплены. Она будет жить, какой бы ценой ей ни приходилось расплачиваться за это. Жизнь хороша, несмотря ни на какие страдания, жизнь хороша, несмотря на то, что всегда завершается гибелью. Вот какого рода истины необходимы если не для вселенной, то для населяющих ее живых существ, чтобы они могли вынести жизнь, пока не умрут. Такого рода истины, как бы ошибочны они ни казались, — разумные и нормальные истины, которые должно исповедывать все живое, чтобы не погибнуть.

Одному только человеку из всех животных дана привилегия мыслить. Человек силой своего разума может проникнуть в обманчивую видимость вещей и стать лицом к лицу со вселенной, холодно и равнодушно взирающий на него и его мечты. Он может сделать это, но тем хуже для него. Чтобы жить полной кипучей жизнью, чтобы быть жизнерадостным, то есть быть таким, каким он создан, нужно быть ослепленным жизнью и притупленным ею. Но что хорошо, то и истинно. И только этот род истины, эта правда, хоть она и ошибочна, — единственное, что должен исповедовать человек. Только подобного рода истиной он и должен руководствоваться в своих поступках, с непоколебимой уверенностью, что это единственная истина и другой не существует. Человеку следует принимать за чистую монету обман ума и чувств, насмешки плоти и сквозь туманы чувственности преследовать неуловимые лживые призраки страсти. Ему лучше не замечать мрачных сторон жизни, ее пустоты и не слишком копаться в собственной алчности и похоти.

Человек так и поступает. Тысячи мельком заглянули в лицо тем, другим истинам высшего порядка и отступили перед ними. Множество людей прошли через тяжкую болезнь и, оставшись жить, сознательно постарались забыть о ней и не вспоминать до конца своей жизни. Они остались жить и поняли смысл жизни, ибо жизнь в этом и заключается. Они поступили правильно.

Но тут является Джон Ячменное Зерно и налагает свое проклятие на одаренного воображением человека, страстно любящего жизнь и жаждущего жить. Ячменное Зерно посылает ему свою Белую Логику, посеребренного вестника высшей истины, антитезу жизни, жестокую и холодную, как надзвездные пространства, бестрепетную и замороженную, как абсолютный нуль, сверкающую инеем неопровержимой логики и незабываемых фактов. Ячменное Зерно не хочет, чтобы мечтатель грезил и живущий жил. Он уничтожает рождение и смерть и распыляет в прах парадокс бытия, пока жертва его не возопит, как в «Граде страшной ночи»:

Наша жизнь — обман, наша смерть — мрачная бездна.

И тот, кто попал в тенёта Ячменного Зерна, вступает на путь смерти.

Глава XXXVI

Вернемся к моим личным переживаниям, к влиянию, которое оказала на меня в то время Белая Логика Ячменного Зерна. Я живу на своем прелестном ранчо в Лунной Долине. После многих месяцев отравления алкоголем мой мозг насквозь пропитан им, а я сам подавлен мировой скорбью, которая всегда была наследием человека. Тщетно стараюсь я понять причину этой тоски. Я ни в чем не нуждаюсь. Крыша моя не протекает, и я имею возможность удовлетворять малейшие капризы своего аппетита. Пользуюсь полным комфортом. Физически я совершенно здоров, не испытываю ни болей, ни страданий. Мой налаженный механизм работает без сучка и задоринки. Ни мозг мой, ни мускулы не переутомлены чрезмерной работой. У меня есть земля, деньги, влияние, слава, сознание, что я вношу свою лепту в дело служения ближним, любимая жена, дети — плоть от моей плоти. Я выполняю свой долг гражданина. Я выстроил на своем веку много домов, вспахал много сотен акров земли и насадил тысяч сто деревьев. Из каждого окна своего дома я вижу эти посаженные мною стройные деревья, поднимающиеся ввысь, к солнцу.

Моя жизнь сложилась счастливо. Вряд ли из миллиона людей наберется сотня, которой так повезло бы в жизни, как мне. И однако, несмотря на удачи, которые не покидают меня, я тоскую. И тоскую потому, что со мной Ячменное Зерно, а он со мной потому, что я родился в темную эпоху, как назовут это время наши далекие потомки, в эпоху, предшествовавшую разумной цивилизации. Ячменное Зерно со мной, потому что во все неразумные дни моей юности он был доступен для меня. Он манил и призывал меня на каждом углу и на каждой улице. Псевдоцивилизация, царившая в эпоху, когда я родился, разрешала открывать лавки для продажи отравы души. Жизнь была так устроена, что меня и миллионы мне подобных тянуло, увлекало и заманивало в кабак.

Попробуйте разделить со мной один из тысячи приступов тоски, в которые загоняет человека Джон Ячменное Зерно. Я объезжаю свое прекрасное ранчо. Я сижу на великолепной лошади. Воздух пьянит, как вино. Виноградники на покатых склонах холмов пылают огнями осени. Из-за Сономских гор украдкой проскальзывают пряди морского тумана. Полуденное солнце томится в задремавшем небе. Судя по всему, я должен испытывать безмерную радость от того, что живу. Я полон грёз и тайн, я весь пронизан этим солнцем, воздухом и блеском, я живу, мои органы работают в совершенстве, я двигаюсь, я управляю своими движениями и движениями живого существа, на котором сижу верхом. Я полон гордости от того, что существую, от возвышенных страстей и вдохновения. У меня десять тысяч божественных задач в этом мире. Я царь в царстве чувства и попираю ногами непокорный прах.

А между тем я с горечью взираю на всю эту красоту и дивлюсь самому себе. Какое жалкое место занимаю я в этом мире, который так долго жил до меня и так же спокойно будет продолжать жить дальше, когда меня не станет. Я думаю о людях, которые надорвали свои жизни и сердца, обрабатывая эту упрямую землю, которая теперь принадлежит мне. Разве что-нибудь вечное может принадлежать тем, кто так быстро переходит в ничто? Эти люди исчезли, я также исчезну. Они трудились, очищали землю, засеивали ее и, останавливаясь, чтобы расправить онемевшие от работы члены, так же, как и я, смотрели усталыми глазами на те же восходы и закаты, на то же великолепие осенних виноградников и на пряди тумана, выползающие из-за гор. И они исчезли. И я знаю, что настанет день, может быть, скоро, когда исчезну и я.

Исчезну! Но я уже понемногу исчезаю. У меня в челюстях хитроумное изобретение дантистов, заменяющее те части моего Я, которые уже исчезли. У меня никогда уже не будет таких пальцев, как в юности. Былые драки и борьба непоправимо изувечили их. Большой палец погиб навсегда от удара по голове человека, имя которого я давно забыл. Другой палец погиб в драке. Мой поджарый живот

спортсмена отошел в область преданий. Мышцы моих ног работают уже не так дружно, как раньше, — в буйные дни и ночи труда и безумств я слишком часто напрягал и растягивал сухожилия. Никогда уже я не смогу больше раскачиваться на головокружительной высоте, уцепившись за веревочную петлю, среди бушующего шторма. Никогда больше я не смогу гонять собачьи упряжки по полярной пустыне.

Я знаю, что в своем распадающемся теле, которое начало умирать с момента моего рождения, я ношу скелет; что под покровом плоти, которая называется лицом, скрывается костлявая застывшая маска смерти. Все это, однако, не страшит меня. Бояться — значит быть здоровым. Страх усиливает жажду жизни. Проклятие Белой Логики в том, что она не вызывает в человеке страха. Мировая скорбь Белой Логики заставляет вас усмехаться прямо в лицо Курносой и презирать все иллюзии жизни.

Во время прогулки я оглядываюсь кругом и повсюду вижу одно только бесконечное, безжалостное разрушение — результат естественного отбора. Белая Логика заставляет меня раскрыть давно заброшенные книги и по пунктам и по главам устанавливает всю ничтожность и суетность красоты и чудес, которые я вижу перед собой. Вокруг меня все гудит и жужжит, но я знаю, что это копошится жалкая мошкара, довольная уже тем, что может хоть на мгновение поколебать воздух своей пискливой жалобой.

Я возвращаюсь на ранчо. Надвигаются сумерки, и хищники выходят из своих берлог. Я слежу за жалкой трагикомедией жизни: сильный пожирает слабого. Мораль отсутствует. Она свойственна только человеку, который сам и создал ее — кодекс правил, стремящихся охранять жизнь, основанных на истине низшего порядка. Все это я познал уже раньше, в томительные дни моей долгой болезни. Это были высшие истины, которые я так хорошо заставил себя забыть. Истины эти были настолько серьезны, что я отказывался принимать их всерьез и играл с ними так осторожно, точно это были сторожевые псы, уснувшие у порога сознания, которых мне не хотелось будить. Я только чуть-чуть прикасался к ним, следя за тем, чтобы они не поднялись. Я был слишком благоразумен, научен слишком горьким опытом, чтобы будить их. Но теперь Белая Логика, независимо от моей воли, будила их для меня, ибо Белая Логика обладает бесстрашным мужеством и не боится никаких чудовищных порождений земного сна.

«Пусть мудрецы всех направлений осуждают меня, — нашептывает мне Белая Логика во время прогулки, — что из того? Истина со мной, и ты это знаешь. Ты не в силах одолеть меня. Они говорят, что я веду к смерти. Что ж из этого! Это истина. Жизнь лжет, чтобы заставить тебя жить. Жизнь — это беспрерывная сеть обмана, это безумная пляска в призрачном изменчивом царстве теней, где явления, в образе мощных приливов, поднимаются и опадают, прикованные цепями к колесам лун, светящих за пределами нашего сознания. Все явления призрачны. Жизнь — страна призраков, где явления меняются, распыляются, переходят одно в другое. Они есть и их нет, они горят, мигают, угасают и исчезают, чтобы снова вернуться в новом образе. Ты сам такая же видимость, составленная из бесчисленных видимостей, ведущих свое начало из далекого прошлого. Видимость знает одни только миражи. Тебе известен мираж желания, и самые эти миражи не что иное, как неисчислимые, невообразимые скопления видимостей, которые теснятся в тебе, создавая твой образ. Они влекут тебя к растворению в других, невообразимых, неисчислимых скоплениях видимостей, из которых произойдут будущие поколения страны призраков. Жизнь — только преходящая видимость. Ты сам только видимость. Ты вышел, невнятно бормоча, из эволюционного болота, как порождение всех призраков, предшествовавших тебе и вошедших в тебя, и точно так же, невнятно бормоча, снова исчезнешь, растворишься, слившись с новыми призраками, которые придут тебе на смену».

На все это, конечно, мне нечего возразить, и, окутанный вечерними тенями, я усмехаюсь в лицо Великому Фетишу, как Конт окрестил жизнь. Я вспоминаю также изречение другого пессимиста: «Все преходяще. Тот, кто родился, должен умереть, а умерший радуется обретенному покою».

Но вот в вечерних сумерках ко мне подходит человек, который не стремится к покою. Это рабочий с

ранчо, старик, выходец из Италии. Он раболепно снимает передо мной свою шляпу, ибо я действительно являюсь властелином его жизни. Я даю ему пищу, кров и возможность существовать. Он проработал всю свою жизнь, как скотина, и жил с меньшим комфортом, чем мои лошади в своих устланных соломой конюшнях. Работа искалечила его. Он прихрамывает, одно плечо у него выше другого, узловатые руки его отвратительны, пальцы ужасны, как настоящие когти. Это по виду очень жалкий образчик человеческой породы, и мозг его так же туп, как уродливо тело.

«Тупость не позволяет ему понять, что он только призрак, — хихикает Белая Логика, подмигивая мне. — Чувства его одурманены. Он рабски предан миражу, называемому жизнью. Мозг его набит навязчивыми идеями. Он верит в потусторонний мир. Он воспринял фантазии попов, которые подсунули ему роскошный мыльный пузырь райского блаженства. Он чувствует какое-то неясное сродство между собой и несуществующими духами. Он как бы в тумане видит себя странствующим дни и ночи в межзвездных пространствах. Он непоколебимо убежден, что вселенная была создана именно для него и что он будет вечно жить в сверхчувственном мире, который он и ему подобные воздвигли из иллюзий и обманов.

Но ты, который раскрыл книги и удостоился моего ужасного доверия, ты знаешь, что он такое на самом деле — брат тебе и праху, шутка космических сил, химическое соединение, принаряженный зверь, который возвысился над другими рычащими зверями благодаря тому, что большие пальцы его рук по счастливой случайности оказались перпендикулярны остальным. Он одинаково близок тебе, горилле и шимпанзе. В гневе он выпячивает грудь, рычит и дрожит в бешенстве. Ему знакомы чудовищные звериные порывы, ибо он сплошь состоит из пестрых лоскутьев забытых первобытных инстинктов».

«Однако он верит в свое бессмертие, — слабо возражаю я. — Согласись, что для такого олуха это недурно — усесться верхом на плечи времени и разъезжать по вечностям».

«Ба! — следует возражение. — Уж не намерен ли ты закрыть свои книги и поменяться местами с этим существом, состоящим только из аппетита и низменных желаний, с этой марионеткой, пляшущей на веревочке желудка и похоти?»

«Быть глупым — значит быть счастливым», — настаиваю я.

«Значит у тебя такой же идеал счастья, как и у примитивных медуз, плавающих в стоячих тепловатых сумеречных водах, а?»

О, жертва не может сражаться с Ячменным Зерном!

«Отсюда один шаг до блаженного небытия буддийской Нирваны, — добавляет Белая Логика. — Ну, вот мы и дома. Выпей и подбодрись. Мы, прозревшие, понимаем все, всю блажь и пошлость этого фарса».

В своем кабинете, стены которого уставлены книгами, в этом мавзолее человеческих мыслей, я пью и пью, расталкиваю псов, спящих в сокровенных глубинах мозга, и напускаю их через извилины суеверия и веры на стены предрассудка и закона.

«Пей, — говорит Белая Логика. — Греки верили, что вино дано им богами для того, чтобы они могли забыть убожество своего существования. Вспомни, что сказал Гейне».

Я хорошо помню слова этого пылкого еврея. Все кончается с последним вздохом: и радость, и горе, и любовь, макароны и театр, зеленые липы и малиновые леденцы, власть человеческих отношений, сплетни, собачий лай и шампанское.

«Твой ослепительный белый свет — болезнь, — говорю я Белой Логике. — Ты лжешь».

«Лгу, потому что говорю слишком жестокую правду», — возражает она.

«Увы, да, все в этом мире шиворот-навыворот», — с грустью соглашаюсь я.

«Ну, Лиу Лин был мудрее тебя, — издевается Белая Логика, — помнишь его?»

Я утвердительно киваю: Лиу Лин, большой пьяница, принадлежал к кружку пьянствующих поэтов, которые жили в Китае много веков тому назад и называли себя «Семью мудрецами бамбуковой рощи».

«Это Лиу Лин, — торопится Белая Логика, — сказал, что пьяного житейские треволнения трогают не больше, чем водоросли на дне реки. Прекрасно. Выпей-ка еще, и пусть иллюзия и обманы жизни превратятся и для тебя в речные водоросли».

Пока я наливаю и пью своё виски, мне вспоминается еще один китайский философ, Чан Цзы, который за четыреста лет до Рождества Христова бросил вызов призрачному миру:

«Откуда я знаю, не раскаиваются ли мертвые в том, что когда-то цеплялись за жизнь? Тот, кому снится пир, просыпается для горя и печали. Тот, кому снились горе и печаль, просыпается, чтоб присоединиться к веселой охоте. Во сне они не сознают, что спят. Некоторые пытаются даже разгадать во сне то, что им снится, и, только проснувшись, убеждаются, что это был сон… Дураки воображают после этого, будто они и в самом деле проснулись и льстят себя уверенностью в том, что они действительно принцы или крестьяне. И ты, и Конфуций — только сны, и я, который утверждаю, что вы сны, сам только сон.

Однажды мне, Чан Цзы, приснилось, будто я бабочка, с легкостью порхающая по воздуху то тут, то там. Я помню, что следовал при этом только капризам бабочки и совершенно утратил ощущения своей человеческой личности. Вдруг я проснулся и почувствовал себя человеком, самим собой. Но не знаю — был ли я человеком, которому приснилось, что он бабочка, или я теперь бабочка, которой снится, что она человек».

Глава XXXVII

«Ну довольно, — говорит Белая Логика, — забудь этих азиатских мечтателей давно прошедших времен. Наполни свой стакан и давай пересмотрим пергаменты вчерашних мечтателей, которые грезили здесь, на твоих согретых солнцем холмах».

Я начинаю перелистывать документы, хранящие перечень имен бывших владельцев моего токайского виноградника, принадлежащего к ранчо Петалума. Это скорбный длинный список человеческих имен, начиная с Мануэля Микельторено, бывшего одно время «мексиканским губернатором и главнокомандующим и инспектором департамента обеих Калифорний». Он пожаловал десять квадратных миль похищенной у индейцев земли полковнику дону Мариано Гвадалупе Валлехо в благодарность за оказанные стране услуги и за жалованье, которое тот в течение десяти лет выплачивал своим солдатам.

Тотчас же после этого заплесневелая летопись человеческой алчности принимает грозный вид поля битвы — оживленной борьбы с прахом. Тут и доверенности, и закладные, и передаточные, и дарственные, и судебные решения, и описи, и приказы о продаже, и извещения о налоговом обложении, и просьбы о назначении администрации, и указы о разделе. Каким непобедимым чудовищем кажется этот непокорный участок земли, мирно дремлющий под благодатным осенним небом, пережив всех этих людей, которые раздирали его поверхность и исчезли!

Кто был этот Джеймс Кинг из Уильяма, носивший столь странное имя? Самый глубокий старик в Лунной Долине — и тот ничего не знает о нем. Однако всего лишь шестьдесят лет назад он одолжил Мариано Валлехо восемнадцать тысяч долларов под залог каких-то земель, в состав которых входил и участок нынешнего моего виноградника. Откуда явился и куда делся Питер О'Коннор, оставивший свое имя на документах о приобретении лесистого участка, занятого теперь токайским виноградником? За ним появляется Луис Ксомортаньи — имечко, годное для заклинаний. Оно мелькает на нескольких страницах этой летописи многострадальной земли.

Затем появляются семьи старых американцев. Погибая от жажды, они пересекают Великую Американскую пустыню, перебираются верхом на мулах через перешеек и огибают на парусниках мыс Горн, чтобы вписать свои короткие, ныне забытые имена там, где до них таким же образом забыты имена десяти тысяч поколений диких индейцев. И имена эти, вроде Халлек, Хейстингс, Свэт, Тэйт, Денмен, Трейси, Гримвуд, Карлтон, Темпл, больше не встречаются уже в Лунной Долине.

Чем дальше, тем быстрее и неистовее сыплются имена, перескакивая со страницы на страницу и так же стремительно исчезая. Но выносливая земля остается, чтобы дать возможность и другим нацарапать на ней свои имена. Появляются имена людей, о которых я что-то смутно помню, но лично никогда не знал: Коулер и Фролинг — они выстроили на токайском винограднике большую каменную давильню на самой вершине холма, но место оказалось неудобным для других виноделов, и те не стали возить свой виноград на такую высоту. Коулер и Фролинг разорились и потеряли участок; землетрясение 1906 года разрушило винодельню, и я теперь живу на ее развалинах.

Ла-Мотт обработал почву, развел виноградники и фруктовые сады, организовал настоящее рыбное хозяйство, построил великолепный дом, в свое время славившийся на всю округу. Но и он был побежден землей и исчез. Тут появляется, наконец, мое бренное имя. На месте его фруктовых садов и виноградников, его великолепного дома и рыбных садков я нацарапал свой след, посадив полсотни тысяч эвкалиптов.

Купер и Гринлоу оставили на прежнем Горном ранчо, составляющем теперь часть моих владений, две могилы: «Маленькая Лилли» и «Маленький Дэвид». Они покоятся там и сейчас, за крошечной

четырехугольной самодельной оградой. Кроме того, Купер и Гринлоу в свое время выкорчевали девственный лес, расчистив три поля, по сорок акров каждое. Теперь эти поля засеяны у меня канадскими бобами, а весной их вспашут снова под зеленое удобрение.

Хаска — неясная легендарная фигура из прошлого поколения. Он поднялся вверх по горе и очистил шесть акров в крошечной долине, которая носит с тех пор его имя. Он возделал почву, выстроил дом за каменной оградой и посадил яблони. Теперь нельзя даже найти места, где стоял дом, а о линии ограды можно судить лишь по очертаниям ландшафта. Я возобновил борьбу бывшего владельца и завел ангорских коз, чтобы они съели кустарник, окончательно заглушивший яблони на участке Хаски. Таким образом, и я также, прежде чем исчезнуть, царапаю землю со всем своим кратковременным усердием и вписываю свое имя на страницы юридических документов, пока они еще не покрылись плесенью.

«Мечтатели и призраки», — хихикает Белая Логика.

«Но ведь борьба их принесла кое-какие результаты», — возражаю я.

«Она была основана на иллюзии и проникнута ложью с начала до конца».

«Ложь необходима, чтобы жить».

«Объясни же мне, пожалуйста, какая разница между такой ложью и ложью обычной? — спрашивает Белая Логика. — Ну-ка, наполни свой стакан и давай рассмотрим, что представляли собой эти мудрые лжецы, которые теснятся на твоих полках. Пороемся немного в Уильяме Джеймсе».

«Это вполне здоровый человек, — говорю я. — Он не нашел философского камня, но зато в его произведениях много устойчивых здоровых мыслей, вполне оптимистичных».

«Помесь рационалиста с сентименталистом, — насмехается Белая Логика. — После всех своих мудрствований он по-прежнему цепляется за бессмертие. Он превращает факты в формулы религии, зрелый ум — в насмешку над разумом. С самой вершины разума Джеймс проповедует отказ от мышления и велит проникнуться слепой верой в лучшее. Какой старый, невероятно старый жонглерский прием метафизиков: устранить разум, чтобы спастись от пессимизма, неизбежно вытекающего из суровой и трезвой работы рассудка.

Эта плоть твоя — действительно ты? Или это нечто постороннее, что принадлежит тебе? Что такое твое тело? Машина, превращающая возбудителя в чувства. Возбудители и чувства запоминаются. Из них создается опыт. Следовательно, твое сознание состоит из таких опытов. Ты каждую минуту представляешь собой лишь то, что ты в эту минуту думаешь. Твое Я является одновременно и объектом, и субъектом. Твое сознание само утверждает вещь и в то же время является вещью. Мыслитель — есть мысль, знающий — знание, обладатель — это то, чем обладаешь.

В конце концов, как тебе прекрасно известно, человек представляет собой лишь сумму изменчивых состояний сознания, поток проходящих мыслей, причем каждая мысль о себе есть новое Я, мириады мыслей — мириады личностей, вечное созидание, которое, однако, никогда не переходит в бытие, — быстро проносящиеся призраки призрачного царства. Но человек не хочет добровольно примириться с этим, он восстает против необходимости исчезнуть самому. Он не желает исчезать. Если уж нужно умереть, то он оживет потом снова!

Он берет атомы и искристые брызги света, отдаленнейшие туманности, капли воды, смутные ощущения, комочки слизи и космические громады, смешивает все это с жемчужинами веры, женской любовью, вымышленными ценностями, жуткими предчувствиями, вызывающими дерзостями и из всего этого строит себе бессмертие, чтобы поразить небеса и сбить с толку грандиозные силы космоса. Он извивается в своей навозной куче и, точно дитя, заблудившееся во тьме среди злых духов, взывает к богам,

стараясь убедить их в том, что он их младший брат, что он только временно пленник и от природы так же свободен, как и они. Какие памятники эгоизма, — мечты и тени мечтаний, что исчезают вместе с мечтателем, перестают существовать, когда перестает существовать он.

В этой жизненной лжи, которую люди нашептывают и передают друг другу, точно заклинания против сил Ночи, нет ничего нового. Заклинатели, знахари и колдуны были отцами метафизики. Ночь и Курносая всегда представлялись человечеству людоедами, подстерегающими путников на дороге жизни. И метафизикам во что бы то ни стало нужно было пробраться мимо них, хотя бы ценой лжи. Они были оскорблены железным законом Экклезиаста, по которому люди умирают, как все другие животные, и конец их одинаков. Верования они превратили в планы, религию и философию — в средства достижения своих целей, искренно думая одолеть Курносую и Ночь.

Блуждающие огни, туман мистицизма, психические гиперболы, душевные оргии, скуление во мраке, колдовской гностицизм, покровы и ткани слов, невнятный субъективизм, искусственное обобщение и нагромождение, онтологические фантазии, психические галлюцинации — вот чем заполнены твои книжные полки. Посмотри на них — все это плоды жалкого бешенства жалких безумцев и пылких бунтовщиков — всех этих твоих шопенгауэров, стриндбергов, толстых и ницше!..

Ну-ка, твой стакан опустел. Наполни его и забудь обо всем».

Я повинуюсь, ибо мозг мой теперь весь во власти причуд алкоголя, и, опоражнивая свой стакан, я цитирую Ричарда Хоуви:

Живи! Жизнь и любовь, как свет и тьма,
Приходят не по нашей воле к нам.
Бери же то, что жизнь дает сама,
Пока ты в пищу не попал к червям.

«Ты в моей власти!» — восклицает Белая Логика.

«Нет, — отвечаю я, в то время как алкоголь до безумия взвинчивает меня. — Я знаю, что ты такое, и не боюсь тебя. Под твоей маской гедонизма скрывается сама Курносая, и твой путь ведет к Ночи. Гедонизм — бессмысленность, это тоже ложь; в лучшем случае — попытка труса найти компромисс».

«Теперь уж ты в моих руках, — прерывает Белая Логика.

Но если так не хочешь жалко жить,
Смотри! — ты волен это прекратить,
Без страха пробуждения потом».

Я вызывающе смеюсь, ибо теперь, в эту минуту, я знаю, что Белая Логика, нашептывающая мне мысли о смерти, сама лжет еще больше других, что она величайшая лгунья. Она сама сорвала с себя маску, ее неумеренная веселость обратилась против нее самой, ее собственные змеи укусами оживили старые иллюзии, воскресили и снова укрепили во мне знакомый голос моей юности. И он тотчас же громко закричал, напоминая мне, что по-прежнему в моей власти — возможности и силы, про которые книги и жизнь твердили мне, что они не существуют.

Когда раздается обеденный гонг, мой стакан уже пуст. Язвительно усмехнувшись Белой Логике, я выхожу, чтобы усесться с гостями за стол и во время обеда с напускной серьезностью толковать о новых журналах и глупостях, совершающихся в мире. При этом я облекаю каждую двусмысленность и колкость в форму парадокса и шутки, а когда настроение меняется, с легкостью и наслаждением начинаю смущать своих собеседников, играя почтенными трусливо-буржуазными фетишами, смеясь, меча эпиграммами в изменчивых богов-призраков, в разгул и безумство разума.

Клоун — вот кем нужно быть в жизни! Клоуном! Раз необходимо быть философом, возьмем уж лучше за образец Аристофана. Никому за столом не приходит в голову, что я выпил; я просто в ударе, вот и все. Умственное напряжение утомляет меня, и когда обед кончен, я усаживаю всех за игры, которыми мы увлекаемся с неимоверным пылом.

Вечер закончился; я прощаюсь на ночь и возвращаюсь в свою обставленную книгами берлогу, к своему ложу, к себе самому и к Белой Логике, непобедимой Белой Логике, которая никогда не покидает меня. Погружаясь в пьяный сон, я все еще слышу в себе рыдающий голос юности, как слышал его Гарри Кемп:

Я слышал юность, взывавшую во тьме:
Исчезла моя прежняя радость жизни;
Нет ничего, на что могли бы опереться мои ноги.
Утро растворяется в день.
Оно не может остановиться ни на секунду.
Оно должно наполнить ширь светом,
Испаряющимся скорее, чем аромат розы.
Моя неожиданная радуга пришла
И вот уже уходит…
Да, я юн, потому что я умираю.

Глава XXXVIII

Я пытался изобразить здесь борьбу с Белой Логикой, совершавшуюся во мраке моей души. Я старался по мере своих сил раскрыть перед читателем тайники человеческой души, одурманенной Джоном Ячменное Зерно. Но читатель должен помнить, что это настроение, на чтение которого он потратил какие-нибудь четверть часа, только одно из тысяч настроений, которые Ячменное Зерно дает человеку тысячи раз в течение дня и ночи.

Мои алкогольные воспоминания подходят к концу. Как всякий сильный, здоровый пьющий, должен открыто заявить, что существую до сих пор на этой планете только благодаря незаслуженному счастью — моей широкой груди, сильным плечам и крепкому сложению. Я уверен, что лишь очень небольшой процент молодежи в возрасте пятнадцати — семнадцати лет, выдержал бы такое пьянство, какому предавался в эти годы я, и что лишь считанные мужчины, поглощая столько алкоголя, сколько поглощал в свои годы я, выжил бы, чтобы рассказать об этом. Я выдержал борьбу с Ячменным Зерном не в силу каких-либо личных добродетелей, а только благодаря тому, что не был алкоголиком от природы и всеми силами необычайно стойко боролся с Ячменным Зерном.

Сколько других, менее счастливых моих попутчиков по этой дороге погибло на моих глазах. Только огромное счастье, случай, удача — назовите, как вам будет угодно, — дали мне возможность пройти невредимым сквозь пламя Ячменного Зерна. Ни жизнь моя, ни характер, ни жизнерадостность не пострадали от этого. Их, правда, немного опалило огнем, но, как это бывает иногда с отчаянными смельчаками, бросающимися на верную смерть, они непонятными, неисповедимыми путями все же вышли из боя невредимыми.

И как те, кто случайно уцелел в кровавой битве, кричат: «Долой войну!», так кричу сейчас и я: «Долой алкоголь!» Единственный способ прекратить войну — это перестать воевать. Единственный способ уничтожить пьянство — это прекратить продавать алкоголь. Китай прекратил всеобщее курение опиума, запретив разводить и ввозить его. Философы, жрецы и врачи тысячу лет до хрипоты твердили о вреде опиума, но пока опиум был доступен всем, курение его продолжалось. Такова уже наша человеческая природа!

Мы прекрасно научились оберегать наших детей от мышьяка, стрихнина, туберкулезной и тифозной заразы, которые могут убить их. Такие же меры следует принять и по отношению к Ячменному Зерну! Уничтожьте его. Не позволяйте ему всюду на законном основании мозолить глаза вашим детям. Я пишу не об алкоголиках и не для алкоголиков, а для нашей молодежи, для тех юношей, в которых трепещет любовь к приключениям, радость к жизни и общественная жилка, для тех, кого наша варварская цивилизация стремится смять и уничтожить, подсовывая им яд на каждом углу. Я пишу это для здоровых, нормальных юношей настоящего и будущего.

Вот почему я спустился в Лунную Долину, предварительно немного выпив и отдав свой голос за предоставление женщинам избирательных прав. Я сделал это, ибо знаю, что женщины — жены и матери, — получив право голоса, навсегда загонят Ячменное Зерно в исторические архивы, где хранятся остатки всех исчезнувших варварских обычаев. Если вам при этом почудится в моем крике нотка личного страдания, вспомните, что я действительно перенес немало тяжелого в этой борьбе. Одна мысль, что моей дочери или сыну может угрожать нечто подобное, приводит меня в ужас.

Женщины — истинные хранительницы нации. Мужчины — прожигатели жизни, искатели приключений, игроки, и в конце концов их почти всегда спасают жены. Одним из первых химических изобретений мужчины был алкоголь, и он не перестает выделывать и пить его до наших дней, но не было

дня, чтобы женщины не боролись против пьянства мужчин, хотя они никогда не имели возможности принять против этого какие-нибудь решительные меры. Как только женщина получает где-нибудь право голоса, она первым делом закрывает кабаки. Мужчины и через тысячу поколений не решатся сделать это по своей инициативе. С таким же успехом можно ожидать, чтобы морфинисты запретили продажу морфия.

Женщины знают, что за пьянство мужчин они заплатили кровавым потом и слезами. Оберегая здоровье нации, они примут меры, чтобы оградить своих будущих сыновей и дочерей.

И это будет так легко. Огорчатся лишь неизлечимые алкоголики, да и то только одного поколения. Я, как один из них, торжественно заверяю на основании долгого знакомства с Ячменным Зерном, что не слишком огорчусь, если придется бросить пить, когда все вокруг меня перестанут делать это и достать спиртные напитки будет невозможно. С другой стороны, большая часть нашей молодежи настолько чужда по своей природе алкоголю, что, не имея к нему доступа, даже не почувствует никакого лишения. Она узнает о кабаках лишь из исторических книг и отнесется к ним, как к чему-то вроде боя быков или сжигания ведьм на кострах.

Глава XXXIX

Конечно, никакая личная повесть не может считаться законченной, пока судьба героя неизвестна до самого последнего момента. В этой книге читатель не найдет исправившегося алкоголика. Я никогда не был алкоголиком и никогда не исправлялся.

Некоторое время тому назад мне пришлось совершить плавание вокруг мыса Горн на паруснике. Путешествие длилось сто сорок восемь дней. Я не захватил с собой спиртного, и хотя виски капитана в любой момент было к моим услугам, за все время я не выпил ни одной рюмки. Я не пил потому, что не чувствовал желания делать это. Никто на борту не пил, подходящей атмосферы не было, а органического влечения к алкоголю я не испытывал.

И тут передо мной стал ясный и простой вопрос: раз это так легко, почему не воздержаться от вина и на суше? Я тщательно взвешивал и обдумывал этот вопрос в течение всех пяти месяцев путешествия. И все это время абсолютно ничего не пил.

В результате на основе своего прежнего опыта я пришел к кое-каким выводам.

Во-первых, я уверен, что на десять или даже сто тысяч человек не всегда найдется один настоящий алкоголик. Употребление спиртных напитков, по моему мнению, — чисто «умственная привычка». Это не то что пристрастие к табаку, кокаину, морфию или другим наркотикам. Влечение к алкоголю возникает исключительно в мозгу. Там же оно развивается и растет, но почвой для него служит общение с людьми. Из миллиона пьющих, пожалуй, ни один не начал пить в одиночестве. Все начинают пить в компании, и привычка к алкоголю укрепляется при этом тысячей возникающих попутно ассоциаций и влияний, о которых я рассказал в первой части этой повести. Эти-то ассоциации и влияния больше всего способствуют развитию привычки к спиртным напиткам. Роль самого алкоголя, по сравнению с ролью общественной атмосферы, в которой его пьют, очень незначительна. Редко можно встретить человека, который чувствовал бы непреодолимое органическое влечение к вину, не привыкнув пить его в компании. Я допускаю, что такие люди существуют, но сам таких никогда не встречал.

За это долгое пятимесячное путешествие я убедился, что алкоголь отнюдь не занимает места среди потребностей моего организма, но зато я обнаружил и другое, а именно, что эта потребность коренится исключительно в уме и общении с людьми. Мысль об алкоголе немедленно вызывала у меня, по ассоциации, представление о дружеской компании, когда же я думал о компании — то ассоциацией был алкоголь. Компания и алкоголь были слиты в моем представлении, как сиамские близнецы. Они никогда не возникали друг без друга.

Читал ли я, лежа на палубе в складном кресле, или беседовал с кем-нибудь из пассажиров, случайное упоминание о какой-либо части земного шара тотчас же вызывало во мне представление о тамошних напитках и друзьях, с которыми я распивал их. Все прекрасные ночи, дни и минуты, все яркие воспоминания и безумства, связанные с этим, начинали тесниться в моей памяти. Я вижу на странице книги слово «Венеция» и тотчас же вспоминаю столики в кафе и на тротуарах. «Битва при Сантьяго», — говорит кто-то, и я отвечаю: «Да, я бывал там». Но я не вижу перед собой ни места битвы, ни Кетл-Хилл, ни Дерево Мира, а только кафе «Венера» на площади Сантьяго, где я однажды знойным вечером пил и беседовал с одним человеком, умиравшим от чахотки.

Я слышу название лондонского Ист-Энда — и передо мной встают освещенные трактиры, а в ушах раздаются крики: «На два пенса горькой!», «На три шотландского!» Латинский квартал… Я сразу вижу себя в студенческом кабачке: вокруг веселые и возбужденные лица, все мы пьем холодный, хорошо очищенный абсент, в то время как взволнованные и хриплые голоса, спорящие о Боге, искусстве, демократии и других

столь же простых проблемах существования, становятся все громче и громче.

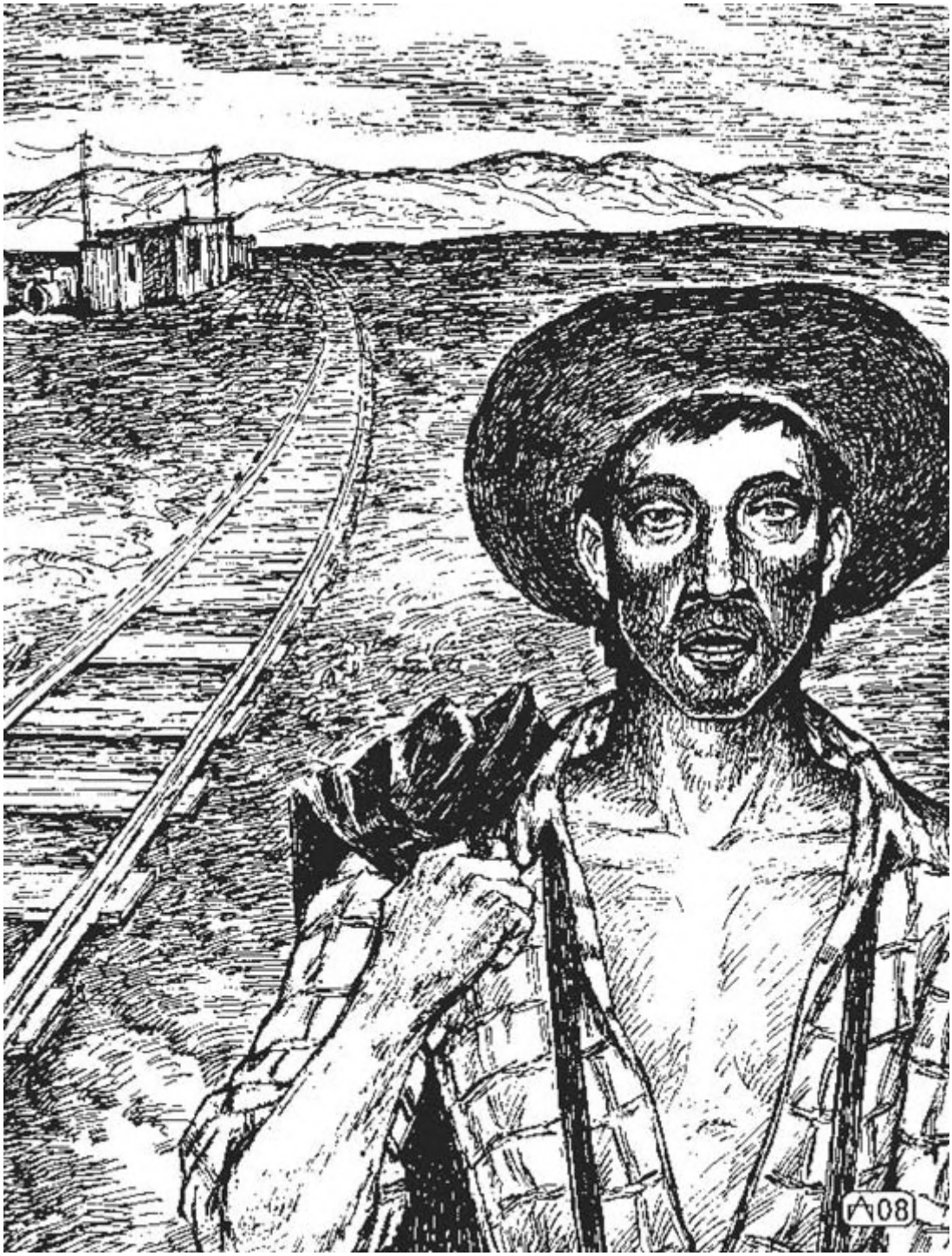
Во время бури в Рио де Ла-Плата мы решаем в случае аварии зайти в Буэнос-Айрес — американский Париж. И в моей памяти тотчас встают залитые светом переполненные кафе, я слышу звон поднятых стаканов, песни, веселье и гул возбужденных голосов. Попав затем в полосу северо-восточных муссонов в Тихом океане, мы уговариваем нашего капитана зайти в Гонолулу; причем, убеждая его, я вспоминаю прохладные террасы, на которых мы так часто пили коктейли и шампанское, что нам подавали на берегу в Вайкики. Кто-то из пассажиров рассказывает, как приготовляют в Сан-Франциско диких уток, и я немедленно переношусь в шумный освещенный зал ресторана и сквозь бокалы золотистого рейнвейна различаю лица старых друзей.

Я пришел в результате к тому заключению, что с удовольствием посещу вновь все эти прекрасные места, но только при одном условии — со стаканом в руке. В этой фразе есть что-то магическое. В ней содержится гораздо больше значения, чем в словах, из которых она состоит. Я всю свою жизнь прожил в атмосфере, которую как нельзя лучше отражает эта фраза — со стаканом в руке. Она сделалась теперь частью меня самого. Я люблю сверкающее остроумие, сердечный смех, звенящие голоса мужчин, когда со стаканом в руке они захлопывают дверь в серый мир и начинают жить новой, безумной, радостной, ускоренной жизнью.

Нет, решил я, при случае я буду пить. Несмотря на мудрые мысли, усвоенные и переработанные мной, я спокойно и сознательно решил продолжать делать то, к чему привык. Я буду пить, но умереннее, осторожнее, чем раньше. Я не позволю себе превратиться снова в ходячий факел и никогда не призову Белую Логику. Теперь я знаю, как уберечь себя от этого.

Белая Логика похоронена теперь рядом с Долгой Болезнью. Ни та, ни другая не станут больше тревожить меня. Долгую Болезнь я похоронил уже много лет назад. Она спит непробудным сном, так же как и Белая Логика. Теперь в заключение я могу сказать лишь одно: я глубоко сожалею о том, что мои предки не уничтожили своевременно Ячменное Зерно. Я жалею о том, что Ячменное Зерно по-прежнему процветает на каждом шагу в том обществе, где я родился. Иначе я не познакомился бы и не сблизился бы с ним до такой степени.

ДОРОГА



Признание

В штате Невада живет женщина, которой я однажды бесстыдно лгал несколько часов подряд. Я не намерен извиняться перед нею. Я далек от этого, но хотел бы объясниться. К несчастью, я не знаю ни ее имени, ни, тем более, ее теперешнего адреса. Если ей случайно попадутся на глаза эти строки, она мне, надеюсь, напишет.

Это было в Рено, в Неваде, летом тысяча восемьсот девяносто второго года. Время было ярмарочное, и город кишмя кишел мелкими жуликами и прощелыгами, не говоря уже об орде голодных бродяг. Голодные бродяги и превратили город в «голодный».

«Тут не раздобудешь жратвы!» — говорили об этом городе бродяги в подобный сезон. Я, по крайней мере, много раз оставался без обеда, хотя мастерски умел «стрелять», «обивать калитки», «набиваться на посиделки» в кухне, «клянчить монетку» на улице. Однажды мне пришлось так круто в этом городе, что я, прошмыгнув под носом носильщика, вскочил в частный вагон некоего путешествующего миллионера. Поезд тронулся в тот момент, когда я прыгнул на площадку, и я наткнулся на хозяина вагона, миллионера, как раз тогда, когда кондуктор одним прыжком нагнал меня. Оба мы достигли каждый своей цели в одно и то же мгновение. Времени для формальностей не оставалось.

— Четвертак на жратву! — гаркнул я.

Клянусь жизнью — миллионер полез в карман и дал мне… ровно… ну, ровнёхонько… двадцать пять центов! Полагаю, он так был ошеломлен, что повиновался машинально, и я потом страшно жалел, что не потребовал доллар. Я уверен, что получил бы его! Я соскочил с площадки вагона, причем кондуктор едва не стукнул меня ногой в физию. Он промахнулся! Очень это опасная затея — соскакивать с нижней ступеньки вагона, в то время как разъяренный эфиоп норовит с площадки тяпнуть тебя по физиономии. Но я получил четверть доллара! Все же получил!

Вернемся, однако, к женщине, которой я беззастенчиво солгал. Это было в последний день моего пребывания в Рено. Я был на ипподроме, на бегах пони, и проворонил обед (или, вернее, полдник). Я был голоден; вдобавок только что был образован комитет общественной безопасности в целях избавления города от голодных бродяг, подобных мне. «Дядя Закон» уже зачерпнул охапку моих собратьев-бродяг, и солнечные долины Калифорнии настойчиво звали меня перемахнуть через холодные гребни Сиерры. Перед тем как отряхнуть с ног прах города Рено, мне оставалось сделать два дела: во-первых, забраться на тормозную площадку багажного вагона в поезде, отходившем на запад ночью; во-вторых, предварительно раздобыть провиант. Пуститься в далекий ночной путь на наружной площадке поезда, с бешеной скоростью несущегося через выемки, туннели и вечные снега поднебесных вершин, и проделать это на пустой желудок — перед этим спасует и сильный юноша. Но «раздобыть провиант» оказалось трудной задачей. Меня выпроводили из доброй дюжины домов. В некоторых из них по моему адресу отпускали обидные замечания и намеки на некоторое помещение за решеткой, которое было бы моим уделом, получи я причитающееся мне по заслугам. И хуже всего то, что эти замечания не слишком далеки были от истины. Вот почему в этот вечер я удирал на запад. «Дядя Закон» гулял по городу, тщательно выискивая голодных и бездомных — для них-то и содержатся заведения за решеткой.

В других домах перед самым моим носом захлопывали дверь, обрывая мои учтивые и скромные просьбы пожертвовать на хлеб. В одном доме мне даже не открыли! Я стоял на крыльце и стучал, а хозяева глядели на меня из окошка. Они даже подняли к окну толстого мальчугана, который через плечи старших рассматривал бродягу, желающего поесть.

Похоже было, что придется обратиться за милостыней в кварталы бедняков. Бедняки — последнее

верное прибежище голодного бродяги. На бедняка всегда можно рассчитывать: он никогда не прогонит голодного! Сколько раз в Соединенных Штатах мне отказывали в куске хлеба в богатых домах на высоком холме и всегда давали поесть у ручья или болота, в маленьких лачужках с разбитыми окнами, заткнутыми тряпьем, откуда выходила хозяйка с изможденным от работы лицом! О филантропы! Идите, поучитесь у бедняков; только бедняки милосердны! Они подают и отказывают не от избытка. У них нет избытка! Они подают то, в чем сами нуждаются, и порой жестоко нуждаются! Они никогда не отказывают. Кость, брошенная собаке, — не милосердие. Милосердие — это кость, разделенная с собакой, когда дающий так же голоден, как собака!

Мне особенно запомнился один дом, из которого меня выпроводили в тот вечер. На крыльцо выходили окна столовой, сквозь стекла я увидел человека, уплетавшего пирог — большой кусок пирога с мясом. Я стоял в раскрытых дверях, и он, разговаривая со мной, продолжал есть. Он пребывал в полном благополучии, и это благополучие вызвало в нем презрение к менее благополучным ближним.

Он оборвал мою просьбу дать мне хлеба, фыркнув:

— Не верю, что ты хочешь работать!

Это было ни к селу ни к городу. Я ведь ни словом не заикнулся о работе! Речь шла о «хлебе». Я и в самом деле не собирался работать. Мне нужно было уехать с ночным поездом на запад.

— Ты же не будешь работать, даже если бы работа нашлась! — дразнил он меня.

Я взглянул на его жену — женщину с кротким лицом — и понял, что если бы не присутствие этого цербера, я получил бы кусок пирога. Но цербер весь зарылся в пирог; я видел, что его нужно умилостивить, иначе я не получу ни крохи. Вздохнув, я решил стерпеть его проповедь о работе.

— Конечно, я хочу работать! — солгал я.

— Не верю! — хрипел он.

— А вы испытайте меня! — продолжал я лгать.

— Ладно, — ответил он. — Приходи на угол такой-то и такой-то улицы (я уж забыл, какой именно) завтра поутру. Знаешь, там, где развалины сгоревшего дома, — я поставлю тебя разбирать кирпичи!

— Хорошо, сэр, завтра буду на месте!

Хрюкнув в ответ, он продолжал есть. Я ждал. Через несколько минут он поднял на меня глаза, в которых было отчетливо написано: «А я думал, ты уже убрался!», и спросил:

— Ну?..

— Я… Я жду чего-нибудь поесть! — смиренно вымолвил я.

— Я так и знал, что ты не хочешь работать! — проревел он.

Он был прав, разумеется; к этому правильному выводу он пришел, должно быть, путем чтения мыслей, ибо логически он ни из чего не вытекал. Но нищий у дверей должен вести себя смиренно, и я принял его логику, как раньше проглотил его нравоучение.

— Видите ли, я уже сейчас голоден, — кротко ответил я. — Завтра утром я буду еще голоднее! Подумайте, как же я буду голоден после целого дня работы с кирпичами! Если вы дадите мне чего-нибудь поесть сегодня, то я завтра буду таскать кирпичи во как!

Он спокойно взвешивал мои доводы, не переставая уплетать пирог; жене явно хотелось замолвить за меня словечко, но она сдержалась.

— Знаешь, что я сделаю? — сказал он между глотками. — Ты приходи завтра утром на работу, и в

полдень я выдам тебе аванс, достаточный, чтобы ты пообедал. Вот и станет понятно, действительно ли ты намерен работать.

— Пока что… — начал было я, но он перебил меня:

— Если я тебя сейчас накормлю, только я тебя и видел! Знаю я вашего брата. Ты посмотри на меня. Я никому не должен. Я никогда не унижался до того, чтобы просить хлеба. Я всегда зарабатывал на свое пропитание! Вся твоя беда в том, что ты ленив и распущен. Я вижу это по твоему носу. Я честно трудился, я сделал из себя то, что ты видишь. И ты добьешься того же, если будешь честно трудиться.

— Как вы? — спросил я.

Увы, мрачная, заскорузлая душа этого человека была чужда юмору.

— Да, как я, — ответил он.

— И это вы посоветуете любому?

— Да, любому и каждому, — уверенно ответил он.

— Но если все станут такими, как вы, — сказал я, — то позвольте заметить вам, что некому будет бросать для вас кирпичи.

Готов поклясться, что в глазах его жены мелькнула искорка смеха! Что до него, то он испугался, но чего? Страшной ли перспективы жить среди исправившихся людей, когда не останется никого, чтобы таскать кирпичи, или же моей наглости — этого мне так и не довелось никогда узнать.

— Некогда мне болтать с тобой! — рявкнул он. — Пошел прочь, неблагодарный щенок!

Я переступил с ноги на ногу в знак готовности убираться и спросил:

— Стало быть, мне не дадут поесть?

Он вдруг вскочил. Это был крупный мужчина. Я был в чужом краю, и «Дядя Закон» разыскивал меня. Я поспешно убрался. «Но почему я неблагодарный? — спрашивал я себя, захлопывая калитку. — Какого черта он назвал меня неблагодарным?» Я оглянулся: он еще виднелся в окне и… уплетал пирог.

Тут я, признаться, пал духом. Я миновал много дверей, не решаясь постучать. У всех домов был одинаковый вид: ни один не выглядел приветливо. Пройдя с полдюжины кварталов, я стряхнул с себя уныние и собрал все свое мужество. Ведь попрошайничество было для меня игрой, и, если мне не нравятся карты, я могу сдать снова. Я решил постучаться в первый же дом. Приблизившись к нему в сгустившихся сумерках, я обошел кругом, ища кухонной двери.

Я легонько постучал, и, когда увидел доброе лицо женщины средних лет, вышедшей на мой стук, меня словно осенило: в голову пришла «история», которую ей следовало рассказать. Надобно вам знать, что успех попрошайки зависит от его умения рассказать хорошую «историю». Первым делом в первое же мгновение попрошайка «примеривается» к избранной жертве. Затем — рассказывает «историю», способную подействовать на ее ум и темперамент. Здесь-то и кроется главная трудность: в момент «примеривания» к жертве он *уже должен начать* рассказывать свою повесть. У него нет ни минуты на подготовку: с молниеносной быстротой раскусив жертву, он должен придумать сказку, которая бы безотказно подействовала. Удачливому бродяге надо быть артистом. Ему следует творить легко и молниеносно, притом тему почерпнуть не из запасов своего воображения, а прочитать ее на лице особы, открывшей дверь, будь то мужчина, женщина или дитя, человек ласковый или хмурый, щедрый или скупой, добродушный или сварливый, иудей или варвар, чернокожий или белый, настроенный братски или с расовыми предрассудками, провинциал или столичный житель, или еще кто-нибудь… Мне не раз приходило в голову, что своим успехом писателя я в значительной мере обязан школе, которую прошел в

дни своего бродяжничества. Чтобы добывать хлеб насущный, я вынужден был сочинять правдоподобные рассказы. У черного хода, под давлением неумолимой нужды, развивается та убедительность и искренность, которые требуются от короткой новеллы. Я думаю, что и реалистом меня сделала моя бродяжническая выучка. Реализм — единственный товар, который можно обменять у кухонных дверей на кусок хлеба!

Искусство в конце концов есть лишь усовершенствованное лукавство, а лукавство часто делает ненужной «историю». Помню, как однажды я лгал в полицейском участке в Виннипеге, в Манитобе. Я ехал на запад по Канадско-Тихоокеанской дороге. Разумеется, полиции нужна была моя «история», и я рассказал ее им с места в карьер. Это были сухопутные крысы, из самых недр материка. Что в данном случае могло быть лучше «морской истории»? На морской сказке они никак не могли бы поймать меня! Вот я и рассказал жуткую повесть моей жизни на дьявольской посудине «Гленмор». (Я как-то видел корабль «Гленмор», стоявший на якоре в заливе Сан-Франциско.)

Я выдал себя за англичанина, отданного на корабль «в науку». Мне ответили, что выговор у меня не английский. В ту же секунду нужно было выкрутиться, и я сказал, что родился и воспитывался в Соединенных Штатах. После смерти родителей я был отправлен в Англию, к дедушке и бабушке. Они-то и отдали меня «в науку» на «Гленмор». Хочу надеяться, что капитан «Гленмора» простит меня за аттестацию, которую я дал ему в тот вечер в полицейском участке Виннипега: жестокий человек, зверь, сатанинская изобретательность в пытках… Неудивительно, что я сбежал с «Гленмора» в Монреале…

Но как же я очутился в центре Канады, по дороге на запад, раз мои дедушка и бабушка живут в Англии? Я мгновенно сочинил себе замужнюю сестру, живущую в Калифорнии; она позаботится обо мне! Я пространно стал расписывать эту «любящую душу». Но жестокосердные полицейские не оставили меня в покое! Я сел на «Гленмор» в Англии; где был и что делал корабль в эти два года, до моего дезертирства в Монреале? И я взял этих сухопутных крыс с собою в кругосветное путешествие. Среди грозных волн, обдаваемые брызгами пены, они перенесли со мной тайфун на высоте Японии! Они грузили и выгружали со мной товары во всех портах Семи Морей! Я таскал их в Индию, в Рангун, в Китай, заставил их рубить вместе со мной льды вокруг мыса Горн и, наконец, ошвартоваться в Монреале!

Они попросили меня подождать минутку. Один из полицейских вышел куда-то в ночную тьму, в то время как я грелся у печки, ломая себе голову над вопросом: какую еще ловушку они мне подстроят?

Увидев *«его»*, входящего вместе с полицейским, я испустил мысленный стон: не комедией были вдетые в его уши золотые сережки; не степные ветры превратили эту кожу в морщинистый пергамент; не снежные метели, не шатание по горным склонам сообщили ему эту походку, напоминавшую качку судна! В глазах же, устремленных на меня, я сразу увидел, что он разгадает меня. Вот так загвоздка! А тут еще за мной наблюдают полдесятка полицейских, а я ведь никогда не плавал в китайских морях, не огибал Горна, не видел ни Индии, ни Рангуна!

Положение было отчаянное. Катастрофа была неизбежна; она воплотилась для меня в образ этого обветренного, с золотыми серьгами в ушах сына моря! Кто он? Что он собой представляет? Я должен разгадать его прежде, чем он разгадает меня! Я должен твердо определиться, иначе все эти злые полицейские переправят меня в тюремную камеру, в полицейский суд. Если он спросит меня первый, раньше, чем я раскушу его, я пропал!

Вы думаете, я выдал свое отчаянное положение зоркоглазым блюстителям общественного порядка в Виннипеге? Нет, сто раз нет! Я встретил пожилого матроса с улыбкой и радостью в глазах, с облегченным видом утопающего, вдруг ощутившего в слабеющей руке спасательный круг. Вот человек, который поймет и сможет подтвердить мой правдивый рассказ этим ищейкам, ничего не смыслящим в морском деле! Так, по крайней мере, я старался себя держать. Я накинулся на него, засыпал его вопросами о нем самом. Мне

нужно было выяснить личность моего спасителя раньше, чем он начнет спасать меня.

Он оказался добродушным матросом, «легкой мишенью». Я долго расспрашивал его, и полицейские начали терять терпение. Наконец один приказал мне замолчать; я замолчал, но мысленно сочинял сценарий следующего акта. Я достаточно узнал для начала! Он француз. Он плавал только на французских судах, если не считать одного плавания на английском корабле. А главное — о, радость! — он уже двадцать лет не был на море!

Полицейский предложил ему проэкзаменовать меня.

— Ты останавливался в Рангуне? — спросил он.

Я утвердительно кивнул.

— Мы там ссадили нашего третьего штурмана. Горячка!

Если бы он спросил меня, какая горячка, я собирался ответить «энтерическая»; убейте меня, если я знаю, что это такое! Но он не задал этого вопроса. Вместо того он поинтересовался:

— А как было в Рангуне?

— Ничего. Дождь лил все время, пока мы там стояли.

— На берег отпускали?

— Понятно! — ответил я. — Мы, трое юнг, ездили на берег.

— Храм видели?

— Какой храм? — уточнил я.

— Большой, с широкой лестницей.

Знай я, что там есть храм, я сумел бы описать его. Пропасть разверзлась передо мной.

Я покачал годовой.

— Его видно отовсюду в порту, — заметил он. — Чтобы увидеть этот храм, нет надобности сходить на берег!

Никогда еще в своей жизни я не ощущал такой ненависти к храмам. Всю ее я сосредоточил на этом рангунском храме.

— Его не видно из порта, — стал я возражать. — Его не видно из города. Его не видно и с вершины лестницы. Потому что… — и я сделал паузу, чтобы усилить эффект, — потому что там вовсе нет храма.

— Но ведь я видел его своими глазами! — воскликнул он.

— Это было… — спросил я.

— В семьдесят первом.

— Храм разрушен великим землетрясением тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года! — объяснил я. — Он был такой ветхий…

Наступило молчание. Перед своим мысленным взором он, наверное, старательно восстанавливал свое юношеское видение — образ храма у моря.

— Но лестница еще существует, — утешил я его. — Ее видно отовсюду в порту. А помните островок справа от входа в порт? — Видимо, был такой островок (я приготовился уже передвинуть его влево), потому что он кивнул. — Исчез! — добавил я. — На том месте теперь семисаженная глубина!

Я перевел дух. Покуда он размышлял о превратностях времени, я подготавливал заключительные

штрихи своей истории.

— А помните таможню в Бомбее?

Он помнил ее.

— Сгорела дотла! — объявил я.

— А ты помнишь Джима Уоэна? — задал он мне вопрос в свою очередь.

— Помер, — сказал я, не имея ни малейшего понятия, кто такой Джим Уоэн.

Опять подо мной затрещал лед!

— Помните Билли Харпера из Шанхая? — быстро спросил я.

Пожилой моряк добросовестно старался вспомнить, но сочиненный мною Билли Харпер оказался не по силам его ослабевшей памяти.

— Да вы, наверное, помните Билли Харпера, — настаивал я. — Его все знают! Он жил там сорок лет. Так вот, он все еще там!

И тут свершилось чудо! Матрос вспомнил Билли Харпера! Может быть, существовал какой-нибудь Билли Харпер; может быть, он жил в Шанхае сорок лет кряду и все еще находился там; но для меня это было совершенной новостью.

Еще добрых полчаса беседовали мы с матросом на такой манер. В конце концов он сказал полицейским, что я тот, за кого себя выдаю; переночевав у них и позавтракав, я был отпущен на волю и мог продолжать путешествие к моей замужней сестре в Сан-Франциско.

Но вернемся к женщине из Рено, которая открыла мне дверь в сумерках. Первый же взгляд на ее доброе лицо надоумил меня, как себя вести. Я превратился в смирного, невинного, несчастного паренька… Я не мог даже заговорить. Я раскрыл рот и снова закрыл его. Никогда еще в жизни я не попрошайничал. Растерянность моя была так тягостна, так очевидна! Я просто сгорал от стыда. Я, считавший попрошайничество приятным озорством, превратился в истого сына миссис Грэнди, классической мещанки, зараженного всеми ее буржуазными предрассудками. Только острые муки голода могли, мол, толкнуть меня на такое унизительное и гнусное дело, как протягивание руки за куском… И я постарался изобразить на лице всю нерешительность изголодавшегося и простодушного юноши, не привыкшего просить милостыню.

— Ты голоден, бедный мальчик? — спросила она.

Я заставил ее заговорить раньше меня.

Я кивнул и всхлипнул.

— Я первый раз в жизни… прошу, — пролепетал я.

— Ну, входи! — Дверь распахнулась. — Мы уже кончили обедать, но печь еще топится, и я приготовлю тебе чего-нибудь…

Повернув меня к свету, она внимательно осмотрела меня.

— Если бы мой мальчик был так же здоров и силен! — проговорила она. — Но он слабенький. Иногда падает… Да вот нынче вечером он упал и сильно расшибся, бедняжка…

Голос ее был так ласков, и такая в нем была нежность, что мне захотелось стать поближе к ней. Я взглянул на ее мальчика. Он сидел за столом, худой и бледный, с забинтованной головой. Он не шевелился, но глаза его, блестевшие при свете лампы, были устремлены на меня с выражением

застывшего удивления.

— Совершенно, как мой бедный папа! — сказал я. — У папы была падучая. Какое-то там головокружение. Доктора становились в тупик! Никак не могли определить, что с ним такое…

— Он умер? — осторожно спросила она, кладя передо мною штук пять яиц, сваренных всмятку.

— Умер, — всхлипнул я. — Две недели тому назад. Я был при нем в это время. Мы переходили улицу. Он упал и не пришел больше в сознание. Его отнесли в аптеку. Там он скончался…

Я стал размазывать жалостную историю моего отца: как мы с ним после смерти моей мамы отправились в Сан-Франциско с нашего ранчо; как мы прожили его пенсию (он, видите ли, был отставной военный) и небольшие деньжонки, которые у него были в запасе, и как он пробовал стать агентом по распространению книг. Я расписал также свои бедствия в первые несколько дней после его смерти, когда я скитался, одинокий и бездомный, по улицам Сан-Франциско.

Покуда добрая женщина поджаривала для меня хлеб и сало и варила новую порцию яиц, я зорко следил за всем окружающим, все учитывая, и размалевывал образ сочиненного мною сиротки, дополняя его новыми деталями. Я впрямь сделался этим «бедным мальчиком». Я поверил в него так же живо, как поверил в чудесные яйца, которые уплетал. Я чуть не плакал над самим собой. Помню, временами в моем голосе слышались неподдельные слезы. И это действовало.

И после каждого штриха, который я прибавлял к картине, добрая душа подносила мне еще чего-нибудь. Она приготовила мне завтрак — в дорогу. Она положила мне в узелок вареных яиц, соли и перцу, хлеба и большое яблоко. Она снабдила меня тремя парами толстых красных шерстяных носков, надавала мне чистых носовых платков и других вещей — я уж и забыл, чего именно. И все время стряпала и стряпала, а я ел да ел! Я обжирался, как дикарь. Но ведь мне предстояло совершить далекий путь через Сиерру на площадке багажного вагона, и кто знает, где мне доведется поесть в следующий раз? И все это время, как фигура смерти на пиршестве, безмолвный и неподвижный, сидел и глазел на меня через стол ее собственный несчастный мальчик. Полагаю, я воплощал для него тайну, романтику, приключение — все, чего был лишен он, эта слабо тлевшая искорка жизни. Раз или два я поймал себя на мысли: а не видит ли он меня насквозь, до самого дна моей лживой душонки?

— Куда же ты направляешься? — спросила меня женщина.

— В Солт-Лейк-Сити — город Соленого Озера, — ответил я. — У меня там живет замужняя сестра. (Я подумал: не превратить ли ее в мормонку, но решил, что не стоит). Муж ее водопроводчик — занимается подрядными работами…

Я хорошо знал, что подрядчики водопроводных работ зашибают уйму денег. Но слово уже вылетело — надо было теперь как-то закрепить сказанное.

— Они бы мне прислали денег на дорогу, если бы я попросил, — продолжал я, — но они болели, а тут еще и деловые неприятности! Компаньон надул его! Так я и не стал просить у них ничего. Я рассчитывал как-нибудь добраться своими силами. Они и решили, что у меня хватит денег добраться до Солт-Лейк-Сити. Сестра моя — хорошая, добрая женщина. Она всегда была ласкова со мной. Придется, видно, поступить мне в мастерскую и изучить это дело! У нее две дочки, помоложе меня. Одна совсем малютка…

Из всех моих замужних сестер, которых я разбросал по всем городам Соединенных Штатов, эта сестра из Солт-Лейка — самая любимая. Это рослая матрона, чуть полноватая, из тех, знаете, женщин, что вечно стряпают вкусные вещи и никогда не раздражаются. Она брюнетка. Муж ее — степенный, покладистый человек. Иногда мне начинает казаться, что мы с ним хорошо знакомы. И кто знает, не встречу ли я его когда-нибудь? Если тот пожилой матрос мог вспомнить Билли Харпера, я не вижу причин, почему бы и мне

не встретить когда-нибудь мужа моей сестры, живущей в Солт-Лейк-Сити!

С другой стороны, я уверен, что никогда не встречу во плоти моих многочисленных родителей и прародителей — ведь я неизменно отправлял их на тот свет. Разрыв сердца — излюбленный способ, которым я избавлялся от матери; впрочем, иногда я расправлялся с ней при помощи чахотки, воспаления легких и тифа. Правда, в Англии у меня были дед и бабка, что могут подтвердить виннипегские полисмены; но это было давно, и весьма вероятно, что сейчас их уже нет в живых. Во всяком случае, они мне ни разу не писали.

Хочу надеяться, что женщина из Рено прочтет эти строки и простит мне мое бесчувствие и лживость! Я не приношу извинений, ибо мне не стыдно. Молодость, вкус к жизни и жажда приключений привели меня к ее порогу. Эта ложь принесла мне пользу. Она позволила мне обнаружить врожденную доброту человеческой натуры. Надеюсь, что и она ничего не потеряла. Во всяком случае, она может теперь от души посмеяться над прошлым, узнав правду.

Для нее моя басня была правдой. Она поверила и в меня, и в мою семью, ее озаботило предстоявшее мне опасное путешествие в Солт-Лейк-Сити. Эта заботливость чуть не накликала на меня беды. Когда я уже уходил, нагруженный едой, с карманами, оттопырившимися от шерстяных носков, она вдруг вспомнила какого-то не то племянника, не то дядю — словом, родича, служившего на перевозках почты; в этот вечер он должен был ехать с тем самым поездом, на котором я собирался пристроиться зайцем. Как удачно сложилось! Она проводит меня в депо, расскажет ему мою историю, и он спрячет меня в почтовом вагоне. И я без всяких хлопот и риска доеду до самого Огдена, а оттуда всего несколько миль до Солт-Лейк-Сити… У меня сердце упало. Развивая этот план, она все больше одушевлялась, и я скрепя сердце вынужден был симулировать необузданный восторг, радоваться этому выходу из моих затруднений.

Выход? Черт возьми, мне надо было ехать на запад, а тут извольте отправляться на восток! Я попал в настоящий капкан, и у меня не хватило духу признаться ей, что я самым гнусным образом наврал. Итак, разыгрывая восторг, я напряженно ломал себе голову, как бы вывернуться? Но выхода не было. Женщина объявила, что непременно самолично посадит меня в почтовый вагон и этот ее почтовый родич отвезет меня в Огден. Оттуда мне пришлось бы проделать обратно все эти сотни миль лишнего пути!

Но счастье сопутствовало мне в этот вечер. Уже собравшись нацепить шляпу с тем, чтобы пойти провожать меня, она спохватилась, что ошиблась. Ее родич не должен был проезжать в этот вечер. Расписание изменилось. Он должен был появиться только через два дня. Я был спасен, ибо, конечно, по молодости невозможно отложить свои планы на двое суток. Я оптимистически стал уверять ее, что доберусь до Солт-Лейк-Сити скоро, если отправлюсь немедленно, и ушел, осыпанный ее благословениями и добрыми пожеланиями, еще долго звучавшими в моих ушах.

Но ее шерстяные носки были бесподобны! Говорю это с полным знанием дела. На мне была пара ее носков в этот вечер: я ехал на багажной площадке прямого поезда, и этот поезд мчался на запад…

Держись!

Если исключить несчастные случаи, то сильный бродяга, молодой и ловкий, может удержаться на поезде, несмотря на все усилия поездной бригады «спихнуть» его: разумеется, существенным условием такого успеха является ночная пора. Когда бродяга в подобных условиях скажет себе, что должен удержаться на поезде, то либо он удержится, либо… поезд его не удержит. Нет такой меры, исключая, может быть, прямое убийство, перед которой остановилась бы поездная бригада в стараниях «спихнуть» бродягу. Что кондуктора не останавливаются ни перед чем, кроме убийства, в этом все бродяги мира твердо уверены. Не пережив такого опыта в моей личной бродяжнической жизни, я не могу поручиться за это.

Но вот что я слыхал о «дурных» дорогах. Если бродяга заберется под вагон на перекладины и поезд тронется, то, кажется, нет никаких способов выгнать его оттуда, пока поезд не остановится. Уютно пристроившись под товарным вагоном на брусьях, окруженный четырьмя колесами и целой сетью скреплений, бродяга может плевать на бригаду — по крайней мере, так он думает, пока в один прекрасный день не попадет на «дурную» дорогу. Дурная дорога — это такая железная дорога, на которой бродягами были убиты один или несколько железнодорожников. Да смилуется Небо над бродягой, попавшим под вагон на такой дороге, — его поймают, хотя бы поезд делал шестьдесят миль в час.

Тормозной кондуктор берет болт для сцепки вагонов и веревку на платформу перед тем товарным вагоном, под которым едет бродяга. Кондуктор привязывает этот болт к веревке и спускает ее между вагонами, ослабляя понемногу. Болт ударяется о шпалы между рельсами, отскакивает, ударяется о дно вагона и опять ударяется о шпалы. Кондуктор водит веревку взад и вперед, переносит ее то вправо, то влево, то отпустит веревку, то подтянет снова, дает возможность своему оружию отскакивать во всех направлениях. Каждый удар этого пляшущего болта несет верную смерть, а при скорости в шестьдесят миль в час он выбивает по нижней части вагона настоящую барабанную дробь смерти! На другой день останки бродяги подбирают на полотне и в местной газете этому происшествию посвящается одна строчка — говорится о «неизвестном, вероятно, — бродяге, вероятно, — пьяном, который, как видно, расположился спать на рельсах».

Чтобы привести пример выносливости способного бродяги, я расскажу следующий случай. Я находился в Оттаве, и я собирался ехать на запад по Канадско-Тихоокеанской дороге. Передо мной простиралось три тысячи миль этой дороги; дело было осенью, и мне нужно было пересечь Манитобу и Скалистые Горы. Я имел все основания ожидать ненастья, и каждая минута отсрочки усиливала вероятные тяготы путешествия. Кроме того, я был в отвратительном настроении. Расстояние между Монреалем и Оттавой составляет сто двадцать миль. Я должен был бы это знать, ибо только что исходил пешком этот участок, что отняло у меня шесть суток. Но по оплошности я пропустил магистральную линию и вышел на малую объездную ветку, по которой ходили лишь два местных поезда в сутки. Все эти шесть дней я питался сухими корками, да и их было мало, а выпрашивал я их у окрестных французов-крестьян.

Мое дурное настроение еще больше усилилось после проведенного в Оттаве дня в тщетных попытках раздобыть одежду для предстоящего далекого путешествия. Позвольте заметить, что Оттава, за одним исключением, самый жестокосердный город в Соединенных Штатах и Канаде по части выпрашивания платья; исключением является Вашингтон в округе Колумбия. Этот город — предел всего! Здесь я провел как-то две недели, напрасно выпрашивая пару башмаков; я получил их только тогда, когда перешел в Джерси-Сити.

Но вернемся к Оттаве. В восемь утра я вышел на охоту за одеждой. Я энергично работал весь день.

Готов поклясться, что я прошел сорок миль. Я опросил хозяек чуть ли не тысячи домов. Я даже не отказывался от работы только за обед! И вот к шести часам вечера, после десятичасового неослабного и изнурительного труда, у меня не было еще рубашки, а штаны, которые мне удалось выклянчить, были тесны и, кроме того, обнаруживали признаки преждевременного распада.

В шесть часов я бросил работу и направился к железнодорожной станции, рассчитывая по пути добыть какую-нибудь пищу. Но неудача преследовала меня. Я обходил дом за домом, везде получая отказ. Наконец я получил подачку. Я воспрянул духом: это была крупнейшая подачка, какую я когда-либо видел за свою продолжительную и разнообразную практику. Пакет, завернутый в газету, большой, как чемодан! Я поспешил в укромное местечко и развернул его. Первым делом я увидел пирожное, потом еще пирожное, всевозможные сорта и виды пирожного и печенья. И это досталось мне, больше всего на свете ненавидевшему пирожное! В другом веке и в другом климате я, может быть, сидел бы и плакал на реках вавилонских. А теперь сидел на пустыре гордой столицы Канады и плакал… над грудой пирожных! Как человек смотрит на лицо мертвого сына, так и я смотрел на эту разбросанную кондитерскую; должно быть, я неблагодарный бродяга, ведь я отказался насладиться щедротами дома, в котором накануне была вечеринка! Вероятно, и гостям пирожные пришлись не по вкусу.

Эти пирожные были кризисом в моей судьбе. Хуже этого ничего не могло быть — значит, дела должны пойти на поправку! Так оно и вышло. Уже в следующем доме меня пригласили «посидеть». «Посидеть» — верх блаженства для бродяги. Вас вводят в комнату, очень часто дают возможность помыться, а потом усаживают за стол. Бродяги очень любят вытянуть ноги под столом. Дом, куда меня пригласили, был большой и уютный, стоял посреди широкого двора и чудесных деревьев, довольно далеко от улицы. Домочадцы только что окончили обед, но меня привели прямо к столу. Это уже само по себе было удивительное событие; обычно бродяга, которому выпадает счастье получить приглашение «посидеть», счастье это вкушает в кухне. Приветливый седоватый англичанин, его степенная жена и хорошенькая молодая француженка беседовали со мной, пока я ел.

Интересно знать, помнит ли эта хорошенькая молодая француженка, каким смехом она залилась тогда, когда я на варварски изуродованном «французском» языке попросил у нее «монетку». «Что такое?» — переспросила она. Я повторил. Она залилась неудержимым серебристым смехом…

Придя на станцию, я, к большому моему огорчению, застал там десятка два бродяг, тоже поджидавших случая вскочить на тормозную площадку тихоокеанского поезда. Двое-трое бродяг на тормозной площадке — ничего. Они незаметны. Но два десятка! Это грозило осложнениями. Никакая поездная бригада не позволит проехать всем!

Теперь я вам объясню, что такое тормозная площадка. Некоторые почтовые вагоны строятся без дверей на концах — это так называемые «слепые» вагоны. В почтовых же вагонах, снабженных на конце дверями, эти двери всегда заперты. Представьте себе, что поезд тронулся и бродяга вскочил на площадку одного из таких «слепых» вагонов. Двери нет или дверь заперта. Ни кондуктор, ни смазчик тормозов не могут добраться до бродяги, чтобы потребовать от него билет или «спихнуть» его. Ясно, что бродяга находится в безопасности до первой остановки поезда. Там он должен спрыгнуть, побежать вперед впотьмах и, когда поезд тронется, опять вскочить на площадку. Но это, как вы увидите, не так-то легко.

Когда поезд тронулся, двадцать бродяг всей оравой ринулись на три площадки. Они взобрались на них еще прежде, чем поезд успел отойти на длину вагона. Это были неуклюжие олухи — и я стал свидетелем их бесславного конца. Разумеется, поездная бригада все видела, и на первой же остановке пошла потеха. Я соскочил с площадки и побежал вперед по полотну. Я заметил, что за мной следует несколько бродяг. Они, видно, знали свое дело. Кто хочет ехать на поезде прямого сообщения, тот всегда должен держаться на остановках впереди поезда. Я побежал вперед, да так быстро, что следовавшие за

мной поотставали один за другим. Это была проверка мастерства и самообладания при атаке поезда.

Вот как это происходит: когда поезд трогается, кондуктор обычно стоит на одной из «слепых» площадок. Он не может попасть в поезд иначе, как соскочив со «слепой» площадки и вскочив на такую, где есть дверь в вагон. Если поезд идет с такой скоростью, что кондуктор отваживается рискнуть, он соскакивает с площадки на платформу, пропускает несколько вагонов и вновь вскакивает на поезд. И вот бродяга должен забежать вперед настолько, чтобы, прежде чем с ним поравняется площадка, кондуктор уже соскочил с нее.

Я оставил за собой последнего бродягу приблизительно в пятидесяти футах и стал ждать. Поезд тронулся. Я заметил фонарь кондуктора на первой тормозной площадке. Он ехал на ней. И видел олухов, беспомощно стоявших у рельсов, когда площадка прошла мимо. Они и не пытались вскочить на нее. Они в самом начале проиграли из-за собственного невежества. После них показались бродяги, немножко знавшие толк в игре. Они пропустили первую площадку, занятую кондуктором, и вскочили на вторую и третью. Разумеется, кондуктор соскочил с первой площадки, вскочил на вторую, когда она прошла мимо, и «спихнул» стоявших на ней. Я же находился так далеко впереди, что, когда первая площадка поравнялась со мной, кондуктора уже не было на ней — он возился с бродягами на второй площадке. С полдюжины более искушенных бродяг, забежавших достаточно далеко вперед, также вскочили на первую площадку.

На следующей остановке, когда мы побежали по полотну вперед, я насчитал пятнадцать человек. Пятерых уже не было в поезде. Опять начался процесс «выпалывания», и он продолжался на каждой станции. Нас осталось четырнадцать, потом двенадцать, потом одиннадцать, потом девять, потом восемь. Это напомнило мне детскую песенку о десяти негритятах. Я решил, твердо решил, быть последним негритенком! Почему бы нет? Разве судьба не наделила меня силой, ловкостью и молодостью? (Мне исполнилось восемнадцать, и я был совершенно здоров.) Разве у меня не было выдержки? Я был король среди бродяг. А все другие бродяги разве не были дубины, олухи, дилетанты по сравнению со мной? Если я не останусь на поезде последним, так лучше мне сразу бросить игру и поступить на какую-нибудь ферму разводить клевер!

К тому времени, когда нас осталось только четверо, вся кондукторская бригада заинтересовалась игрой. С этой минуты началось настоящее состязание в уме и ловкости, причем все шансы были на стороне бригады. Один за другим трое бродяг отстали — и я остался один. Как я гордился собой! Кажется, никакой Крез не гордился так своим первым миллионом. Я удержался на поезде, несмотря на двух смазчиков, одного кондуктора, кочегара и машиниста.

Вот как я добивался этого. Я бегу впотьмах вперед — так далеко вперед, что кондуктор, стоящий на первой площадке, обязательно должен соскочить с нее прежде, чем она поравняется со мной. Отлично — я спокоен до ближайшей станции. Когда эта станция достигнута, я опять бросаюсь вперед, чтобы повторить маневр. Поезд трогается. Я наблюдаю его приближение. На площадке не видно фонаря. Неужели бригада отказалась от борьбы? Не знаю. Никогда нельзя этого знать — и всегда нужно быть готовым ко всему! Когда моя площадка поравнялась со мной, я бегу рядом, напрягая зрение, чтобы разглядеть кондуктора на площадке. Насколько я понимаю, он должен быть здесь с потушенным фонарем, и в то мгновение, когда я вскочу на ступеньку, этот фонарь может треснуть меня по голове. Я знаю это: раза два-три меня дубасили фонарями.

Нет. На первой площадке пусто. Поезд ускоряет ход. Я в безопасности до следующей станции… Но так ли это? Я чувствую, что поезд замедляет ход. Мгновенно я настораживаюсь. Против меня задуман какой-то маневр — и я не знаю, в чем он состоит. Я озираюсь направо и налево, не забывая в то же время тендера, находящегося передо мной. Я могу подвергнуться атаке с любого из этих трех направлений или разом со всех трех.

А, вот оно что! Кондуктор был на паровозе. Первое предостережение я получил, когда его ноги застучали по ступенькам с правой стороны площадки. С быстротой молнии я соскочил с площадки налево и побежал вперед, обгоняя паровоз. Положение такое же, каким оно было с первой минуты, когда поезд вышел из Оттавы. Я впереди, и поезд должен пройти мимо меня. У меня хорошие шансы вскочить.

Я напряженно жду. Вижу, что к паровозу приближается фонарь, но не вижу, чтобы он удалялся от паровоза, стало быть, он все еще на паровозе, и можно предположить, что к ручке этого фонаря приделан кондуктор. Кондуктор ленивый, иначе он потушил бы фонарь, вместо того чтобы закрывать его рукой, приближаясь. Поезд начинает двигаться. Первая площадка не занята, и я вскакиваю на нее. По-прежнему поезд замедляет ход, кондуктор с паровоза перескакивает на площадку с одной стороны, а я соскакиваю с другой и бегу вперед.

Поджидая поезд во тьме, я испытываю прилив неподдельной гордости. Скорый поезд дважды останавливался из-за меня, из-за меня, бедного бродяги! Я дважды останавливал скорый поезд со множеством пассажиров и вагонов, с почтой, с двумя тысячами паровых сил, сосредоточенных в паровозе! А ведь и весу-то во мне всего сто шестьдесят фунтов, и в кармане у меня нет и пяти центов.

Опять я вижу, что фонарь приближается к паровозу. Но на этот раз он приближается демонстративно. Слишком демонстративно для моих интересов, и я недоумеваю, в чем дело. Во всяком случае, теперь мне надо бояться не столько кондуктора с паровоза, сколько чего-то другого. Поезд трогается. Вовремя не успев сделать прыжка, я разглядел темную фигуру кондуктора без фонаря на первой площадке. Я пропускаю ее и готовлюсь вскочить на вторую. Но кондуктор соскочил с первой площадки и бежит за мной по пятам. Бегло замечаю фонарь кондуктора, выехавшего на паровозе. Он соскочил, и теперь оба кондуктора бегут за мной. В следующее мгновение проносится вторая площадка, и я на нее вскакиваю. Но я не задерживаюсь на ней. Я рассчитал свой контрманевр. Перебегая через площадку, я слышу тяжелый удар сапог кондуктора по ступенькам, соскакиваю по другую сторону и бегу вперед вместе с поездом. Мой план заключается в том, чтобы забежать вперед и вскочить на первую площадку. Это рискованный шаг, ибо поезд ускоряет ход. Кроме того, по пятам за мной бежит кондуктор. Должно быть, я хороший бегун: я вскакиваю на первую площадку! Я стою на ступеньках и жду преследователя. Он отстал приблизительно на десять футов и бежит очень быстро, но поезд уже достиг своей нормальной скорости, и кондуктор кажется мне стоящим на месте. Я поощряю кондуктора, протягиваю ему руку, но он разражается скверным ругательством, отказывается от погони и вскакивает на поезд, пропустив несколько вагонов.

Поезд мчится вперед, я хохочу про себя, и вдруг, без предупреждения, меня окачивает струя воды! Кочегар направил на меня пожарный рукав с паровоза! Я перехожу с площадки вагона на заднюю часть тендера, где меня защищает навес. Вода безвредно бьет через мою голову. У меня руки чешутся взобраться на тендер и ошарашить кочегара глыбой угля; но я знаю, что если я это сделаю, то они с машинистом убьют меня, и потому воздерживаюсь.

На следующей остановке я соскакиваю и бегу вперед в темноте. На этот раз, когда поезд трогается, оба кондуктора находятся на первой площадке. Я разгадываю их план: они отрезали путь к повторению моей первой штуки! Я не могу опять вскочить на вторую площадку, перебежать ее и вскочить на первую. И когда первая площадка проходит мимо и я не вскакиваю на нее, они соскакивают с поезда в обе стороны. Я бросаюсь на первую площадку, зная, что через мгновение оба кондуктора одновременно вскочат на площадку справа и слева. Это ловушка. Оба пути заграждены. Но есть еще один путь — путь вверх!

Я не жду приближения преследователей. Я взбираюсь по отвесному переплету площадки и становлюсь на колесо ручного тормоза. Это отнимает некоторое время; я слышу стук кондукторских сапог по обе стороны площадки. Я не останавливаюсь взглянуть на кондукторов. Я вытягиваю руки вверх и касаюсь загнутых концов крыши двух вагонов. Одна рука на краю крыши одного вагона, другая — на крыше

другого вагона. К этому времени оба кондуктора поднимаются по ступенькам. Я знаю это, но мне некогда посмотреть на них. Все это совершается в несколько секунд. Я подбираю ноги и подтягиваюсь. И когда я уже подобрал ноги, кондуктора протягивают руки и хватают… пустоту! Я знаю это: я гляжу вниз, вижу их, слышу их ругательства.

Положение мое теперь довольно шатко: я держусь за концы покатых крыш двух вагонов. Быстрым, отчаянным движением я переношу обе ноги на загнутый кверху край одной крыши, а руки — на край другой. Затем переползаю наверх, на крышу, где могу передохнуть, ухватившись за вентилятор, возвышающийся над крышей. Теперь я наверху поезда, я «накрыл его», как говорят бродяги. Должен сказать вам теперь же, что только молодой и сильный бродяга может «накрыть» пассажирский поезд, да и этому молодому и сильному бродяге нужно обладать большим присутствием духа!

Поезд ускоряет ход, и я знаю, что нахожусь в безопасности до следующей остановки, но только до остановки. Если я останусь на крыше после остановки поезда, кондуктора забросают меня камнями. Здоровый кондуктор может метнуть на крышу вагона восемь здоровых кусков угля весом этак от пяти до двадцати фунтов. С другой стороны, весьма вероятно, что на остановке кондуктора будут ждать моего спуска в том месте, где я поднимался наверх. Стало быть, надо перебраться на какую-нибудь другую площадку.

Мысленно горячо помолившись, чтобы на следующей полумиле не попались туннели, я встаю и прохожу по крышам пяти-шести вагонов. И позвольте сказать вам, что, совершая такой поход, надо забыть, что такое страх. Крыши пассажирских вагонов не созданы для ночных прогулок. Если некто полагает иначе, то пусть он сам испробует это. Пусть он погуляет по крыше качающегося и подпрыгивающего вагона, держась за черную пустоту, а когда дойдет до загибающегося конца крыши, мокрого и скользкого от росы, пусть ускорит шаг, пусть переступит на следующую крышу, мокрую и скользкую! Поверьте мне, он узнает наверняка, крепкое ли у него сердце и не подвержен ли он головокружениям?..

Когда поезд замедлил ход, я спустился вагонов за шесть от того места, где «накрыл» поезд. На площадке никого! Поезд останавливается, и я соскакиваю наземь. Впереди между мной и паровозом движутся два фонаря. Кондуктора ищут меня на крышах вагонов! Я замечаю, что вагон, у которого я стою, четырехколесный: это значит, что у него только четыре колеса на каждой тележке. (Когда едете под вагоном, избегайте «шестиколесных»: это верная гибель!)

Я ныряю под поезд, сажусь под вагоном на брусья и, могу вам сказать, отчаянно рад тому, что поезд еще стоит. Я впервые нахожусь под вагоном Канадско-Тихоокеанской дороги, и внутреннее устройство его мне незнакомо. Пытаюсь перелезть через верх тележки, между тележкой и дном вагона. Но пространство узко, и мне не протиснуться. Это новость. В других местах Соединенных Штатов я привык ездить под быстро мчащимися поездами: раскачиваясь, я, бывало, цепляюсь ногами за тормозной брус, оттуда перелезаю на верх тележки и внутри этой тележки усаживаюсь на перекладине.

Ощупав руками тележку, я убеждаюсь, что между тормозным брусом и землей есть пространство. С трудом, но протискиваюсь. Очутившись внутри тележки, я усаживаюсь на перекладины, посмеиваюсь: что-то думают обо мне кондуктора, куда я исчез? Поезд начинает двигаться. Они, наверное, махнули на меня рукой.

Но так ли это? На следующей остановке я вижу, что под соседнюю со мной тележку под другим концом вагона просовывается фонарь. Они ищут под тележками! Нужно скорее убираться! Я проползаю на животе под тормозным брусом. Они увидели меня, устремились за мной, но я переползаю на четвереньках через рельсы на противоположную сторону и вскакиваю на ноги. Потом во всю мочь бегу вдоль поезда и, пробежав мимо паровоза, прячусь в спасательную тьму. Первоначальное положение восстановлено! Я впереди поезда, и поезд должен пройти *мимо* меня!

Поезд трогается. На первой площадке фонарь. Я сижу на земле и вижу кондуктора, всматривающегося во тьму. Но и на второй площадке тоже фонарь! Этот кондуктор увидел меня и окликает кондуктора, стоящего на первой площадке. Оба соскакивают. Не беда, я вскочу на третью площадку и «накрою» поезд. Но, о Небо, на третьей площадке фонарь! Там пассажирский кондуктор! Я пропускаю вагон. Во всяком случае теперь впереди будет вся поездная бригада. Я поворачиваюсь и бегу в сторону, противоположную движению поезда. Оглядываюсь через плечо. Все три фонаря на земле, покачиваясь, догоняют меня. Я усиливаю бег. Прошла половина вагонов, и, когда я вскакиваю да площадку, поезд идет уже довольно быстро. Я знаю, что еще две секунды — и оба кондуктора вместе со старшим, как разъяренные звери, настигнут меня. Я вскакиваю на колесо ручного тормоза, хватаю закругленный край крыши и подтягиваюсь на руках, а мои разочарованные преследователи, сгрудившись подо мной на площадке, как собаки, упустившие кошку, кинувшуюся на дерево, осыпают меня проклятиями, непочтительно отзываясь о моих родителях и прародителях.

Но что за беда? Их пятеро против одного, включая машиниста и кочегара, за ними все величие закона и сила огромной корпорации, а я их всех перехитрил! Я забрался чуть не в конец поезда и, пробежав вперед по крышам вагонов, останавливаюсь над пятой или шестой площадкой от паровоза. Осторожно заглядываю вниз: на этой площадке кондуктор. Я знаю, он увидел меня, ибо кидается внутрь вагона; я знаю также, что он притаился за дверью и бросится на меня, когда я стану слезать. Но я делаю вид, что ничего не подозреваю, я остаюсь на месте, чтобы утвердить кондуктора в его заблуждении. Я не вижу его, но знаю, что он приотворил дверь и выглянул: тут ли я?

Поезд замедляет ход перед станцией. Я пробую спустить ноги. Поезд останавливается, мои ноги болтаются в воздухе. Я гляжу, как дверь тихонько отворяется… «Он» приготовился… Но я мгновенно вскакиваю на ноги и бегу вперед по крыше — над его головой, над дверью, где он притаился. Поезд все еще стоит; ночь тихая, и я стараюсь производить как можно больше шума ногами по металлической крыше. Не знаю точно, но полагаю, что теперь кондуктор бежит вперед, чтобы схватить меня, когда я буду спускаться на следующей площадке. Но здесь я и не думаю спускаться. На половине крыши я поворачиваю, тихонько иду назад и быстро спускаюсь на площадку, которую только что оставили и я, и кондуктор. Атмосфера очистилась: я стою на полотне по правую сторону поезда и прячусь во тьме. Ни одна душа не видела меня.

Я подхожу к забору, который тянется вдоль полотна, и наблюдаю. Ага! Что это? Вижу фонарь на крыше поезда, движущийся от головы к хвосту. Они думают, что я не сошел, и ищут меня на крышах. Мало того — на земле по каждую сторону поезда в уровень с фонарем движутся два других фонаря. Настоящая облава на зайца, и этот заяц — я! Когда кондуктор на крыше найдет меня, остальные два сцапают! Я свертываю папиросу и наблюдаю, как процессия проходит мимо. Раз они прошли, я могу свободно бежать к голове поезда. Поезд трогается, и я беспрепятственно вскакиваю на первую площадку. Но не успел поезд пойти как следует, не успел я закурить папироску, как замечаю кочегара, который перелез через уголь в задний конец тендера и смотрит на меня. Страх охватывает меня. С этого места он может превратить меня в студень, забросав глыбами угля! Но он обращается ко мне с речью, и я с облегчением слышу похвалу в его голосе.

— Ну и сукин же ты сын! — говорит он.

Это — отменный комплимент, и я трепещу, как школьник, получивший награду.

— Послушай, — говорю я ему, — не обливай меня больше из рукава!

— Ладно! — отвечает он. И отправляется восвояси.

Итак, я подружился с кочегаром, но кондуктора все еще ищут меня! На следующей остановке они

сидят на всех трех площадках, я по-прежнему пропускаю их и «накрываю» середину поезда. Бригада проявила верх своей изобретательности — поезд останавливается! Кондуктора твердо решили либо «скинуть» меня, либо узнать, почему им это не удается. Три раза останавливался из-за меня континентальный скорый поезд, и каждый раз я удирал от кондукторов и «накрывал» поезд. Но теперь положение безнадежно, они, наконец, поняли, в чем дело. Я доказал им, что они бессильны отрезать от меня поезд. Им надо придумать что-нибудь другое.

И они придумали! Когда поезд останавливается в третий раз, они бегом кидаются за мной. А, понимаю их замысел. Они намерены извести меня гонкой. Первым делом они гонят меня в хвост поезда. Я понимаю всю опасность своего положения. Если я окажусь в хвосте поезда, он отойдет, оставив меня на бобах. Я поворачиваюсь, виляю, ныряю под мышками у моих преследователей и добираюсь до головы поезда. Один кондуктор не отстает! Ладно, я покажу ему гонку — у меня крепкие легкие! Я бегу вперед по полотну. Все равно. Хоть бы он гнался за мной на протяжении десяти миль, ему все же придется вскочить на поезд, а я могу вскочить на поезд при любой скорости, если она по зубам кондуктору.

Итак, я бегу, держась впереди и напрягая зрение, чтобы во мраке не наткнуться на проволоку или не споткнуться о стрелку. Увы! Я слишком высоко задрал голову, зацепился ногами, не знаю, за что именно, растянулся на земле. Через секунду я опять на ногах. Но кондуктор уже схватил меня за ворот. Я не отбиваюсь, только глубоко перевожу дыхание и приглядываюсь к нему. Это узкоплечий субъект, и во мне по меньшей мере на тридцать фунтов весу больше, чем в нем. Кроме того, он измучен не меньше меня, и, если он попробует ударить меня, я дам ему сдачи.

Но он не пытается ударить меня — и с этой стороны вопрос решен. Он тянет меня к поезду, и тут возникает новая проблема.

Я вижу фонарь и другого кондуктора и второго смазчика. Мы приближаемся к ним. Но не зря я изучил повадки нью-йоркской полиции! Не зря в товарных вагонах, у водоемов, в тюремных камерах наслушался страшных рассказов о том, как изувечивают людей. Что, если эти трое так же собираются расправиться со мной? Увы, у них много причин желать этого. Мозг мой быстро работает. Кондуктора все ближе. Я измеряю глазом живот и челюсть моего противника и решаю дать ему «вправо и влево наотмашь» при первой же тревоге.

Фи! Я могу сыграть с ним другую штуку и почти жалею, что не сделал этого в первый момент, когда он схватил меня. Хоть он и держит меня за шиворот, мне нетрудно вырваться. Пальцы его крепко впились в мой воротник. Пальто мое плотно застегнуто. Видали ли вы когда-нибудь «турникет»? Вот это что такое: мне остается только нырнуть слева под его руку и завертеться. Вертеться быстро, очень быстро. Я знаю, как это делается. Вывернуться сильным рывком, нырнуть головой под его руку, и так несколько раз. Он не успеет опомниться, как пальцы его разожмутся. Он не сможет удержать их. Это будет, как нажим сильнейшего рычага. Через двадцать секунд после того, как я заверчусь, кровь брызнет у него из-под кончиков пальцев, нежные связки порвутся, все его мускулы и нервы превратятся в раздавленную, кровоточащую массу. Испытайте это на ком-нибудь, кто схватит вас за шиворот. Но проделайте это быстро, молниеносно. И, вертясь, не забудьте закрыться — закройте лицо левой рукой, а живот прикройте правой. Ведь противник может попробовать остановить вас ударом свободной руки. Не забудьте также, что вращаться лучше всего в сторону от этой свободной руки, чем по направлению к ней. Получить удар, удаляясь, не так опасно, как получить его, приближаясь.

Но этому смазчику таки не суждено было узнать, какой страшной опасности он подвергался. Спасло его только то, что в планы кондукторов не входило изувечить меня. Когда кондуктора были уже близко, он закричал, что привел меня; они дали сигнал машинисту подойти ближе. Мимо нас проходил паровоз и три тормозных площадки. После этого кондуктор и другой смазчик бросаются на поезд, один смазчик

продолжает держать меня. Я понимаю его план — он будет держать меня, пока не пройдет хвост поезда, тогда он вскочит в вагон, а я останусь позади.

Но поезд сильно дернул с места, машинист старается наверстать потерянное время. Да и длинный же поезд! Идет он быстро, и я знаю, что смазчик со страхом измеряет его скорость.

— Ты думаешь, тебе это удастся? — невинно спрашиваю я.

Он выпускает мой ворот, быстро бежит и вскакивает на площадку. Еще несколько пассажирских вагонов должно пройти мимо. Он знает это, становится на ступеньки и ищет меня глазами, вытянув голову. В этот момент у меня рождается план такого маневра. Я вскочу на последнюю площадку. Я знаю, что поезд все прибавляет ходу, но если я и сорвусь, то упаду в грязь — и мне помогает мой молодой оптимизм. Я не сдамся! Я стою, понурив голову и втянув плечи, ясно показывая всем своим видом, что оставил всякую надежду и в то же время ощупываю ногами песчаный грунт. Отлично можно упереться. Не перестаю следить и за вытянутой головой смазчика. Я вижу, он убрал ее. Он уверен, что поезд идет слишком быстро и мне не вскочить!

И быстро же в самом деле идет поезд — при такой скорости я еще не брал его на абордаж! Когда проходит последний вагон, я пускаюсь бежать в одном направлении с ним. Бег — короткий и быстрый! Я не могу поравняться с поездом, но могу довести разницу в наших скоростях до минимума и, стало быть, уменьшить силу толчка, когда вскочу на поезд. Во тьме я не вижу железных перил на последней площадке, да и времени нет вглядываться. Я бросаюсь туда, где, по моим предположениям, она должна находиться, и в тот же момент ноги мои отделяются от земли. Все слилось в один толчок. Через секунду я могу покатиться наземь со сломанными ребрами, руками, с разбитой головой. Но пальцы мои крепко хватаются за поручень, сильный толчок слегка вывихивает мне плечи, но ноги попадают на ступеньки вагона.

Я сажусь на ступеньку в неописуемой гордости! За все время моего бродяжничества это шедевр посадки в поезд на ходу! Я знаю, что глубокой ночью можно безопасно проехать несколько станций подряд на последней площадке, но боюсь опасностей последнего вагона. На первой же остановке я бегу вперед по правую сторону поезда, пробегаю пульмановские вагоны, ныряю под поезд и помещаюсь на перекладинах под пассажирским вагоном. На следующей остановке опять бегу вперед и сажусь под другой вагон.

Теперь я нахожусь в относительной безопасности. Бригада воображает, что отделалась от меня. Долгий день и томительная ночь начинают давать знать о себе. Кроме того, под вагоном не так чувствуется ветер и холод: я начинаю дремать. А этого нельзя: заснуть под вагоном — верная смерть, и потому на следующей станции я вылезаю и иду ко второй тормозной площадке. Здесь я могу полежать и поспать, и я засыпаю. Как долго я спал, не знаю, ибо проснулся от света фонаря, поднесенного к самому моему лицу. Два кондуктора уставились на меня! Я поднимаюсь, принимаю оборонительную позу, соображая, кто из них ударит первый. Но бить меня, по-видимому, не входит в их намерения.

— А я думал, мы отделались от тебя! — говорит кондуктор, державший меня за шиворот.

— Если бы ты не отпустил меня, остался бы без поезда вместе со мной, — отвечаю я.

— Каким образом? — спрашивает он.

— Я не пустил бы тебя, только и всего!

Они устраивают совещание и выносят краткий вердикт:

— Ну, я думаю, ты можешь ехать. От тебя не отделаешься!

И они уходят прочь, оставив меня в покое до смены бригад.

Я рассказал все это как пример того, что значит «удержаться на поезде». Разумеется, я выбрал удачную ночь из архива моих шатаний и ничего не рассказал о ночах — а их было много! — когда меня сбрасывали с поезда.

В заключение расскажу вам, что со мной было, когда мы доехали до места смены бригад. На одноколейных трансконтинентальных линиях товарные поезда ожидают на тех станциях, где происходит смена бригад, и отходят после того, как пройдут пассажирские. Когда мы доехали до одной такой станции, я оставил поезд и стал искать товарного, отходящего следом за скорым. Разыскав товарный поезд, я отошел на запасный путь и стал ждать. Залезши в товарный вагон с углем, я лег и мгновенно заснул.

Проснулся я от скрипа отодвигаемой двери. День занимался, холодный и серый, а поезд еще не трогался с места. В дверную щель просунулась голова кондуктора.

— Вон отсюда, распросукин-пересукин-сукин сын! — заревел он.

Я вылез и стал следить за ним: он обходил поезд, обследуя каждый вагон. Когда он скрылся из виду, я решил: ему никогда не придет в голову, что у меня хватит дерзости залезть в тот самый вагон, из которого меня выгнали! Я полез обратно и снова улегся.

Но, видно, этот кондуктор рассуждал точь-в-точь, как я: он подумал именно то, что подумалось мне. Он вернулся и вышвырнул меня.

«Ну, теперь, — рассуждал я, — он, наверное, не подумает, что я могу полезть в третий раз!» И я пробрался к тому же вагону. На сей раз я решил устроиться основательно. В этом вагоне отодвигалась только одна боковая дверь. Вторая была забита гвоздями. Вскарабкавшись на вершину угольной кучи, я вырыл канавку вдоль этой двери и улегся в ней. Опять отворилась дверь. Кондуктор влез в вагон и осмотрел кучу угля. Он не мог видеть меня, но громко крикнул, приглашая убраться. Я надеялся перехитрить его и молчал. Однако, когда он начал забрасывать меня углем, я сдался, и в третий раз был изгнан. В самых теплых выражениях он предупредил, что если поймает меня еще раз, то мне будет худо.

Тогда я переменил тактику. Когда человек рассуждает точь-в-точь, как вы, сбейте его со следа. Прервите вашу линию рассуждения и перейдите на другую. Так я и сделал! Я спрятался между вагоном и соседним запасным путем и стал ждать. И действительно, кондуктор опять подошел к этому же вагону. Он отодвинул дверь, влез в вагон, кричал, бросал уголь в вырытую мной яму — все безрезультатно. Это успокоило его. Через пять минут товарный поезд тронулся, а кондуктор не показывался. Я побежал рядом с вагоном, отодвинул дверь и залез в вагон. Никто не осматривал больше вагона, и я проехал в нем тысячу двадцать две мили, причем большую часть времени проспал, а на сменах, где товарные поезда обычно останавливаются на час или на два, вылезал «пострелять» на пропитание. В самом конце этих тысячи двадцати двух миль я проворонил этот вагон благодаря счастливой случайности. Меня пригласили в один дом «посидеть», а нет еще на свете бродяги, который не променял бы поезд на отдых за чистым столом в уютной кухне!

Картинки

Быть может, величайшее очарование бродяжнической жизни заключается в отсутствии однообразия. В Царстве Бродяг лицо жизни, как Протей — вечно изменчивая фантасмагория, где возможно невозможное, где неожиданность выскакивает из-за куста на каждом повороте дороги! Бродяга никогда не знает, что будет с ним в следующее мгновение; он живет только настоящей минутой. Он познал тщету всяких планов и прелесть скитания по капризу случая.

Часто размышляю я над днями своего бродяжничества и всегда изумляюсь быстрой смене картин, возникающих в моей памяти. Безразлично, с чего ни начать вспоминать; любой из этих дней был особенным, у каждого — своя собственная смена впечатлений. Так, вспоминаю я солнечное летнее утро в Харрисбурге, в Пенсильвании, и тотчас же в моей памяти встает чудесное начало этого дня. Я был «приглашен» в гости двумя старыми девами, и они посадили меня не на кухне, а в своей столовой, сев по обе стороны от меня. Мы ели яйца из специальных рюмочек — в первый раз я тогда увидел рюмочки для яиц и услышал о них. Должен сознаться, что вначале я был неловок, не зная, как обращаться с рюмочками, но я был голоден и у меня все получалось. Быстро привык к рюмочке и ел яйца так мастерски, что обе старые девы сидели и только диву давались, глядя на меня.

Сами они ели, как канарейки, по каплям выбирая яйцо и чуть покусывая хлебные гренки. Слабо теплилась жизнь в их теле; в их жилах текла жидкая кровь; ночь они проводили в тепле. А я всю ночь провел под открытым небом, потратил свою жизненную энергию на согревание тела — я пришел из базарного местечка в северной части штата. Хлебные гренки исчезли мгновенно. Гренка едва хватало на один глоток — да что там, на полглотка! Скучно брать по одному гренку, когда можно сразу сцапать их дюжину.

Когда я был маленьким мальчиком, у меня была собачка, которую звали Пуншем. Кормил я ее сам. Кто-то у нас дома настрелял уток, и у нас был чудесный обед. После обеда я приготовил еду для Пунша — большую тарелку костей и потрохов. Я вышел покормить собаку во двор. Тут из соседнего ранчо приехал гость, и с ним огромный ньюфаундленд, ростом с теленка. Я поставил тарелку на землю, и Пунш, завиляв хвостом, принялся за еду. Ему предстояло по меньшей мере полчаса блаженства, как вдруг что-то зашумело, Пунша отмело в сторону, как соломинку ураганом, — это ньюфаундленд накинулся на тарелку. У него была здоровенная пасть, и он, очевидно, был приучен к быстрой еде; в то короткое мгновение, когда я приготовился дать ему пинок, он проглотил все содержимое тарелки. Очистил дотла, одним мазком языка слизнул последние пятнышки сала.

Так вот, как этот огромный ньюфаундленд вел себя над тарелкой моего Пунша, так и я вел себя за столом этих старых дев в Харрисбурге! Я буквально опустошил стол. Я ничего не разбил, но съел все яйца, весь хлеб и выпил кофе. Служанка приносила и приносила, но я все требовал и требовал добавить. Кофе был восхитителен, но зачем подавать его в крохотных чашечках? Могло ли у меня оставаться времени на еду, когда так много времени уходило на наполнение многочисленных чашечек кофе в приличный глоток?

Но я находил время упражнять свой язык. Эти две старые девы, с бело-розовыми лицами и серыми кудряшками, еще никогда не видели перед собой сияющего лика приключения, авантюры. Как выразился бы «Король бродяг», они всю свою жизнь «просидели на одном стуле». В атмосферу сладких ароматов, в тесные пределы их существования, лишенного событий, я внес воздух вольного мира, отягченный крепкими запахами пота и борьбы, ароматами чужих стран и земли. Я исцарапал их нежные ладони мозолями моих ладоней — толстыми, в полдюйма мозолями, образующимися от постоянного держания за канаты, от крепких пожатий лопаты и кирки. Это я сделал не только из молодого удальства, но чтобы

доказать свое право на их милосердие, купленное ценой тяжелого труда.

Как сейчас вижу их, этих милых, славных старых девиц; сейчас вижу себя сидящим за их столом, а тому добрых двенадцать лет! Я разглагольствую о своих скитаниях по белу свету, решительно отвергаю их добрые советы и пленяю их, привожу в трепет рассказами не только о своих авантюрах, но и авантюрах всех бродяг, с которыми мне случалось встречаться и откровенничать. Я присвоил себе авантюры их всех. Конечно, не будь старые девы так доверчивы и наивны, они сразу бы заметили, как я путаюсь в хронологии. Ну и что же? Это был честный обмен. За их чашки кофе, яйца и гренки я отплатил полной мерой, ведь я доставил им своими рассказами необычайное развлечение. А мое сидение за чайным столом было огромным приключением их жизни. А настоящее приключение бесценно!

Расставшись со старыми девами и выйдя на улицу, я подобрал газету с порога какого-то уснувшего буржуа и отправился в парк полежать на траве и ознакомиться с событиями, происшедшими на земле за последние двадцать четыре часа. Здесь же, в парке, я встретил другого бродягу — собрата по скитаниям, который рассказал мне историю своей жизни и стал уговаривать меня поступить в армию Соединенных Штатов. Он дал вербовщикам уговорить себя, готовился идти в солдаты, так почему бы и мне не присоединиться к нему? За несколько лет до этого он участвовал с армией Кокси в походе на Вашингтон и, должно быть, почувствовал вкус к воинской жизни. Я тоже был ветераном: я служил рядовым в роте «Л», Второй дивизии рабочей армии Келли. Наша рота «Л» больше известна под названием «Невадская босая команда». Но мой армейский опыт оказал на меня прямо противоположное влияние; поэтому я послал этого бродягу ко всем псам войны, а сам отправился «стрелять» себе на обед.

Сделав дело, я направился по мосту через Сасквеханну на западный берег. Не помню, как называется железная дорога, проходившая с той стороны, но пока я лежал в траве этим утром, меня осенила мысль отправиться в Балтимор. И вот я пошел в Балтимор по этой дороге, названия которой я не знал. День был теплый; пройдя немного по мосту, я наткнулся на группу молодых людей, купавшихся около одного из мостовых быков. Сбросив одежду, кинулся в воду и я. Вода была чудесная, но когда я вышел и стал одеваться, то убедился, что меня ограбили. Кто-то успел обшарить мои карманы. Судите сами, не довольно ли этого приключения для одного дня? Я знаю людей, которых только раз в жизни ограбили, и они до конца жизни не переставали говорить об этом. Правда, вор, рывшийся в моих карманах, не много получил: какие-нибудь тридцать-сорок центов мелочью да немного табаку, но это было все мое добро. Это меньше, чем можно украсть у большинства людей, ибо у каждого есть что-нибудь дома, а у меня не было больше ничего! Видно, тут собралась купаться теплая компания. Я не стал поднимать шума, а только попросил закурить — и готов поклясться, что бумага, полученная мной на закурку, была та же самая, в которую я заворачивал табак!

Я перешел через мост на западный берег. Здесь пролегала железная дорога. Станции не было видно. И передо мной встала задача: как вскочить на товарный поезд, не добираясь до станции? Я заметил, что полотно идет по крутому подъему, кончающемуся именно там, куда я вышел. Я сообразил, что тяжело нагруженный товарный поезд не может идти здесь с большой скоростью. Но все же с какой? За полотном поднималась высокая насыпь. На краю ее, из-за травы высовывалась голова человека. Может, он знает, с какой скоростью идут поезда по этому подъему и когда пройдет на юг ближайший товарный? Я прокричал ему этот вопрос, а он поманил меня к себе.

Я повиновался; добравшись до вершины насыпи, я увидел, что рядом с ним лежат в траве еще четверо. Осмотревшись, я понял, кто они такие: это были американские цыгане. На открытой лужайке, начинавшейся у деревьев, росших на краю насыпи, стояли необычного вида телеги. Оборванные полуголые ребятишки кишели по всему табору, и я заметил, что они стараются не подходить близко к лежавшим мужчинам, не беспокоить их. Несколько тощих, уродливых, изнуренных работой женщин

возились с лагерной утварью; одна сидела одиноко на телеге, понурив голову, упершись подбородком в колени и обхватив их руками. Вид у нее был пренесчастный. Казалось, ничто ее не занимало, но в этом я ошибся, ибо впоследствии убедился, что к кое-чему она была далеко не равнодушна. На ее лице были написаны все страдания человеческого рода и его трагическое выражение говорило о том, что настал уже предел ее мук. Казалось, больше ничто уже не могло огорчить ее; но в этом я ошибся.

Итак, я лежал в траве, на краю насыпи, и беседовал с мужчинами. Мы были сродни — братья: я — американский бродяга, они — американские цыгане. Я достаточно знал их жаргон для поддержания беседы, они достаточно знали мой язык. Еще двое мужчин отправились за реку в Харрисбург «мушевать». «Мушер» — бродячий мелкий ремесленник. Официальным занятием этих двух «мушеров», отправившихся за реку, была починка зонтов; но чем они занимались на самом деле, мне не сказали, да и неудобно было спрашивать.

День был чудесный — ни малейшего ветерка. Мы беззаботно грелись под лучами солнца. Отовсюду доносилось убаюкивающее жужжание насекомых, воздух был наполнен ароматами теплой земли и зелени. Мы лениво перебрасывались отрывочными фразами. И вдруг совершенно неожиданно весь этот мир и покой был разбит человеком.

Двое босоногих мальчишек, лет восьми-девяти, каким-то образом нарушили бивуачные законы, какие именно, не знаю. Мужчина, лежавший возле меня, вдруг вскочил и окликнул их. Это был глава племени, человек с узким лбом и узко прорезанными глазами. Достаточно было взглянуть на его тонкие губы, на сардонически искаженные черты, чтобы понять, почему мальчишки подпрыгнули, как испуганные лани, при первом же звуке его голоса. Страх был написан на их лицах, и в панике они пустились было бежать. Однако он позвал их, и один мальчик с неохотой остановился; все его худенькая фигурка отражала происходившую в нем борьбу между страхом и благоразумием. Он хотел вернуться. Разум и опыт говорили ему, что вернуться будет меньшим злом, чем бежать; но это меньшее зло все же было достаточно велико, чтобы сильно испугать его и заставлять бежать.

Он медлил, колебался и, наконец, остановился под сенью деревьев. Вождь племени не гнался за ним. Он побрел к одной из телег и взял тяжелый бич. Потом вернулся на поляну и остановился. Он не сказал ни слова, не делал никаких движений. Он воплощал закон, беспощадный и всемогущий. Он просто стоял и ждал. И я знал, и все знали, и мальчик в тени деревьев знал, чего он ждет.

Мальчик медленно пошел назад. Лицо его выражало трепетную решимость. Он больше не колебался, он решил понести заслуженное наказание. И заметьте, наказание полагалось не за первоначальную вину, а за то, что он побежал. Вождь вел себя совершенно так же, как вело себя цивилизованное общество, в котором мы живем. Мы же наказываем наших преступников, а когда они убегают, мы ловим их и увеличиваем им наказание.

Мальчик подошел прямо к вождю и остановился на таком расстоянии, чтобы его мог достать кнут. Кнут просвистел в воздухе — и я вздрогнул, определив тяжесть удара. Худенькие ножки были так тонки, так малы! Кожа побелела в том месте, где, закружившись, укусил ее бич. А затем на месте белой полоски вскочил рубец и там, где лопнула кожа, выступили багровые капли. Опять просвистел бич — мальчик съежился всем телом в ожидании удара, но не тронулся с места. Он держался! Вскочил второй рубец и третий. И только после четвертого раза мальчик вскрикнул. Теперь он уже не мог стоять на месте и после этого с каждым ударом подплясывал с дикими криками, но убежать не пытался! Если в своем непроизвольном танце он отскакивал за пределы досягаемости кнута, то сам же и возвращался обратно. И когда все было кончено — двенадцать розог, он, плача и повизгивая, спрятался между телегами.

Вожак стоял и ждал. Из-под деревьев вышел второй мальчик. Но этот не пошел прямо. Он подкрадывался, как струсившая собачка, поворачивался и отбегал в сторону, но всякий раз возвращался

обратно, описывая круги все ближе и ближе к вожаку, рыдая, издавая животные, нечленораздельные звуки. Я видел, что он не смотрит на цыгана. Глаза его были устремлены на кнут, и в этих глазах был написан такой ужас, от которого мне чуть не сделалось дурно, безумный ужас неизвестно за что терзаемого ребенка! Я был на поле сражения, видел, как справа и слева от меня падали крепкие люди, корчась в предсмертных муках. Видел, как их десятками взрывали гранаты, а тела разлетались в клочки; поверьте мне, это зрелище было пустяком по сравнению с тем, как на меня подействовал вид бедного ребенка.

Началась порка. Избиение первого мальчика было шуткой по сравнению с этим. В одно мгновение кровь побежала по тонким ножкам. Он плясал, извивался, ежился, напоминал чудовищную марионетку, дергаемую за ниточку. Но его крики разрушали эту иллюзию. Крик был тонкий, пронзительный, ни одной хриплой нотки, тонкий, невинный детский голос. Мальчик, наконец, не мог больше терпеть. Рассудок умолк, и он пытался убежать. Вожак погнался за ним, отрезая ему дорогу, и ударами вернул на прежнее место.

Внезапно что-то прервалось. Я услышал дикий, сдавленный крик. Женщина, сидевшая в телеге, соскочила и побежала, чтобы заступиться за мальчика. Она стала между мужчиной и ребенком.

«И ты хочешь? — буркнул человек с кнутом. — Ладно!» — и он опустил на нее кнут. На ней были длинные юбки, поэтому он не целился в ноги. Он направил удар ей в лицо, которое она закрыла, как могла, руками и локтями, втянув голову между тощими плечами, — и на эти тощие плечи и руки посыпались удары. Героическая мать! Она знала, что делала! Мальчик с воем и криком побежал укрыться к телегам.

Все это время четверо мужчин, лежавших возле меня, наблюдали за происходящим и не трогались с места. Не пошевельнулся и я. И я говорю это без стыда, хотя рассудок мой отчаянно боролся с естественным желанием вскочить и вмешаться. Но я знал жизнь. Какая польза была бы женщине или мне от того, что меня бы избили до смерти пятеро мужчин на этом берегу Сасквеханны? Однажды я видел, как вешали человека, и хотя вся моя душа возмущенно протестовала, я не вымолвил ни слова. Крикни я, мне, по всей вероятности, раздробили бы череп рукояткой револьвера: Закон требовал казни этого человека. Здесь, в этой группе цыган, царил Закон, по которому непокорную женщину нужно было отхлестать.

Но в обоих случаях я не вмешался не столько потому, что это был Закон, сколько потому, что Закон был сильнее меня. Если бы не четверо мужчин, лежавших рядом со мной в траве, я, конечно, с величайшей охотой кинулся бы на человека с кнутом. Возможно, женщины табора ударили бы меня ножом или дубиной, но я убежден, что избил бы его. Но возле меня лежало четверо мужчин! Значит, их Закон оказался сильнее меня.

О, поверьте мне, я настрадался немало. Я не раз и прежде видел, как бьют женщин, но такого избиения еще не видел. Платье на ее плечах изорвалось в клочья. Один удар, от которого она не уберeглась, оставил кровавый рубец на щеке до подбородка, и не один удар, не два, не десяток, не два десятка, нет — бесконечно, несчетно кнут крутился над ней и обрушивался на нее. Пот катил с меня градом, я дышал с трудом, стиснув траву руками и выдергивая ее с корнями. И все это время рассудок шептал мне: «Дурак, дурак!» Этот рубец на ее лице чуть не погубил меня. Я привстал было, но рука человека, лежавшего рядом со мной, легла на мое плечо и пригнула меня к земле.

— Легче, приятель, легче! — вполголоса предупредил он меня.

Я посмотрел на него, и он не мигая уставился на меня. Это был крупный, широкоплечий, мускулистый мужчина; лицо у него было ленивое, флегматичное, бесстрастное, впрочем, добродушное, без оживления и совершенно бездушное — это была какая-то мутная, беззлобная, но и без всякого представления о морали упрямая бычачья душа. Это было животное с самыми слабыми проблесками разума, добродушная

скотина с умственным горизонтом гориллы. Рука его тяжко легла на меня, и я почувствовал в ней страшную силу мышц. Я взглянул на других людей-зверей: один из них хранил полную невозмутимость, другой, видимо, наслаждался зрелищем; благоразумие вернулось ко мне, мускулы мои обмякли, и я вытянулся в траве.

Мне вспомнились две старые девы, у которых я завтракал в это утро. Меньше двух миль по прямой линии отделяло их от этой сцены. Здесь, в безветренный день, под благодатным солнцем, их сестру избивал мой брат! Вот страница жизни, которой они никогда не могли увидеть, и это к лучшему, хотя, не увидев ее, они никогда не могли бы понять ни того, что это их сестра, ни самих себя, ни того, что они сделаны из одной глины. Женщине, живущей в тесных комнатах, пахнущих духами, не дано чувствовать себя сестрой всего мира.

Порка окончилась, и женщина, перестав кричать, отправилась на свое место в телеге. Другие женщины не подошли к ней сразу. Они боялись. Подошли потом, когда прошел приличный промежуток времени. Вожак отложил свой кнут и присоединился к нам, сев на траву рядом со мной. Он тяжело дышал от утомления. Вытерев рукавом пот с лица, он с вызовом взглянул на меня. Я равнодушно встретил его взгляд; какое мне было до него дело! Я не сразу ушел. Я подождал еще с полчаса, в данном случае этого требовал такт и этикет. Я скрутил папироску из табака, взятого у цыган, и спустился по насыпи к полотну дороги, получив необходимые указания относительно того, как поймать ближайший товарный поезд, идущий на юг.

Ну, и что же?

Страничка жизни, вот и все! Я немало видел страниц похуже, много хуже. Я утверждал иногда (слушатели мои думали, будто я шучу), что главное различие между человеком и животным заключается в том, что человек — единственное животное, дурно обращающееся со своей самкой. Вот уж на что никакой волк, никакой трусливый койот не способен! Этого не делает даже собака, уже прирученная человеком и живущая в обществе человека. Собака сохранила в этом отношении свои древние инстинкты, человек же утратил почти все свои дикие инстинкты — по крайней мере, лучшие из них. Вы хотите худших страниц жизни, чем описанная мной? Почитайте отчеты о детском труде в Соединенных Штатах — на востоке, на западе, на юге, на севере, безразлично где — и знайте, что все мы эксплуататоры, все мы наборщики и печатники неизмеримо худших страниц жизни, чем эта страница об избиении женщины на Сасквеханне.

Я прошел по насыпи сотню ярдов до того места, где земля у полотна была плотно утрамбована. Здесь можно было вскочить на поезд, медленно поднимающийся в гору, и здесь я застал человек шесть бродяг, также дожидавшихся поезда. Некоторые играли в трынку старыми картами. Я принял участие в игре. Один из бродяг, негр, начал сдавать. Это был толстый парень, молодой, с круглым, как луна, лицом. Он весь светился добродушием: оно чуть не сочилось из него. Сдав мне первую карту, он помедлил и произнес:

— Скажи, не видел ли я тебя раньше?

— Наверно, видел! — отвечал я. — И тогда на тебе была другая одежда.

Негр был озадачен.

— Помнишь Буффало? — спросил я.

Тут он узнал меня и со смехом и восторженно приветствовал меня, как старого товарища, ибо в Буффало, где он отбывал срок в исправительном арестантском доме графства Эри, он носил полосатый арестантский наряд, как и я, отбывая там тюремное заключение одновременно с ним.

Игра продолжалась, и вот какая была ставка в этой игре. По насыпи к реке спускалась узкая и крутая тропинка, приводившая к ручью, который протекал в двадцати пяти футах ниже. Играли мы на краю

насыпи. Проигравший должен был взять банку из-под сгущенного молока и этой банкой носить воду выигравшим.

Сыграли партию — и негр проиграл.

Он взял банку, полез вниз, а мы сверху дразнили его. Пили мы, как рыбы! Четыре раза пришлось ему ходить за водой для меня одного, другие были столь же расточительны в утолении своей жажды. Тропинка была очень крута, иногда он соскальзывал вниз, пройдя половину пути, проливал воду и должен был возвращаться к ручью. Но он не сердился. Он заливался таким же веселым смехом, как и мы, поэтому и оступался так часто. Он только уверял нас, что выпьет чертову уйму воды, когда проиграет кто-нибудь другой.

Утолив жажду, мы начали вторую партию. Опять негр проиграл, и опять мы напились до отвала. Третья и четвертая партии окончились тем же, и каждый раз этот луноликий негр чуть не лопался от смеха! И мы чуть не лопнули с ним вместе. Смеялись мы, как беспечные дети, как боги! Я столько хохотал, что мне казалось — вот-вот у меня отвалится голова, и пил из банки столько, что больше уж некуда было пить. Встал серьезный вопрос, сможем ли мы вскочить на поезд, когда он подойдет — так мы отяжелели от выпитой воды. Этот подход к делу чуть не доконал негра. Он должен был минут на пять прервать свое хождение за водой: лежал на земле и катался со смеху.

Тени становились длиннее, сгущались прохладные сумерки, а мы все пили воду, и наш черный водочерпий все носил да носил ее. Я забыл о женщине, избитой на моих глазах час тому назад. Это была прочитанная и перевернутая страница; теперь я всецело был поглощен новой страницей; когда паровоз засвистит под горой, страница будет окончена и начнется другая; так и идет книга жизни, страница за страницей, и страницам этим нет конца, пока мы молоды! Но вот выпала партия, в которой негр не проиграл! Жертвой оказался тощий, геморроидального вида бродяга, он как раз смеялся гораздо меньше других. Мы объявили, что не хотим больше пить. И это была правда: все богатства Ормуза и Инда и даже нагнетательный насос не могли бы теперь втиснуть и капли в наши переполненные утробы. Негр явно был разочарован, но он вышел из положения, заявив, что хочет пить. И хочет не на шутку. Он напился воды, еще раз напился и опять напился. Меланхолический бродяга то и дело спускался и поднимался по насыпи, а негр требовал воды. Сумерки перешли в ночь, высыпали звезды, а негр продолжал пить. Я думаю, если бы не раздался свисток паровоза, он и до сих пор сидел бы там, упиваясь водой и местью, а унылый бродяга все ходил бы вверх и вниз.

Но паровоз засвистел. Страница окончилась. Мы вскочили и выстроились шеренгой вдоль линии. Вот он подошел, отплевываясь и кашляя на уклоне; его фонари превратили ночь в яркий день, выделив наши резкие силуэты. Паровоз миновал нас, мы побежали рядом с поездом; одни вскакивали на боковые лесенки, другие отодвигали двери пустых товарных вагонов и забирались внутрь. Я поймал платформу, груженную лесом, и устроил себе на ней удобный уголок. Растянувшись на спине, я подложил под голову газету вместо подушки. Надо мной в вышине мигали и колебались эскадроны звезд, и, наблюдая их, я заснул. Прошел день — один из многих моих дней. Предстоял новый день, а я еще был молод…

«Сцапали»

Я подъехал к Ниагарскому водопаду в «пульмановском вагоне с боковой дверью», иначе говоря, в товарном вагоне. Среди бродяжьей братии товарная платформа известна под названием «гондолы». Но вернемся к рассказу. Я прибыл под вечер и прямо с товарного поезда направился к водопаду. При виде этого чудесного зрелища низвергающегося моря воды я растерялся. Я не мог оторваться от него, хотя пора было «пострелять» к ужину. Даже приглашение «посидеть» не могло бы оторвать меня от этой картины. Наступила ночь — чудесная лунная ночь, а я все стоял у водопада, и так до двенадцатого часа. Но надо было подумать о местечке для спанья.

Я убедился, что город у Ниагарского водопада, называющийся тоже «Ниагарский Водопад», «плохой» город для бродяг, и вышел в поле. Я перелез через забор и заснул на черном поле. Я льстил себя надеждой, что «Джон-Закон» не найдет меня здесь. Я лег навзничь в траву и заснул, как младенец. Воздух был так тёпл и ароматен, что я ни разу не проснулся за всю ночь. Но как только занялся день, глаза мои открылись, и я вспомнил изумительный водопад. Я перелез через забор и пошел по дороге — еще раз взглянуть на водопад. Час был ранний, не больше пяти утра, и до восьми часов нечего было и думать о завтраке. Я мог провести у реки добрых три часа. Увы, мне не суждено было больше увидеть ни реки, ни водопада.

Город спал, когда я вошел в него. Шагая по затихшей улице, я увидел, что навстречу мне направляются по тротуару три человека. Шли они рядом. Бродяги, решил я, вставшие, как и я, в ранний час. Но я ошибся. Я угадал только на шестьдесят шесть и две трети процента. Люди по бокам действительно были бродяги, но человек посередине не был бродяга. Я отступил к краю тротуара, чтобы пропустить мимо себя это трио. Но трио не прошло мимо; по слову, сказанному человеком, находившимся в центре, все трое остановились, и он же обратился ко мне.

В мгновение я увидел опасность. Это был «фараон», а двое бродяг — его арестанты. «Джон-Закон» проснулся и искал раннего червячка. Червячком этим оказался я. Будь у меня богаче опыт и зная, что ожидает меня в предстоящие месяцы, я повернулся бы и побежал, как вихрь. Он, вероятно, выстрелил бы, но, чтобы поймать меня, ему пришлось бы подстрелить человека. Ни в каком случае он не побежал бы за мной, ибо двое бродяг в руках лучше, чем один на бегу. Но я болван болваном остановился, когда он окликнул меня. Разговор у нас получился короткий.

— В каком отеле остановился? — спросил он.

Он знал свое дело. Я не остановился ни в каком отеле и, не зная ни одного отеля в этом городе, не мог и сослаться хоть на какой-нибудь. К тому же я слишком рано появился на улице. Все говорило не в мою пользу.

— Я только что приехал! — объявил я.

— Ну так повернись и иди впереди меня, да не очень далеко забегай вперед! Тебя кое-кто хочет видеть.

Меня «сцапали»! Я хорошо знал, кто хочет видеть меня. С этим «фараоном» и двумя бродягами по пятам я пошел прямёхонько к городской тюрьме. Там нас обыскали и записали наши имена. Не помню теперь, под каким именем я был записан. Я назвал себя Джеком Дрэйком, но, обыскивая меня, они нашли письма, адресованные Джеку Лондону; это вызвало трудности и потребовало объяснений — подробности я уже забыл и до сего дня не знаю, сцапали ли меня как Джека Дрэйка или как Джека Лондона. Во всяком случае, то или другое имя до сих пор красуется в тюремных списках Ниагарского Водопада. По справке это

легко выяснить. Дело происходило во второй половине июня 1894 года. Через несколько дней после моего ареста началась крупная железнодорожная забастовка.

Из конторы нас повели в «Хобо» и заперли. «Хобо» — часть тюрьмы, где содержат мелких преступников в огромной железной клетке. Так как бродяги, то есть «хобо», составляют главную массу мелких преступников, то эту железную клетку и назвали «Хобо». Здесь мы встретили нескольких бродяг, арестованных в это самое утро; чуть не каждую минуту дверь отворялась и к нам впихивали еще двух-трех человек. Наконец, когда набралось шестнадцать хобо, нас повели наверх, в судебный зал. Я добросовестно опишу, что происходило в этом судебном зале; здесь мой патриотизм американского гражданина получил удар, от которого он никогда не мог вполне оправиться.

В судебном зале находилось шестнадцать арестантов, судья и два судебных пристава. По-видимому, судья исполнял и обязанности секретаря. Свидетелей не было. Не было граждан города, которые поинтересовались бы взглянуть, как отправляется правосудие в их общине. Судья взглянул на список, лежавший перед ним, и назвал фамилию. Один из бродяг встал. Судья поглядел на пристава.

— Бродяга, ваша милость, — проговорил пристав.

— Тридцать дней! — сказал его милость.

Бродяга сел, судья назвал другое имя, и другой бродяга поднялся на ноги.

Суд над этим бродягой занял ровно пятнадцать секунд. Следующего бродягу судили с такой же быстротой. Пристав произносил: «Бродяга, ваша милость», а его милость говорил: «Тридцать дней». Так оно и шло, как заведенные часы; на каждого бродягу пятнадцать секунд и тридцать дней ареста.

«Какая смирная скотинка! — думал я про себя. — Вот погодите! Дойдет моя очередь, я покажу его милости штуку!» В течение этой процедуры «его милость», очевидно, побуждаемый каким-то капризом, дал одному из нас возможность заговорить. И, как на грех, это оказался не настоящий бродяга. Он ничем не напоминал профессионального бродягу. Подойди он к нам в то время, когда мы ждали у водокачки товарного поезда, мы без колебания отнесли бы его к числу новичков. Этот новичок был довольно стар — я думаю, лет сорока пяти, несколько сутулый, с обветренным и морщинистым лицом.

Судя по его рассказу, он много лет был возчиком в какой-то фирме в Локпорте, в штате Нью-Йорк (если память мне не изменяет). Дела фирмы пошатнулись, и в тяжелый 1893 год она ликвидировала дело. Его держали до последних дней, хотя к концу его служба носила крайне нерегулярный характер. Он рассказывал, как ему трудно было устроиться на работу (безработных было полно) в последующие месяцы. Наконец, решив, что легче будет найти работу на Озерах, он отправился в Буффало. Его сцапали и привели сюда — вот и всё.

— Тридцать дней! — проговорил его милость и вызвал другого бродягу.

Означенный бродяга поднялся.

— Бродяга, ваша милость! — проговорил пристав, и его милость сказал:

— Тридцать дней!

Так оно и шло, пятнадцать секунд — и тридцать дней на бродягу. Колесо правосудия гладко вертелось. Весьма вероятно, что, принимая во внимание ранний час утра, его милость еще не завтракал и поэтому торопился.

Но моя американская кровь так и кипела. За мной стояли многие поколения моих американских предков. Одной из привилегий, за которые сражались и умирали эти мои предки, было право на суд с присяжными. Это было мое право, освященное их кровью, и я чувствовал себя обязанным защищать его.

«Ладно, — погрозился я про себя, — пусть только очередь дойдет до меня!»

Она дошла до меня. Мое имя, не помню какое, было названо, и я встал. Пристав произнес:

— Бродяга, ваша милость!

И я заговорил. Но в тот же момент заговорил и судья; он произнес:

— Тридцать дней!

Я запротестовал, но в это мгновение его милость, уже называя фамилию следующего по списку, остановился ровно настолько, чтобы сказать мне: «Закрой пасть!» Пристав заставил меня сесть на место. И в следующий момент новый бродяга получил свои тридцать дней, а следующий за ним бродяга встал получить столько же.

Когда с нами расправились, дав по тридцать дней на бродягу, его милость, уже собираясь отпустить нас, вдруг повернулся к возчику из Локпорта — единственному человеку, которому он позволил говорить.

— Зачем ты бросил работу? — спросил судья.

Возчик уже объяснял, что работа бросила его, и смутился при новом вопросе.

— Ваша милость, — сконфуженно начал он. — Какой вы странный вопрос задаете…

— Еще тридцать дней за то, что бросил работу! — проговорил его милость и закрыл судебное заседание. В итоге возчик получил в общем шестьдесят, а мы все — по тридцать дней.

Нас свели вниз, заперли и дали позавтракать. Для тюремных завтраков это была довольно неплохая еда — лучшая, на какую я только мог рассчитывать в предстоящем месяце.

Я был ошеломлен! Я осужден после какой-то пародии на суд, в котором мне отказали не только в моем праве судиться с присяжными, но и признать или не признать себя виновным! Еще одно право, за которое дрались мои отцы, вспомнилось мне — право на неприкосновенность личности. Я им покажу! Но когда я потребовал адвоката, меня подняли на смех. Право существовало честь честью, но какой прок в нем, если я не могу сноситься ни с кем вне тюрьмы? Но я им покажу! Они не смогут держать меня вечно в тюрьме! Подождем, пока я выйду! Я им задам! Я имею представление о законе и о своих правах и выведу их на чистую воду! Когда тюремщики пришли и повели нас в главную контору, я уже представлял себе, как подам иски за убытки и какие сенсационные заголовки появятся после этого в газетах.

Полисмен надел наручник на мою правую руку.

«Ага! — подумал я. — Новое насилие! Только дайте мне выйти!» На левую руку негра он надел вторую половину этого наручника. Негр был очень высок, наверное, больше шести футов — когда мы стали рядом, то рука его, скованная с моей, немножко потянула ее вверх. Это был самый оборванный и самый веселый негр, каких я только когда-либо видел!

Так нас всех сковали попарно. По окончании этой операции принесли блестящую цепь из никелированной стали, пропустили ее через звенья всех наручников и заперли в конце и в начале цепи. Теперь мы представляли собой «кандальную шеренгу». Отдали приказ двинуться, и мы пошли по улице под охраной двух полицейских. Высокому негру и мне досталось почетное место — мы шли во главе процессии.

После могильного мрака темницы солнечный свет ослепил меня. Никогда он еще не казался мне таким приятным, как теперь узнику в звенящих кандалах; я знал, что вижу его в последний раз перед тем, как меня запрут на тридцать дней.

Мы шли по улицам городка к железнодорожной станции, сопровождаемые любопытными взглядами

прохожих, особенно группами туристов, вышедших на веранду отеля, мимо которого мы проходили.

Цепь была довольно свободная, и мы со звоном и лязгом расселись попарно в вагоне для курящих. Как я ни пылал негодованием на оскорбление, нанесенное мне и моим праотцам, все же я был слишком практичен, чтобы потерять голову. Для меня все было ново! Мне предстояло тридцать таинственных дней, и я оглядывался, ища глазами человека, имеющего уже такой опыт. Я уже знал, что меня везут не в маленькую тюрьму с какой-нибудь сотней арестантов, а в настоящие арестантские роты с двумя тысячами узников, отбывающих от десяти дней до десяти лет заключения.

На скамейке за мной, прикованный к цепи за руку, сидел коренастый, плотный, мускулистый мужчина. На вид ему было лет тридцать пять — сорок. Я присмотрелся к нему. В уголках его глаз я заметил юмор и добродушие. В остальном же он походил на животное, похоже, был абсолютно аморален, со всеми инстинктами и силой зверя. Спасали его и делали для меня приемлемым именно эти уголки глаз: юмор и добродушие зверя, когда его покой не нарушен.

Он мне «приглянулся». Я «приглянулся» ему. И пока мой товарищ по кандалам, длинный негр, шутил и похохатывал, оплакивая какое-то белье, которого он мог лишиться из-за ареста, и покуда поезд катился к Буффало, я разговорился с человеком, сидевшим за моей спиной. Его трубка была пуста. Я наполнил ее моим драгоценным табаком — таким количеством, что его хватило бы на дюжину папирос. Да и чем больше мы с ним беседовали, тем больше я убеждался, что мы сойдемся, — и я разделил с ним весь мой табак.

Надо вам сказать, что я довольно покладистый малый, достаточно любящий жизнь, чтобы всюду приспособиться. Я поставил себе целью приспособиться к этому человеку, не подозревая даже, до чего удачным оказался мой выбор. Он никогда не бывал в «исправилке», куда нас везли, но успел посидеть год, два и три в других тюрьмах и был напичкан арестантской мудростью. Мы почти подружились, и мое сердце подпрыгнуло от радости, когда он посоветовал мне во всем следовать его примеру. Он называл меня «Джеком», и я называл его так же.

Поезд остановился на станции в пяти милях от Буффало, и нас, арестантов, вывели. Не помню, как называлась эта станция, но уверен, что она носила одно из следующих названий: Роклин, Роквуд, Блэкрок, Роккасль или Ньюкасль. Но как бы она ни называлась, сначала нас повели пешком на небольшое расстояние от станции, а затем посадили в «линейку». Это был старомодный дилижанс с сиденьями по обе стороны во всю длину экипажа. Всех пассажиров, сидевших на одной стороне, попросили перейти на другую, и мы с громким лязгом цепей заняли наши места. Я помню, мы сидели против пассажиров, помню выражение ужаса на лице одной женщины, которая, без сомнения, приняла нас за приговоренных к каторге убийц и банковых громил. Я напустил на себя самый свирепый вид, но мой компаньон по наручникам, веселый негр, не переставал вращать глазами и смеяться.

Мы вышли из дилижанса, прошли немного пешком и попали в контору исправительной тюрьмы — «исправилки». Здесь нас зарегистрировали, и в этом списке вы можете найти одну из двух моих фамилий. Нам объявили также, что мы должны оставить в конторе все наши ценности: деньги, табак, спички, карманные ножи и прочее.

Мой новый приятель, взглянув на меня, отрицательно покачал головой.

— Если вы не оставите вещей ваших здесь, их конфискуют в тюрьме! — предупредил чиновник.

Но мой приятель продолжал мотать головой. Он делал какие-то движения руками, пряча их за спиной других арестантов (наручники с нас уже сняли). Я наблюдал за ним и последовал его примеру, связав в носовой платок все, что хотел взять с собой. Эти узелки мы засунули себе за рубашки. Я заметил, что прочие арестанты, за исключением одного или двух, обладавших часами, не отдали своих пожитков

чиновнику в конторе. Они решили во что бы то ни стало пронести их контрабандой, доверившись случаю; но они оказались глупее моего приятеля и меня: они не связали своих пожитков в узелки.

Наша первая стража собрала наручники и цепи и уехала, а мы под охраной новой стражи пошли в тюрьму. Пока мы находились в конторе, к нам прибавилось несколько отрядов вновь прибывших арестантов, так что теперь мы шли процессией в сорок — пятьдесят человек.

Знайте же вы, не сидевшие в тюрьме, что передвижение в большой тюрьме так же стеснено, как была стеснена торговля в Средние века. Попав в исправительный дом, вы уже не можете двигаться в нем по своей воле. На каждом шагу вы встречаете огромные стальные двери или всегда запертые ворота. Нам нужно было пойти в парикмахерскую, но пришлось ждать, пока отпирали двери. Таким образом, мы задержались в первом же огромном зале, куда нас ввели. Представьте себе продолговатый куб, построенный из кирпичей, высотой в шесть этажей, и в каждом этаже ряды камер, скажем, по пятьдесят камер в ряд; лучше вообразите себе огромный пчелиный сот в виде куба. Поставьте этот куб на землю, окружите его стенами и покройте крышей — такой куб и окружающая его постройка и составляют «зал» в исправительной тюрьме в Эри, куда нас перевезли. Для полноты картины представьте себе узенькую галерею-балкон с железными перилами, проходящую по всей длине каждого ряда камер, а в концах этого продолговатого куба все эти галереи с обеих сторон соединяются на случай пожара системой узеньких стальных лестниц.

Мы остановились в первом зале, ожидая, пока сторожа отопрут дверь. Там и сям двигались каторжники с низко остриженными затылками и бритыми лицами, в полосатой тюремной одежде. Одного такого каторжника я заметил над нами на галерее третьего ряда камер. Он стоял, наклонившись вперед, опираясь о перила, и словно не замечал нашего присутствия. Глядел он куда-то в пространство. Мой новый приятель издал тихий шипящий звук. Каторжник глянул вниз. Они обменялись какими-то сигналами. Затем взвился вверх узелок моего приятеля. Каторжник молниеносно поймал его и спрятал в своей рубашке, опять безучастно уставившись в пространство. Приятель сказал мне, чтобы я последовал его примеру. Я улучил минуту, когда сторож повернулся ко мне спиной, и мой узелок полетел вверх и попал в рубаху каторжника.

Через минуту дверь отперли и нас ввели в парикмахерскую. Здесь находились люди в полосатой одежде каторжников — тюремные брадобреи. Были тут и ванны, и горячая вода, и мыло, и щетки. Нам приказали раздеться и выкупаться, потерев друг другу спину. Эта обязательная ванна была излишней предосторожностью, ибо тюрьма кишела насекомыми. После ванны каждому дали по холщовому мешку для одежды.

— Кладите все своё платье в мешок! — сказал сторож. — Не пытайтесь пронести что-нибудь запрещенное! Вам придется построиться голыми для осмотра. Те, у кого срок тридцать дней и меньше, могут оставить при себе башмаки и подтяжки; у кого больше тридцати дней, — не оставляйте ничего.

Это привело всех в замешательство. Как может голый человек пронести что-нибудь запрещенное? Только мой приятель и я были спокойны. Каторжные цирюльники приступили к работе. Они обходили новичков, любезно предлагая взять на свое попечение их драгоценные пожитки и обещая вернуть их. По словам этих цирюльников, они были настоящие филантропы. Кажется, нигде еще людей так быстро не разгружали. Спички, табак, папиросная бумага, трубки, ножи, деньги — решительно все попало в объемистые рубахи цирюльников. Они так и пузырились от добычи, а сторожа делали вид, что ничего не замечают. Короче говоря, не вернули ничего. Цирюльники и не собирались ничего возвращать. Они считали взятое добро своим законным достоянием. Это была добыча цирюльни. В этой тюрьме, как я впоследствии убедился, брались самые разнообразные поборы. Мне суждено было это узнать благодаря моему новому приятелю.

В цирюльне стояло несколько стульев, и брадобреи работали быстро. Я никогда не видел, чтобы людей так быстро брили и стригли! Арестанты намыливались сами, и цирюльники брили их со средней скоростью — один человек в минуту. Стрижка головы занимала чуть побольше времени. В три минуты с моего лица исчез пушок восемнадцатилетнего юнца, и моя голова стала гладкой, как бильярдный шар, осталась лишь поросль щетинок. Бороды и усы исчезли, как и наша одежда с ценностями. Можете поверить: когда нас отделали, мы имели вид форменных злодеев. Трудно и вообразить себе, до чего мы отвратительно выглядели!

Потом мы выстроились в шеренгу — человек сорок или пятьдесят — нагие, как герои Киплинга, штурмующие Лунгтунпен. Обыскивать нас было легко, на нас были только башмаки. У двух или трех неосторожных молодчиков, не поверивших цирюльникам, нашли их добро, а именно: табак, трубки, спички, мелкую монету — и в то же мгновение конфисковали. После этой операции нам принесли новое одеяние: толстые тюремные рубашки и куртки со штанами, все полосатое. Я прежде думал, что полосатое каторжное платье надевается лишь на людей, совершивших тяжкое уголовное преступление. Впрочем, я не стал предаваться размышлениям, надел на себя эту позорную одежду и затем впервые испытал маршировку «гуськом».

Выстроившись тесной вереницей друг другу в затылок, причем задний держал руки на спине переднего, мы перешли в другой большой «зал». Здесь нас выстроили длинной шеренгой у стенки, приказав обнажить левую руку. Молодой студент-медик, практиковавшийся на животных вроде нас, обходил ряды. Он делал прививку вчетверо проворней, чем цирюльники нас брили. Расставив всех так, чтобы мы не стерли лимфы, коснувшись рукой чего-нибудь, и дав крови засохнуть так, чтобы получился струп, нас развели по камерам. Здесь мы с моим новым приятелем разлучились, но он успел шепнуть мне: «Высоси!»

Как только меня заперли, я начисто высосал ранку. Впоследствии я видел людей, не сделавших этого: у них на руках образовались страшные язвы, в которые свободно вошел бы кулак! Сами виноваты! Могли ведь высосать…

В моей камере находился еще один заключенный. Это был молодой, на вид сильный парень, не разговорчивый, но очень ловкий и самый хороший товарищ, какого только можно встретить, — хотя он только что отбыл двухлетний срок в исправилке штата Огайо.

Не прошло и получаса, как по галерее прошел арестант, заглядывая в окошечки камер. Это был мой приятель. Как он объяснил, он имел право свободно расхаживать по «залу». Его камеру отпирали в шесть часов утра и не запирали до девяти вечера. У него здесь был приятель, и его уже назначили старостой, так называемым «коридорным». Человек, назначавший его, тоже был арестант и староста и назывался «первый коридорный». В нашем корпусе полагалось тринадцать коридорных — на каждый из десяти коридоров по одному, а над ними начальствовали первый, второй и третий коридорные.

Нам, новоприбывшим, придется остаться в камерах на весь остаток дня, чтобы «принялась» прививка, как объяснил мой приятель. Утром нас выведут на принудительные работы в тюремный двор.

— Но я избавлю тебя от работы, как только смогу! — пообещал он. — Я добьюсь увольнения одного из коридорных, чтобы тебя назначили на его место.

Засунув руку в рубашку, он вытащил оттуда платок с моими драгоценными пожитками, просунул мне его сквозь решетку и ушел по галерее дальше.

Я развязал узелок. Все оказалось на месте! Не пропало даже ни единой спички. Я поделился остатком папироски с моим товарищем по заключению. Когда я хотел зажечь спичку, он остановил меня. На наших койках лежало по тонкому грязному одеялу. Он оторвал узенькую полоску ткани, плотно скрутил ее и

вытянул в длинный тонкий цилиндр. Этот цилиндр он зажег драгоценной спичкой. Цилиндр из плотно свернутой бумажной ткани не воспламенился, только кончик его обуглился и начал тлеть. Медленное тление могло длиться несколько часов; товарищ называл это «трутом». Когда трут догорал, стоило только сделать новый трут, приложить его к старому, подуть — и огонек воскресал. Как видите, мы могли дать Прометею сто очков вперед по части хранения огня!

В двенадцать часов подали обед. В двери нашей клетки внизу было небольшое отверстие, вроде тех, что делают в курятниках. В это отверстие нам просунули два ломтя сухого хлеба и две мисочки «супа». Порция «супа» заключалась приблизительно в кварте кипятку, на поверхности которого одиноко плавала капля жиру. Было в этой воде и немного соли.

Мы выпили суп, но не тронули хлеба. Не то чтобы мы не были голодны или хлеб не съедобен, — хлеб был сносный, — но у нас были свои соображения. Мой товарищ обнаружил, что наша камера кишит клопами. Во всех щелях и промежутках между кирпичами, где выпала штукатурка, притаились огромные колонии клопов. Они дерзали показываться даже среди бела дня. У моего товарища уже был опыт по этой части. Как некий Роланд, он бесстрашно поднес рог к своим губам и объявил клопам войну. Началась небывалая битва. Она длилась часами, она была беспощадна. И когда последние из уцелевших врагов бежали в свои кирпичные и штукатурные крепости, дело наше было сделано только наполовину. Мы жевали хлеб, превращая его в известково-подобную массу, и как только бегущий воин скрывался в расселину между кирпичами, мы тотчас же залепляли ее прожеванным хлебом. Трудились мы до тех пор, пока не стало смеркаться и все отверстия, щели и трещины не оказались закупорены. С ужасом думаю о сценах голодной смерти и каннибализма, которые должны были разыграться за этими стенами из жеваного хлеба!

Мы бросились на койки, измученные и голодные, и стали ждать ужина. Для одного дня работы было достаточно. В следующие дни мы по крайней мере не будем страдать от полчищ насекомых! Мы отказались от обеда, спасая свою шкуру за счет желудков; но мы были довольны. Увы, сколь тщетны человеческие усилия! Едва был окончен наш долгий труд, как сторож отпер дверь: последовало перераспределение арестантов, нас перевели в другую камеру и заперли двумя галереями выше.

На другой день рано утром наши камеры отперли и внизу несколько сотен узников выстроились гуськом и пошли на тюремный двор работать. Канал Эри протекал у заднего двора исправительной тюрьмы. Работа наша заключалась в разгрузке приплывавших по каналу судов и в перетаскивании огромных, как шпалы, нарезных болтов в тюрьму. Работая, я примерялся к обстановке и исследовал возможность удрать. На это не было и тени надежды. По стенам расхаживала стража, вооруженная автоматическими ружьями, и, кроме того, сказали мне, в сторожевых башнях стояли пулеметы.

Я, впрочем, не огорчился. Тридцать дней не так уж много! Я потерплю, у меня только прибавится материала, который я использую, как только выйду на свободу, против этих гарпий правосудия. Я покажу, что может сделать американский юноша, когда его права и привилегии растоптаны, как были растоптаны мои! Мне отказали в праве предстать перед судом присяжных; мне отказали в праве признать себя виновным или не признать; мне даже отказали в суде (ибо не мог же я считать то, что происходило в Ниагарском Водопаде, судом!); мне не дали возможности снестись с адвокатом или с кем бы то ни было и, стало быть, отказали в праве жаловаться на нарушение моего habeas corpus; мне выбрили лицо, остригли волосы, надели на меня полосатую одежду каторжника; заставили выполнять каторжную работу за хлеб и воду и ходить «гуськом» под охраной вооруженной стражи. И за что это все? Что я сделал? Какое преступление я совершил? Чем я оскорбил граждан города Ниагарский Водопад? Я даже не нарушил правила, запрещающего ночевать на улице. Я спал не на улице, а в поле! Я даже не просил хлеба и не «клянчил монетки» на их улицах! Все, что я сделал, заключалось в том, что я прошелся по их тротуару и

поглядел на их грошовый водопад. Какое же это преступление? Юридически я не провинился ни в каком проступке. Ладно же, я им покажу, дайте срок!

На следующий день я обратился к надзирателю. Я потребовал адвоката. Надзиратель высмеял меня. Высмеяли меня и другие. Я был отрезан от внешнего мира! Я пытался написать письмо, но узнал, что письма читаются, подвергаются цензуре или конфискуются тюремными властями и что «краткосрочникам» вообще не позволяют писать писем. После этого я пытался посылать письма через освобождаемых арестантов, но узнал, что их обыскали, письма нашли и уничтожили. Ладно, все это отягчит обвинение, которое я предъявлю, выйдя на свободу!

Но по мере того, как тянулись тюремные дни, я становился рассудительнее. Я наслушался невероятных, чудовищных рассказов о полицейских, полицейских судах и адвокатах. Арестанты рассказывали мне о личных столкновениях с полицией, рассказывали вещи, наводящие ужас. Еще страшнее были рассказы о людях, которые погибли от рук полиции и поэтому не могли рассказать о себе. Много лет спустя в докладах «Комиссии Лексоу» мне пришлось читать правдивые и еще более страшные повести, чем те, каких я наслушался. В первые дни моего сидения в тюрьме я смеялся над всем, что мне рассказывали.

Но дни проходили, и я начал верить. Я собственными глазами увидел в этой тюрьме вещи невероятные и чудовищные.

Возмущение мое испарялось, в меня начал закрадываться страх. Я отчетливо понял наконец, против чего я восстал. Я присмирел, утихомирился. С каждым днем я все более укреплялся в решении не поднимать шуму, когда меня выпустят. Единственное, чего я ждал, это возможности уйти из этих мест. Именно это я и сделал, когда меня освободили. Я придержал язык, ушел тихоней и благоразумно стал пробираться в штат Пенсильвания.

Исправилка

Два дня я работал на тюремном дворе. Работа была тяжелая, и хотя я и отлынивал при всяком удобном случае, я скоро совсем извелся. Причиной было скудное питание. На такой кормежке никто не мог хорошо работать. Хлеб и вода — вот все, что нам давали. Раз в неделю полагалось мясо, но мясо это не всегда доходило до нас, и так как из него предварительно вываривались все питательные элементы для приготовления «супа», то уже было все равно: пробовать раз в неделю это мясо или не пробовать совсем.

Кроме того, в нашей хлебно-водяной диете был один существенный дефект. Получая в изобилии воду, мы не получали достаточно хлеба. Хлебный паек был размером с два мужицких кулака, и каждому заключенному выдавалось три таких пайка на день. Должен сказать, у воды было одно хорошее качество — она была горячая. Утром она называлась «кофе», в полдень ее величали «супом», а вечером она выдавалась как «чай». Но это была все та же вода. Арестанты называли ее «заколдованной водичкой». Утром она была черной оттого, что ее кипятили с горелыми корками хлеба. В полдень ее подавали бесцветной с солью и каплей жиру. Вечером она приобретала пурпурно-каштановый цвет, не поддающийся никакому определению; чай был из рук вон дрянной, но вода была отменно горяча.

Очень голодная публика сидела в исправительной тюрьме округа Эри! Только «долгосрочники» знали, что значит поесть. Дело в том, что они довольно скоро научились кормиться пайками, выдававшимися «краткосрочникам». Я знаю, что долгосрочники получали более сытную еду; их было много в нижнем этаже нашего корпуса, и в бытность свою старостой я воровал у них провиант при раздаче. Человек не может жить одним хлебом, да еще получаемым в недостаточном количестве!

Мой приятель был источником земных благ: он выполнил свое обещание. После двух дней работы во дворе меня вывели из моей камеры и сделали старостой — «коридорным». Утром и вечером старосты разносили хлеб заключенным в их камеры. Но в полдень применялся другой прием. Заключенные возвращались с работы длинной вереницей. Войдя в дверь нашего корпуса, они разрывали цепь и снимали руки с плеч товарищей, шедших впереди. Сразу же за дверью стояли лотки с хлебом, и здесь же находился первый коридорный и два его помощника. Я был одним из них. Нашей задачей было держать лотки с хлебом, пока не пройдет шеренга заключенных. Как только лоток, скажем, мой, опорожнялся, мое место занимал другой коридорный с новым полным лотком. Когда опорожнялся этот, я занимал его место. Так мимо нас непрерывно проходили ряды заключенных, и каждый протягивал правую руку и брал хлебный паек с лотка.

Другую работу выполнял первый коридорный. При нем была дубинка. Он стоял возле лотка и наблюдал. Несчастные голодные арестанты не всегда могли отделаться от иллюзии, что когда-нибудь можно сцапать с лотка лишний кусок хлеба. Но на моей памяти им это ни разу не удалось! Дубинка первого коридорного с молниеносной быстротой выбрасывалась вперед и с проворством лапы тигра опускалась на дерзновенную руку. У первого коридорного был отличный глаз, и он набил этой дубинкой столько рук, что не мог промахнуться. Промахов и не было, обычно он наказывал провинившегося заключенного тем, что отбирал у него законный паек и отправлял в камеру обедать горячей водой.

Не раз случалось, что в то время, как все эти люди лежали голодные в своих камерах, я видел сотню и более пайков, припрятанных в камерах коридорных! Казалось, нелепо было удерживать чужой хлеб! Но это был наш доход! В нашем корпусе мы были хозяева и проделывали приблизительно то же, что позволяли себе хозяева государственного масштаба. Мы заведовали снабжением населения продовольствием и совершенно так же, как наши собратья, бандиты с «воли», заставляли публику дорого платить за это. Мы торговали этим хлебом. Раз в неделю люди, работавшие во дворе, получали кусочек

прессованного табака для жевания стоимостью в пять центов. Этот жевательный табак был денежной единицей нашего царства. Обычно мы выменивали два-три пайка хлеба за кусочек табака, и заключенные покупали его у нас не потому, что меньше любили табак, но потому, что больше любили хлеб. О, я знаю, это было то же самое, что отнимать конфетку у ребенка, но что вы хотите, надо было жить! Инициатива и предприимчивость должны же быть вознаграждены! Кроме того, мы лишь подражали примеру людей за стенами тюрьмы, которые в более широком масштабе и под более почетной маской купцов, банкиров и промышленников делали то же, что и мы. Что сталось бы с этими беднягами без нас, я даже не мог себе представить. Небу известно, что мы пускали хлеб в народное обращение по тюрьме. Да еще поощряли бережливость и экономию… у бедняг, отказывавшихся от табака. Мы подавали им пример! В сердце каждого арестанта мы насаждали честолюбивое стремление уподобиться нам и тоже заняться коммерцией. Мы были спасителями общества — так, думаю я, надо понимать это дело.

Вот голодный человек без табака. Может, он мот и все израсходовал на себя. Отлично — у него пара подтяжек. Я предлагаю за них полдюжины пайков хлеба или дюжину пайков, если подтяжки окажутся очень хорошего качества. Нужно вам сказать, что я не ношу подтяжек, но это неважно. За углом живет «долгосрочник», отбывающий десять лет заключения за убийство. Он носит подтяжки, и ему понадобилась одна пара. Я могу поменять ему подтяжки на имеющееся у него мясо. А мне хочется мяса. А может, у него найдется какой-нибудь потрепанный роман в бумажной обложке. Это находка! Я могу его прочесть, а потом сбыть пекарям за пирожное или поварам за мясо и овощи, или истопнику за приличный кофе, или еще кому-нибудь за газеты, которые иногда просачивались в тюрьму, один Аллах ведает, какими путями. Все эти повара, пекари и истопники были такими же арестантами, как и я, и жили в нашем корпусе, в первом ряду камер над нами.

Короче говоря, в нашей «исправилке» царила высоко развитая система товарообмена. Были в обращении и деньги. Эти деньги попадали контрабандой через краткосрочников, а чаще всего — из цирюльни, где обирали новичков; главная же масса денег шла из камер долгосрочников — как они их добывали, не могу понять.

Кроме своего видного положения, первый коридорный слыл еще и богачом. Помимо других источников дохода, он обирал и нас. Мы эксплуатировали бедственное положение арестантов, а первый коридорный был генерал-эксплуататор над всеми нами. Свои личные доходы мы получали с его разрешения и за это разрешение должны были платить ему. Как я уже говорил, его считали богатым человеком, но мы не видели его денег, и жил он в своей камере в блестящем одиночестве.

У меня есть прямые доказательства того, что деньги в тюрьме имелись — в течение некоторого времени я сидел в одной камере с третьим коридорным. У него было больше шестнадцати долларов. Обычно он пересчитывал их каждый вечер после девяти часов, когда нас запирали. И каждый вечер он рассказывал мне, что со мной сделает, если я выдам его другим коридорным. Он, видите ли, боялся, что его ограбят, а эта опасность угрожала ему с трех разных сторон. Со стороны охраны: несколько охранников могли наброситься на него, задать ему трепку за мнимое неповиновение и посадить в «одиночку» (карцер), а в суматохе улетучились бы его шестнадцать долларов. Далее, первый коридорный мог отнять у него все деньги под угрозой уволить и отправить обратно на тяжелые работы в тюремном дворе. И, наконец, оставалось еще десять человек простых коридорных. Пронюхай мы о его богатстве, легко могло бы случиться, что в один прекрасный день вся наша банда загнала бы его в угол и ограбила. О, мы были волки, поверьте мне, совершенно как те господа, которые делают бизнес на Уолл-стрит.

У него были все основания бояться нас, и, стало быть, мне надо было бояться его. Это было огромное невежественное животное, отбывшее пять лет в тюрьме Синг-Синг, и притом животное плотоядное. Он ловил силками воробьев, залетавших в наш зал сквозь прутья решеток. Поймав жертву, он уходил с ней в

свою камеру, и я видел, как он пожирал ее живьем, хрустя косточками и выплевывая перья! О нет, я не выдавал его другим коридорным! Вы, читатель, первый, которому я рассказываю об этих шестнадцати долларах.

Тем не менее я умудрялся эксплуатировать его. Он был влюблен в одну заключенную из «женского отделения». Он не умел ни читать, ни писать, и я читал ее письма к нему и писал за него ответы. И за это заставлял платить мне! Зато я писал отличные письма! Я очень старался, выискивал самые лучшие выражения, и, мало того, я покорил ее для него, хотя, думаю, что она влюбилась не в него, а в скромного автора писем. Повторяю, письма были первый сорт!..

Другим видом наших доходов была «передача трута». Мы были небесные посланцы, носители огня в этом железном мире замков и решеток. Когда люди возвращались с работы к вечеру и их запирали в камеры, им смертельно хотелось курить. Тогда-то мы разжигали божественную искру и обегали коридоры, от камеры к камере, с нашим тлеющим трутом. Те, кто был поумнее или с которыми мы уже имели дело, держали свои труты наготове. Однако не каждый получал божественную искру. Арестант, отказывавшийся раскошелиться, ложился спать без искры и без курева! Но что нам было до этого? Преимущество было на нашей стороне; и если он начинал протестовать, двое-трое из нас бросались на него и задавали ему трепку.

У коридорных была своя философия. Нас было тринадцать коридорных. В нашем коридоре размещалось около пятисот заключенных. Предполагалось, что мы работаем для поддержания порядка. Последнее входило в обязанности надзирателей, а те перепоручали его нам. Стало быть, мы должны были поддерживать порядок; если мы этого не сделаем, нас погонят на тяжелые работы, по всей вероятности, предварительно отправив в карцер. Но пока мы поддерживаем порядок, мы можем обделывать свои делишки.

Теперь вдумайтесь хорошенько. Нас было тринадцать животных на пятьсот других. Наша тюрьма — это сущий ад, и тринадцать человек должны были им править. Править с помощью доброты было немыслимо, принимая во внимание характер этих животных. И мы управляли с помощью террора. Разумеется, мы опирались на охрану. В крайних случаях мы призывали их на помощь; но если бы мы стали тревожить их слишком часто, это бы им надоело и они нашли бы на наше место более надежных старост. Но мы обращались к ним редко, только тогда, когда, например, нужно было отпереть камеру, чтобы подойти к непослушному арестанту. В подобных случаях надзирателю оставалось только отпереть дверь и уйти, чтобы не видеть, как с полдюжины коридорных вваливаются в камеру и начинают избивать заключенных.

О подробностях такого избиения я ничего не скажу. В конце концов избиения были лишь меньшим из непередаваемых ужасов, происходивших в нашей тюрьме. Я говорю «непередаваемых», а по справедливости должен был бы сказать «невообразимых». Они были невообразимы для меня, пока я не увидел их, а я хорошо знал и жизнь, и жуткие бездны человеческого падения. Понадобился бы длинный лот, чтобы измерить глубину этой тюрьмы. Я здесь только слегка и шутливо задеваю поверхность явлений, которых я там насмотрелся…

Временами, например, по утрам, когда арестанты спускались вниз умываться, мы, тринадцать человек, буквально тонули в их массе, и самый последний из заключенных понимал это. Тринадцать против пятисот! Но мы управляли страхом. Мы не могли допустить ни малейшего нарушения правил, ни малейшей дерзости по отношению к себе. Позволить это значило погибнуть. У нас было правилом: ударить человека, едва он раскроет рот, ударить сильно, бить чем попало. Весьма отрезвляющее действие производила ручка метлы, если ткнуть ею прямо в лицо. Но это еще было не все! Такой ослушавшийся должен был послужить примером другим; поэтому вторым правилом было погнаться за ним в толпе. Разумеется, наверняка знали, что каждый коридорный, увидев погоню, примет участие в наказании

строптивого, — и это было правилом. Когда у коридорного случался конфликт с заключенным, то обязанностью другого коридорного, оказавшегося поблизости, было пустить в ход свои кулаки. В чем бы ни было дело, следовало бросаться и бить чем попало, сбить нарушителя с ног.

Помню красивого молодого мулата лет двадцати, которому пришла в голову безумная мысль отстаивать свои права. Он был прав, но это ему мало помогло. Жил он на самом верхнем этаже. Восемь коридорных выбили из него спесь ровно за полторы минуты, ибо как раз столько времени требовалось, чтобы протащить его через весь коридор и стальные ступени с пятого этажа донизу. Этот путь он проделал всеми частями своего тела, за исключением ног, и восемь коридорных не тратили времени попусту. Мулат грохнулся о каменный пол возле меня. Он встал на ноги и с минуту стоял прямо. Потом широко раскинул руки и испустил страшный вопль ужаса и боли. В то же мгновение, словно в какой-нибудь фантасмагории, с него свалились лохмотья толстой тюремной одежды, оставив его совершенно нагим; из каждой поры его тела лилась кровь. Он упал без чувств, безжизненным мешком. Он получил урок, и все каторжники, находившиеся в тюрьме и слышавшие его крик, зарубили этот урок себе на носу. Зарубил себе на носу и я! Жутко видеть человека, приведенного в подобное состояние за какие-нибудь полторы минуты…

А вот как мы обделывали делишки по торговле трутом. В наши камеры привели новичков. Вы проходите с вашим трутом мимо решетки. «Дай огоньку!» — кричит вам кто-нибудь. Это значит, что у человека есть табак. Вы просовываете трут и идете дальше. Немного спустя вы возвращаетесь и как бы случайно прислоняетесь к решетке. «Не дашь ли ты нам табачку?» — говорите вы. Если он не имеет опыта, то, весьма возможно, он торжественно станет клясться, что у него больше нет табаку. Отлично! Вы сочувствуете ему и идете своей дорогой. Но вы знаете, что трута ему хватит только до конца дня. На другой день вы проходите мимо, и он опять просит: «Эй, дай огоньку!» А вы отвечаете: «У тебя нет табаку, и тебе не нужен огонек!» И вы не даете ему «огоньку». Через полчаса или через час, или два, три часа вы опять проходите мимо, и он окликнет вас, значительно поубавив тону: «Подойдите-ка сюда, бо!» Вы подходите, просовываете руку сквозь прутья решетки, и вам насыпают в нее драгоценного табаку. После этого вы даете ему «огоньку».

Иногда приходит новичок, на котором ничего нельзя заработать. По тюрьме пускается таинственное предписание, что с ним надо обращаться «по-божески». Откуда берется этот слух, я не знаю; ясно только, что у человека есть протекция. Может быть, в лице одного из старших коридорных; может быть, охранник в другой части тюрьмы; может быть, хорошее отношение куплено у кого-то повыше; как бы там ни было, мы знаем, что с ним надо хорошо обращаться, если мы хотим избежать неприятностей.

Мы, коридорные, были в тюрьме посредниками и почтальонами. Мы устраивали сделки между арестантами, заключенными в разных частях тюрьмы, и производили товарообмен. Мы выполняли всякие поручения, и иной предмет, подлежавший обмену, проходил по меньшей мере через руки десятка посредников, из которых каждый брал свою долю или получал ту или иную плату за свои услуги.

Иногда я оказывался в долгу за услуги, иногда мне были должны другие. Так, в тюрьму я вошел должником арестанта, который контрабандой спас мои вещи. Где-то через неделю один из истопников сунул мне в руки письмо, которое ему вручил цирюльник. Цирюльник получил его от заключенного, который помог мне пронести вещи. Так как я был перед ним в долгу, то обязан был передать письмо дальше. Но письмо было не от него. Автором письма был долгосрочник из его коридора. Письмо предназначалось заключенной, сидевшей в женском отделении. Но адресовалось ли оно именно ей или она в свою очередь служила лишь одним из звеньев цепи посредников, мне было неизвестно. Мне только указали ее приметы, и я должен был передать письмо ей.

Прошло два дня, в течение которых я носил письмо при себе; наконец, представился удобный случай. Женщины занимались починкой белья арестантов. Нескольких коридорных посылали в женское отделение

с большими узлами белья. Я уговорил первого коридорного отрядить меня туда. Дверь за дверью отпиралась перед нами, и мы прошли через всю тюрьму на женскую половину. Нас ввели в огромную комнату, где женщины сидели за починкой белья. Я начал искать глазами женщину по данному мне описанию и, отыскав ее, стал пробираться к ней. За женщинами следили две матроны с ястребиными глазами. Я держал письмо зажатым в ладони и многозначительно посмотрел на ту женщину, которой должен был передать письмо. Она поняла, что у меня есть к ней дело; должно быть, она ждала передачи, а с первой минуты, как мы вошли, пыталась угадать, кто посыльный. Но в двух футах от нее торчала одна из надзирательниц, коридорные уже начали собирать узлы с бельем, которое мы должны были унести. Минуты бежали! Я возился над своим узлом, делая вид, будто он плохо увязан. Неужели надзирательница не отвернется? Или моя затея сорвется? Но как раз в это мгновение другая женщина начала заигрывать с одним из коридорных: шутя ударила его или ущипнула, не знаю, что именно она сделала. Надзирательница глянула в ее сторону и стала ругать. Не знаю, было ли это все нарочно подстроено, чтобы отвлечь внимание надзирательницы, но я понял, что нужно использовать это мгновение. Рука женщины, ожидавшей письмо, небрежно скользнула с колена на пол. Я нагнулся поднять узел и, нагибаясь, сунул ей в руку письмо, получив взамен другое. В следующее мгновение узел был у меня на спине; надзирательница остановила на мне взгляд, так как я задержался, и я поспешил догнать моих товарищей. Полученное от женщины письмо я передал истопнику, оно прошло через руки цирюльника, затем заключенного, пронесшего мои вещи, и, наконец, попало в руки долгосрочника на другом конце тюрьмы.

Мы часто передавали письма таким сложным путем, что не знали ни отправителя, ни получателя. Мы были лишь звеньями в цепи. Какой-нибудь арестант тыкал мне в руки письмо с просьбой передать следующему. За все такие услуги впоследствии полагалась плата: сталкиваясь непосредственно с главным агентом по передаче писем, я получал ее. Вся тюрьма была покрыта сетью такой связи. Разумеется, мы, заведовавшие этой системой сообщения, взимали дань с наших клиентов по точному образцу капиталистического общества. Это была услуга только ради выгоды, хотя иногда мы не отказывались делать одолжение не в службу, а в дружбу.

Во все время пребывания в исправилке я старался ладить с моим товарищем. Он много сделал для меня и того же ожидал взамен. По выходе на волю мы должны были вместе «бродяжничать» и, нечего и говорить, вместе «варганить дела». Мой товарищ был уголовный преступник, правда, не первого класса, а просто мелкий преступник, готовый украсть, ограбить, разгромить квартиру и, если его накроют, не остановиться перед убийством. Много мирных часов мы с ним просидели и долго толковали. На ближайшее будущее у него было намечено два или три дельца, в которых мне отводилась определенная роль, и я принимал участие в разработке этих планов. Я знал многих преступников, и мой новый приятель не подозревал, что я только дурачил, морочил ему голову в течение тридцати дней. Он принимал меня за «настоящий товар», и я нравился ему за то, что был неглуп; может быть, он даже привязался ко мне. Разумеется, я не имел ни малейшего намерения связывать с ним свою дальнейшую жизнь и участвовать в грязных мелких преступлениях; но я был бы идиотом, если бы отверг все выгоды от дружбы с ним. Когда ходишь по горячим плитам преисподней, не приходится выбирать дорожек. Следовало быть заодно с «компанией» или нести каторжную работу за хлеб и за воду; чтобы быть заодно с «компанией», я должен был ладить с моим новым приятелем.

Нельзя сказать, чтобы жизнь в тюрьме отличалась монотонностью. Каждый день что-нибудь случалось: у арестантов случались истерики, кто-то сходил с ума, происходили драки или напивались коридорные. Нашей главной звездой в этом отношении был Скиталец Джек, один из младших коридорных. Это был профессиональный, заядлый бродяга и поэтому пользовался благоволением надсмотрщиков. Джо Питсбург, второй коридорный, обычно присоединялся к Скитальцу Джеку в его затеях; любимым афоризмом этой парочки была поговорка, что наша исправилка — единственное место,

где можно напиться и не попасть под арест. Лично я не видел, но мне рассказывали, что они опьянялись бромистым калием, который неведомыми способами добывали из лазарета. Но каковы бы ни были источники хмельного, я знаю, что они его добывали и время от времени напивались.

Наш корпус был настоящим притоном. Наполненный подонками общества и потомственными бездельниками, дегенератами, калеками, умалишенными, свихнувшимися, эпилептиками, чудовищами, он был воплощением кошмара человеческого отребья. Поэтому у нас нередко бывали припадки истерики. Эти припадки, кажется, были заразительны. Один человек начинал метаться — другие следовали его примеру. Я видел по семи человек, одновременно бившихся в припадке; они оглашали воздух пронзительными криками, а столько же других помешанных бормотало и неистовствовало вокруг них. Припадочным не оказывалось никакой помощи, если не считать того, что их обливали холодной водой. Посылать за студентом-медиком или за врачом было бесполезно. Они не любили беспокоить себя по такому незначительному поводу.

Был у нас молодой голландец, мальчик лет восемнадцати, с которым чаще всего случались такие припадки, обычно по припадку в день. По этой причине мы и держали его на нижнем этаже, подальше от коридора, в котором жили сами. После того как с ним случилось несколько припадков в тюремном дворе, охрана перестала беспокоиться о нем, и он целый день сидел взаперти с одним англичанином, посаженным к нему за компанию. Нельзя сказать, чтобы эта «компания» была ему чем-нибудь полезна. Когда на голландца накатывало, англичанин только смотрел на него, замирая в состоянии шока.

Голландец не знал ни слова по-английски. Он был сыном фермера и отбывал девяносто дней тюрьмы за то, что ввязался в какую-то драку. Припадки его начинались с воя — настоящего волчьего воя. Переживал он свою падучую стоя; это было весьма неудобно для него, ибо припадки всегда оканчивались тем, что он навзничь летел на пол. Заслышав волчий вой, я хватал метлу и бежал к его камере. Старостам не доверяли ключей от камер, стало быть, я не мог войти к нему. Он стоял посреди своей тесной камеры, судорожно вздрагивая и закатив глаза так, что виднелись одни белки, и дико выл. Сколько я ни пытался, я никак не мог убедить англичанина оказать больному помощь. Тот стоял и выл, а англичанин, скрючившись, трясся на своей верхней койке, устремив застывший в ужасе взгляд на страшную, дико завывавшую фигуру с закатившимися белками. Ему, этому бедняге англичанину, тоже было несладко. У него самого с мозгами не все было в порядке. Нужно только удивляться тому, как он не сошел с ума!

Самое большее, что я мог сделать, это действовать метлой. Я просовывал ее сквозь решетку, упирал в грудь голландца и ждал. По мере приближения кризиса он начинал раскачиваться взад и вперед. Я следовал ручкой метлы за его движениями, ибо трудно было сказать, когда именно он рухнет. И когда происходило это страшное падение, я был с метлой тут как тут, подхватывая его и полегоньку опуская на пол. Но сколько я ни старался, он часто падал с размаху, и лицо его вечно было покрыто ссадинами от ударов о каменный пол. Когда он падал и начинал извиваться в конвульсиях, я выливал на него ведро воды. Не знаю, нужно ли было лить холодную воду, но таков был обычай в нашей исправительной тюрьме! Больше ему не оказывали никакой помощи; так он лежал час или два, а потом залезал на свою койку. Я никогда не обращался за помощью к охране. Да и чем можно помочь припадочному?

В соседней камере жил странный субъект — человек, отбывавший шестьдесят дней за то, что он поел помоев из ушата в цирке; по крайней мере так утверждал он. Он был не совсем «в себе», но первое время вел себя очень смирно. Все происходило именно так, как он рассказывал. Однажды, забредя в цирк, терзаемый голодом, он пробрался к ушату, в который бросали остатки еды циркачей. «Там был хороший хлеб, — уверял он меня, — а мяса ни крошки…» Его застал за этим делом полисмен, арестовал, а судья отправил его в тюрьму.

Однажды я проходил мимо его камеры с кусочком упругой и тонкой проволоки в руке. Он так

настойчиво стал выпрашивать ее, что я сунул ему проволоку сквозь решетку. Быстро, без всякого орудия, кроме собственных пальцев, он разломал проволоку на несколько кусочков и согнул из них полдюжины неплохих английских булавок. Кончики он заострил о каменный пол. После этого я завел торговлю английскими булавками. Я поставлял ему сырье и продавал готовый продукт, изготовленный им. В виде заработной платы я выдавал ему добавочный паек хлеба и время от времени жаловал ломтик мяса или суповую мозговую кость.

Но тюремный плен стал плохо сказываться на нем, и он с каждым днем становился все более буйным. Коридорные любили дразнить его. Они вызывали бурю в его слабом мозгу рассказами о большом состоянии, якобы завещанном ему. Его арестовали и посадили в тюрьму будто бы для того, чтобы лишить наследства. Разумеется (и он это знал), закона, запрещающего есть из ушата, не существует. Стало быть, его посадили незаконно! Все это заговор с целью лишить его состояния.

Мне это рассказали, когда я однажды остановился узнать, почему хохочут коридорные: они потешались над ним. Вскоре он пригласил меня на серьезное совещание, рассказал о своих миллионах и о заговоре и назначил меня своим сыщиком. Я всячески старался помаленьку разубедить его, туманно намекал на ошибку, на то, что существует однофамилец — настоящий законный наследник. Мне удалось значительно охладить его, но я не мог запретить развлекаться коридорным, а те продолжали дразнить его пуще прежнего. Кончилось тем, что после дикой сцены он прогнал меня, лишил мандата частного сыщика и объявил забастовку. Пришлось мне прекратить торговлю английскими булавками. Он отказался делать их и колол меня «сырым материалом» сквозь решетку своей камеры, когда я проходил мимо. Помириться с ним мне так и не удалось. Коридорные рассказали ему, что я поступил в сыщики к его врагам, и доводили его до безумия своими россказнями. Он в конце концов превратился в опасного помешанного, способного на убийство. Охранники отказывались слушать его повествования об украденных миллионах, и он обвинял их в том, что они участвуют в заговоре. Однажды он ошпарил охранника из кружки горячим чаем, и тогда его дело расследовали. Явился надзиратель, поговорил с ним через решетку. Затем его подвергли длительному обследованию. Больше он не возвращался, и я часто думаю: в могиле ли он или продолжает бормотать о своих миллионах в каком-нибудь сумасшедшем доме?

Наконец, наступил великий день — день моего освобождения. Это был и день освобождения третьего коридорного. Девушка-краткосрочница, сердце которой я завоевал для него своими письмами, ожидала его за стенами тюрьмы. Счастливые, они ушли. Мы с моим товарищем вышли вместе и вместе направились в Буффало. Разве мы не решили быть вечно вместе? Вместе мы выпросили на большой дороге несколько монеток и все, что «настреляли», потратили на «банки» пива — по три цента каждая. Все это время я искал случая улизнуть. У встретившегося на дороге бродяги я узнал, что в такой-то час отходит товарный поезд. В соответствии с этим я распределил свое время. Когда наступил момент, мы с товарищем находились в трактире. Перед нами пенились две «банки» пива. Мне хотелось попрощаться с ним. Он хорошо относился ко мне… Но я не посмел. Я вышел через заднюю дверь трактира и перелез через забор. Побег совершился быстро, и спустя несколько минут я уже стоял на площадке товарного поезда и мчался на юг по Западной железной дороге Нью-Йорк — Пенсильвания.

Бродяги, проходящие ночью

В дни своих скитаний я встречал сотни бродяг, которых я окликал или которые меня окликали, с которыми я проводил время у водокачки, кипятил воду, варил немудреную пищу, попрошайничал по дорогам и в домах и ловил поезда, — они проходили, и я их больше не видел. Но были бродяги, проходившие и вновь возвращавшиеся поразительно часто, и наконец были такие, которые проходили мимо, как привидения, почти невидимые.

За одним таким бродягой я гнался однажды на протяжении трех тысяч слишком миль железной дороги — и мне ни разу не удалось взглянуть ему в лицо. Его кличка была «Парусный Джек». В первый раз я встретил это имя в Монреале. Это был вырезанный складным ножом парус корабля. Работа была мастерская! Под рисунком виднелась надпись: «Парусный Джек», а повыше пометка: «Н. З. 10–15 — 94». Это значило, что он миновал Монреаль, проехав в западном направлении 15 октября 1894 года. Он только на сутки обогнал меня! Моей же кличкой в то время было «Матрос Джек»; я тотчас же вырезал ее рядом с его именем, с указанием числа и месяца и того, что также направляюсь на запад.

К сожалению, я пропустил следующие сто миль и только через восемь дней опять напал на след Парусного Джека в трехстах милях западнее Оттавы. Вот он, этот герб, вырезанный на водокачке! По дате я видел, что и он задержался. Он только на два дня обогнал меня! Я был «кометой», царственным бродягой, как и Парусный Джек; и догнать его для меня было вопросом чести и репутации. Я ехал по железной дороге день и ночь и обогнал его; потом он, в свою очередь, перегнал меня. От бродяг, направлявшихся на восток, я иногда узнавал кое-что о нем; от них же я узнал, что он заинтересовался Матросом Джеком и расспрашивал обо мне.

Если бы мы встретились, мы составили бы отменную парочку, думаю я; но нам никак не удавалось встретиться! Всю Манитобу я прошел впереди него. Но он обогнал меня в Альберте; и в одно отвратительное серое утро в конце линии, восточнее перевала Брыкливой Лошади, я узнал, что его видели накануне вечером между перевалом Брыкливой Лошади и перевалом Роджера. Любопытно, как я узнал об этом: всю ночь я ехал в «пульмановском вагоне с боковой дверью» (попросту в товарном вагоне) и чуть не подох от холода, когда вылез на станции «пострелять» поесть. Земля была окутана морозным туманом, и я обратился к нескольким кочегарам, которых застал в паровозном депо. Они поделились со мной остатками своего завтрака; кроме того, я выудил у них чуть не кварту божественной «Явы» (кофе). Я разогрел кофе и только сел поесть, как с запада подошел товарный поезд. В одном вагоне отодвинулась дверь и из него вылез бродяга. Он, прихрамывая, направился ко мне. Видно было, что он закоченел от холода, губы у него посинели. Я разделил с ним кофе и пищу, разузнал о Парусном Джеке, спросил, кто он сам. Вообразите, он был из моего родного города Окленда, в Калифорнии, и числился членом знаменитой шайки Боу, в которую я время от времени попадал! С полчаса мы толковали с ним, уплетая мой провиант. Потом мой поезд тронулся, и я, вскочив на площадку, поехал дальше на запад по следам Парусного Джека.

Между горными перевалами я задержался, ходил два дня без еды, на третий день прошел пешком одиннадцать миль, пока раздобыл еду, и все же мне удалось перегнать Парусного Джека на реке Фрезер, в Британской Колумбии. В ту пору я ездил на «пассажирах» — на пассажирских поездах — и нагонял время. Но, должно быть, и он ездил на «пассажирах» и, вероятно, искуснее меня, ибо попал в Мишн раньше меня.

Мишн — узловая станция в сорока милях к востоку от Ванкувера. От этой станции можно проехать на юг через Вашингтон и Орегон по Северо-Тихоокеанской дороге. Меня занимала мысль: какой путь изберет Парусный Джек? Я думал, что обгоняю его. Лично я все еще направлялся на запад, к Ванкуверу. Я пошел к водокачке оставить о себе памятку и здесь нашел отметину Парусного Джека с указанием числа. Я

поспешил в Ванкувер. Но он уже исчез. Он немедленно сел на корабль и теперь летел на запад, продолжая свою авантюру. Поистине, Парусный Джек, ты был царственный бродяга, и под стать тебе только «ветер, облетающий мир!». Снимаю перед тобой шляпу! Ты настоящий, чистокровный бродяга! Через неделю я также сел на корабль и на борту парохода «Уматилла», на баке, поплыл в Сан-Франциско. О Парусный Джек и Матрос Джек, встретитесь ли вы когда-нибудь?

Железнодорожная водокачка — адрес-календарь бродяг. Не зря вырезывают бродяги на них свои прозвища, даты и маршруты. Сколько раз я встречал бродяг, которые серьезнейшим образом расспрашивали меня, не встречал ли я где-нибудь такого-то и такого-то бродягу или его герба. Я столько раз имел возможность назвать последний герб, водокачку и направление странствий бродяги! Получив эти сведения, спрашивающий устремлялся по следам разыскиваемого товарища. Я встречал бродяг, которые в погоне за товарищем дважды проезжали весь американский материк, в прямом и обратном направлении, и все же не бросали поисков.

Гербы (клички) — это железнодорожные псевдонимы, которые бродяги сами выдумывают или которые им дают их товарищи. Так, например, Трусоватый Джек был труслив, поэтому товарищи и дали ему это прозвище. Ни один уважающий себя бродяга не избрал бы себе в товарищи Бума-Помойку! Весьма немногие бродяги любят вспоминать такие гнусные моменты своей жизни, когда им приходилось работать; поэтому гербы, основанные на профессиях, встречаются редко, хотя я помню кое-кого: Модельщика Блэкки, Рыжего Красильщика, Жестянщика Ши, Котельщика, Моряка и Печатника. Ши — так бродяги называют Чикаго.

Очень любят бродяги придумывать себе клички по названию местностей, откуда они родом: Нью-Йоркский Томми, Тихоокеанский Слим, Смит из Буффало, Тим Контонский, Джо из Питтсбурга, Сиракузский Глянец, Троянский Мики, Коннектикутский Джимми. А были и такие: «Тощий Джим с Уксусной Горки, которому труды всегда были горьки». «Глянец» — всегда негр; кличка, по-видимому, заимствована от бликов света на негритянских физиономиях. Тихоокеанский Глянец или Толедский Глянец — кличка означает место рождения и национальность.

Из кличек, отражающих национальность, я вспоминаю следующие: Еврейчик из Фриско, Нью-Йоркский Ирландец, Мичиганский Француз, Джек-Англичанин, Козел-Лондонец и Голландец из Мильвоки. Другие, по-видимому, берут свои клички отчасти по цвету кожи, как-то: Май-Беляночка, Красный из Нью-Джерси, Черномазый из Бостона, Шоколад из Сиэттла, Желтый Дик и Желтобрюхий — последний был креолом с Миссисипи, которому, я думаю, навязали эту кличку.

Много воображения понадобилось бродягам, принявшим такие имена: Царственный Техасец, Счастливый Джо, Буян Конорс, Дородный Бо, Ураган Чумазый и Мак-Кол Касатель. Другие, с более скудной фантазией, берут прозвища применительно к своим физическим особенностям, как-то: Ванкуверская Чахотка, Коротышка из Детройта, Пузан из Огайо, Длинный Джек, Большой Джим, Джо Мелкота, Нью-Йоркский Мигало, Носач из Ши и Бен-Перебитый-Хребет.

Особняком стоят «дорожные мальцы», или «хваты» (особая разновидность бродяг), клички которых отличаются бесконечным разнообразием. Вот, например, какие встречались мне: Олений Хват, Слепой Хват, Хват-Букашка, Священный Хват, Хват-Нетопырь, Быстроногий Хват, Хват-Поваренок, Хват-Обезьяна, Хват из Айовы, Плисовый Хват, Хват-Оратор и Хват-Наглец (уж можете быть уверены, что он был наглец!).

Лет двенадцать тому назад на водокачке станции Сан-Марсиал, в Новой Мексике, красовался такой путеводитель для бродяг:

1. Главная дорога — лафа.

2. «Быки» — не жлобы.

3. Паровозное депо — годится поспать.

4. Поезда на север не годятся.

5. В частные не заходи.

6. Рестораны хороши только для поваров.

7. Вокзал хорош только для ночной работы.

Номер первый означает, что можно просить милостыню на главной улице; номер второй — что полиция не беспокоит бродяг; номер третий — что можно поспать в паровозном депо; номер четвертый имеет двойной смысл: либо на поезда, идущие на север, не следует вскакивать, либо же в них не следует «стрелять»; номер пятый означает, что в частные дома попрошайке лучше не заглядывать, а номер шестой значит, что только бывшие повара могут получить кормежку в ресторанах. Номер седьмой мне самому не ясен; не могу понять: годится ли вокзал для того, чтобы попрошайничать в нем ночью, или же он годится в этом смысле только для бродяг-поваров; либо же бродяга, повар он или нет, может помочь поварам вокзала в черной работе и за это получить что-нибудь съестное.

Но вернемся к бродягам, проходящим ночью. Помню одного, встреченного мной в Калифорнии. Это был швед, так долго живший в Соединенных Штатах, что трудно было угадать его национальность. Его привезли в Соединенные Штаты маленьким ребенком. Впервые я столкнулся с ним в горном городе Тракки.

— Куда направляешься, Бо? — взаимно приветствовали мы друг друга, и каждый из нас дал один и тот же ответ:

— На запад!

На поезд прямого сообщения в эту ночь кинулась целая куча бродяг, и в такой свалке я потерял шведа из виду. Потерял я и поезд.

В Рено, в Неваде, я приехал в товарном вагоне, который очень скоро отвели на запасный путь. Это было в воскресенье утром, и я, раздобыв себе завтрак, пошел в лагерь Пиут наблюдать, как индейцы играют в карты. И тут я встретил моего шведа, который с чрезвычайным интересом присматривался к игре. Разумеется, мы «прилипли» друг к другу. Он был моим единственным знакомым во всей этой округе, а я был единственным человеком, знакомым ему. Вместе мы бродили, как двое отшельников, вместе проводили день, клянча на обед, а позднее, вечером, вместе же осаждали один и тот же товарный поезд. Но его «спихнули», и я выехал один со станции, впрочем, только для того, чтобы самому оказаться выброшенным на пустырь в двадцати милях от города.

Из всех захолустных мест, в каких я бывал, полустанок, на котором меня «спихнули», был самым пустынным. Маленькая «флажная станция» (где поезд останавливается только по сигналу флагом) состояла из камышового шалаша, стоявшего прямо на песке. Дул холодный ветер, надвигалась ночь, и одинокий телеграфист, живший в этом шалаше, меня боялся. Я знал, что у него не разжиться ни едой, ни ночлегом. Он так явно меня боялся, что я не поверил его словам, будто поезда, направляющиеся на восток, здесь не останавливаются; к тому же меня ведь всего за пять минут до этого сбросили с поезда, идущего на восток! Он уверял меня, что поезд остановился по особому распоряжению, что может пройти год, прежде чем остановится какой-нибудь другой поезд. Уверял, что осталось всего десять — двенадцать миль до Вадсворта и что мне лучше всего идти туда пешком. Но я предпочел подождать и имел удовольствие видеть два товарных поезда, прошедших без остановки на запад, и один товарный поезд — на восток. Не в этом ли поезде ехал швед? Мне ничего не оставалось, как пойти по шпалам в Вадсворт, и я пошел, к великому облегчению телеграфиста, ибо я пренебрег возможностью сжечь его хибарку и убить ее жильца.

Телеграфистам вообще нужна такая добродетель, как благодарность! Пройдя миль шесть, я сошел со шпал и пропустил пассажирский поезд, шедший на восток. Он мчался быстро, но на первой «слепой» площадке я разглядел туманную фигуру, очень похожую на шведа!

После этого я долго не видел его. Я прошел возвышенную часть пустыни штата Невада, тянущейся на сто миль; по ночам ехал на пассажирских поездах для скорости, а днем — в товарных вагонах, где отсыпался. Было начало года; на горных пастбищах свирепствовал холод. Кое-где на равнине еще лежал снег, горы были окутаны белым саваном, и по ночам с них дул противный холодный ветер. В этом краю не стоило задерживаться. Не забывайте, деликатный читатель, что бродяга проходит такой край без крова, без денег, попрошайничая по дороге и ночи проводя без одеял. Что значит это последнее, вы бы поняли только из опыта…

Однажды под вечер я подошел к железнодорожному депо в Огдене. Пассажирский поезд Трансконтинентальной Тихоокеанской дороги отходил на восток, и я собирался отправиться в нем. Запутавшись в сетке путей перед паровозом, я встретил фигуру, медленно двигавшуюся в сумраке. Это был швед! Мы пожали друг другу руки, как давно не видавшиеся братья, и я увидел, что мы оба в перчатках.

— Где ты их стибрил? — спросил я.

— Из кабинки машиниста, — ответил он. — А где ты достал свои?

— Они принадлежали кочегару, — объяснил я, — он зазевался.

Мы вскочили на «слепую» площадку, как только тронулся поезд. Ну и холодно же было на ней! Путь пролегал в узком ущелье между горами, покрытыми снегом. Мы дрожали, тряслись и обменивались впечатлениями о том, как прошли расстояние между Рено и Огденом. В предыдущую ночь я спал не больше часа, а на этой площадке не было места, чтобы растянуться и вздремнуть. На остановке я пошел вперед, к паровозу. Поскольку поезд поднимался в гору, то к нему прицепили два паровоза.

Я знал, что на предохранительной решетке первого паровоза будет холодно. Поэтому я остановился на решетке второго паровоза, укрытой от ветра тендером первого. Я полез на эту решетку и убедился, что она уже занята. В темноте я нащупал тело мальчика. Он крепко спал. Потеснившись, можно было устроиться вдвоем, и я, заставив мальчика потесниться, прикорнул около него. Ночь была «хорошая»: кондуктор не тревожил нас, и мы отлично спали. Время от времени я просыпался от толчков паровоза или от падавшей сверху горячей золы, потом тесней прижимался к мальчику и засыпал под шум и скрип колес.

Поезд направлялся в Эванстон, в штате Вайоминг, и дальше не пошел. Неожиданно дорогу нам преградили обломки крушения. Вынесли мертвого машиниста. Убило во время крушения и какого-то «зайца», но его труп оставили. Я разговорился с мальчиком. Ему было тринадцать лет. Он убежал от родных из местечка в Орегоне и теперь направлялся на восток к своей бабушке. Он рассказал мне весьма правдоподобную повесть невероятных издевательств, которым подвергался дома; впрочем, ему не было надобности лгать мне, безымянному бродяге на дороге!

Этот мальчик очень торопился. Под ним точно земля горела! Когда начальство станции решило отправить пассажирский поезд обратно по той же дороге, затем перевести его по поперечной ветке на сокращенную Орегонскую линию и оттуда — на смычку с Трансконтинентальной Тихоокеанской железной дорогой по другую сторону потерпевшего крушение поезда, мальчик вернулся на решетку и объявил, что он останется на поезде. Но для меня и моего шведа это было слишком. Это значило ехать всю холодную ночь только для того, чтобы выгадать каких-нибудь десять миль! Мы решили подождать, пока расчистят путь, а тем временем постараться выспаться.

Не очень приятно оказаться в чужом городе в полночь, в холодную пору и искать место для ночлега. У шведа не было ни гроша. Мои же капиталы состояли из двух монет по десяти центов и никелевой монетки

в пять центов. У городских ребят мы узнали, что пиво стоит пять центов и что трактиры открыты всю ночь. Вот это дело! Два стакана пива нам обойдутся в десять центов, в трактирах есть печки и стулья, и мы сможем поспать до утра. Мы быстро пошли на огонек кабака, снег скрипел у нас под ногами, холодный ветер продувал нас насквозь.

Увы, я плохо понял городских ребят. Пиво стоило пять центов стакан только в одном кабаке всего городишки, и как раз в этот кабак мы не попали. Но и в том, куда мы попали, было хорошо. Раскаленная добела печь весело гудела; кругом стояли уютные кресла с плетеными сиденьями, но зато весьма неприветливый хозяин подозрительно осмотрел нас, когда мы вошли. Трудно человеку сохранить приличный вид, когда он дни и ночи не снимает с себя одежду, скачет по поездам, осыпаемый сажей и пеплом, и спит где попало. Наша внешность говорила не в нашу пользу, но что за беда? Монетки побрякивали в моих карманах!

— Два пива! — небрежно сказал я хозяину, и пока он цедил пиво, мы со шведом, прислонясь к стойке, с вожделением поглядывали на уютные кресла у печки.

Хозяин поставил перед нами два пенящихся стакана, и я с гордостью выложил десять центов. Нужно вам сказать, что я люблю пустить пыль в глаза! Заметив ошибку в цене, я выложил бы и другие десять центов, неважно, что при этом у меня оставалась только одна монетка в чужом краю. Я бы заплатил, что следовало. Но хозяин не дал мне возможности сделать это. Разглядев, какую монету я положил, он схватил по стакану в каждую руку и вылил пиво в отлив за стойкой. В то же время, свирепо оглядев нас, он проговорил:

— У тебя короста на носу. У тебя короста на носу. Смотри!

Коросты у меня не было, как не было ее и у шведа. Носы у нас были в полном порядке! Что он этим хотел сказать, я так и не понял. Но главная мысль была ясна: мы ему не понравились. И пиво, очевидно, стоило десять центов стакан.

Я порылся в кармане и выложил на стойку еще десять центов, небрежно заметив:

— О, я думал, что эти стаканы по пять центов!

— Твои деньги здесь не в ходу! — ответил он, швырнув мне обе монетки.

Я с грустью опустил их в карман, с грустью поглядели мы в последний раз на благословенную печку и кресла и грустно вышли за дверь, в морозную тьму…

Когда мы выходили из двери, хозяин, сверкая глазами, крикнул нам вслед:

— У вас короста на носу, смотрите!

Я после этого много шатался по свету, путешествовал в чужих краях, среди чужих народов, читал немало книжек, сидел в разных аудиториях, но по сей день, хотя размышляю упорно и долго, не могу разгадать смысла таинственной фразы, брошенной тем хозяином в Эванстоне, в штате Вайоминг. Носы у нас, право, были чистые!

Эту ночь мы спали *над котлами* на электрической станции. Не помню, как мы открыли этот ночлег. Должно быть, инстинктивно набрели на него, как лошадь идет к водопою или почтовый голубь направляется к своей голубятне. Но я надолго запомнил эту ужасную ночь. До нас на котлах устроилось уже двенадцать бродяг, и всем там было слишком жарко. В довершение всех наших бедствий машинист не позволил нам стоять у котлов внизу. Он предоставил на выбор: над котлами или на снегу.

— Ты говоришь, тебе хочется спать? Так спи же, черт тебя подери! — сказал он мне, когда я, обезумев от жары, сошел вниз, в котельную.

— Воды! — прошептал я, вытирая с глаз пот. — Воды!

Он указал мне на дверь, заверив, что где-то там в темноте я разыщу реку. Я отправился к реке, заблудился во тьме, попал в две или три лужи, оставил поиски и, полузамерзший, вернулся к котлам. Когда я оттаял, мне захотелось пить пуще прежнего. Вокруг меня стонали, вздыхали, всхлипывали, задыхались, катались, толкались бродяги. Мы были, точно погибшие грешные души, поджаривающиеся на плитах преисподней, а машинист — воплощение сатаны — предоставлял нам только один выход: мерзнуть на дворе. Швед сидел и страстно проклинал инстинкт бродяжничества, который послал его на скитания и муки, вроде теперешней.

— Дай мне только добраться до Чикаго, — клялся он, — я найду себе работу и так прилеплюсь к ней, что чертям станет жарко! А потом опять пойду бродяжничать!

По злой иронии судьбы на другой день, когда очистили путь от обломков крушения, мы со шведом выехали из Эванстона в вагонах-холодильниках поезда, предназначенного для перевозки апельсинов; это был товарный поезд, груженный фруктами из солнечной Калифорнии. Разумеется, в ящиках было пусто по случаю холодной погоды, но от этого они не показались нам теплее. Мы проникли в эти вагоны через люки наверху; вагоны эти строятся из оцинкованного железа, и в этот собачий холод к ним очень неприятно притрагиваться. Тут мы лежали, тряслись и стучали зубами и держали совет, решив, что проведем в этих ледяных ящиках весь день и всю ночь, пока не покинем негостеприимного плоскогорья и не приедем в долину Миссисипи.

Но нужно было есть, и мы решили, что на следующей остановке выпросим хлеба и вернемся в ледник. Перед вечером мы приехали в город Грин Ривер, но слишком рано для ужина. Наименее подходящее время околачиваться у кухонных дверей — это время перед трапезами; но мы набрались духу, отодвинули боковые двери, когда товарный поезд отвели на запасный путь, и побежали к домам. Мы скоро расстались, условившись встретиться у вагона. Вначале мне не везло; но, наконец, получив две подачки и засунув их за рубаху, я кинулся к поезду. Он уже тронулся. Вагон-ледник, в котором мы условились встретиться со шведом, прошел мимо. Я вскочил на поезд, пропустив с полдюжины вагонов, поднялся на крышу, торопливо пробежал по ней и спустился в ледник.

Но меня, к сожалению, заметил кондуктор, и на следующей же остановке, всего через несколько миль, в Рок Спрингсе, он сунул свою голову в вагон и крикнул:

— Пошел вон, жабий сын! Пошел вон!

Он схватил меня за пятки и вытащил из вагона. Апельсиновый поезд вместе со шведом поехал дальше без меня.

Пошел снег. Предстояла холодная ночь. Я стал бродить по железнодорожным путям, пока не нашел пустого вагона-ледника, и залез уже не в самый ледник, а в вагон. Я задвинул тяжелые двери, и края их, обшитые полосками резины, плотно захлопнулись. Стены вагона были толсты. Холод не мог проникнуть снаружи, но внутри было так же холодно, как на дворе. Как поднять температуру? По таким делам я был «профессор». Я разыскал в карманах три или четыре газеты. Сложив их на полу вагона, я их зажег! Дым ушел под потолок. Ни капли тепла не могло уйти наружу, и я провел в тепле чудесную ночь. Ни разу не проснулся!

Утром снег продолжал идти. Выискивая завтрак, я проворонил товарный поезд восточного направления. Позже в этот день я два раза вскакивал на поезда, и с обоих поездов меня «спихивали». До вечера не прошло ни одного поезда на восток. Снег продолжал валить густыми хлопьями; в сумерках мне удалось выехать на первой площадке пассажирского поезда. Когда я вскочил на площадку с одной стороны, какая-то фигура вскочила на нее с другой: это был мальчик, убежавший из Орегона!

Нужно вам сказать, что первая площадка скорого поезда в сильную вьюгу — весьма невеселый приют. Ветер пронизывает вас насквозь, ударяется в стенку вагона и бьет вас рикошетом. На первой же остановке, как только стемнело, я подошел к голове поезда и вступил в переговоры с кочегаром. Я предложил ему подавать уголь до конца его смены — это было перед станцией Роулинс, и мое предложение было принято. Работать мне пришлось на тендере, в снегу; работа заключалась в том, что я откалывал лопатой глыбы угля и подавал в будку паровоза. Но так как это приходилось делать не все время, то я мог залезать в будку и время от времени согреваться.

— Послушай, — сказал я кочегару в первый перерыв, — на первой площадке едет малыш. Он совсем замерз.

Будки паровозов Тихоокеанской дороги довольно вместительны, и мы устроили мальчика в теплом углу перед высоким стулом кочегара, где он быстро заснул. В полночь мы приехали в Роулинс. Снег повалил еще гуще. Здесь паровоз должны были отвести в депо, а на его место прицепить новый. Когда поезд остановился, я соскочил со ступенек паровоза прямо в объятия огромного мужчины в широком пальто. Он начал задавать мне вопросы; я быстро спросил его, кто он такой. Он также быстро ответил мне, что он шериф. Я притих, слушал и отвечал.

Он начал описывать приметы малыша, спавшего в будке. Мозг мой быстро работал. Очевидно, семья разыскивала этого мальчика, и шериф получил телеграфные инструкции из Орегона. Да, я видел этого мальчика в Огдене. Дата, которую я назвал, совпадала со сведениями шерифа. Но я объяснил, что мальчик, вероятно, застрял где-нибудь в дороге, так как его ссадили с этого самого пассажирского поезда в ту ночь, когда я выехал из Рок Спрингса. Все это время я мысленно молил судьбу, чтобы малыш не проснулся, не вышел из будки и не выдал себя самого…

Шериф оставил меня, чтобы расспросить кондуктора, но, уходя, сказал:

— Этот город не для тебя. Понял? Ты поезжай на этом поезде и не задерживайся. Если я поймаю тебя после отхода…

Я стал уверять, что попал в его город не по своей воле, — исключительно потому, что поезд здесь остановился и что он больше меня не увидит, только бы мне выбраться из этого проклятого города…

Пока он беседовал с кондукторами, я вернулся в будку паровоза. Мальчик проснулся и протирал глаза. Я рассказал ему новости и посоветовал проехаться с паровозом в депо. Короче говоря, он выехал с тем же пассажирским поездом на предохранительной решетке. Я посоветовал ему обратиться с просьбой к кочегару на первой же остановке разрешить перелезть в кабину. А меня снова «спихнули». Новый кочегар был человек молодой, еще не привыкший нарушать правила железнодорожных компаний, воспрещающие пускать бродяг на паровоз; он отверг мое предложение подавать уголь. Надеюсь, мальчишке удалось с ним поладить — ночь, проведенная на предохранительной решетке в такую страшную метель, означала верную смерть.

Странное дело, я теперь не могу припомнить, как меня сбросили в Роулинсе! Я помню только, что поезд мгновенно был поглощен снежной бурей, а я направился в трактир погреться. Здесь был свет, было тепло. Натопленные печки гудели, дверцы их были открыты настежь. За столиками для игры в фаро, рулетку и покер теснился народ, несколько кутивших скотоводов веселились вовсю. Мне удалось побрататься с ними, и я уже пропустил первый глоток за их счет, как чья-то рука опустилась на мое плечо. Я оглянулся и вздохнул: это был шериф.

Не промолвив ни слова, он вывел меня вон, на снег.

— На путях стоит «специальный апельсиновый поезд», — сказал он.

— Ночь чертовски холодная! — пытался я возражать.

— Он отправляется через десять минут, — добавил он.

И все. Спорить было не о чем. И когда этот «специальный апельсиновый поезд» выехал, я находился в нем — в леднике. Мне казалось, что до утра у меня отмерзнут ноги, и последние двадцать миль перед станцией Ларами я стоял, высунувшись из люка, и бешено приплясывал. Снег был слишком густой, чтобы кондуктора могли меня разглядеть, да мне теперь было все равно!

На свои центы я съел горячий завтрак в Ларами и сейчас же вскочил на площадку багажного вагона пассажирского поезда, взбиравшегося на откос к ущелью в самом сердце Скалистых гор. В дневное время нельзя ездить на площадках багажных вагонов, но я сомневался, чтобы в эту метель, на вершине Скалистых гор, у кондукторов хватило духу выбросить меня. И они меня не тронули. Мало того, на каждой остановке они подходили к моей площадке смотреть, не замерз ли я. У памятника Амесу на вершине Скалистых гор, — забыл, на какой это высоте, — кондуктор прошел мимо меня в последний раз.

— Послушай, Бо, — сказал он. — Видишь товарный поезд, отведенный на запасный путь, чтобы пропустить нас?

Я видел его. Он стоял на соседней колее в шести футах от меня. Стой он несколькими футами дальше, в такую вьюгу я не разглядел бы его.

— Так вот, в одном из этих вагонов отставшие из армии Келли. Под ними добрых два фута соломы, и их так много, что в вагоне тепло.

Совет был хороший, и я ему последовал, приготовившись, однако, на случай, если кондуктор обманул меня, вскочить на площадку пассажирского, как только он отойдет. Но он сказал правду. Я нашел вагон — огромный ледник, дверь которого была открыта настежь для вентиляции. Я полез в вагон, наступил на чью-то ногу, потом на чью-то руку. Освещение было скудное, я мог разглядеть только руки, ноги и тела, невероятно перепутавшиеся между собой. Никогда я еще не видел подобного человеческого месива! Все они лежали в соломе друг над другом, друг под другом, друг вокруг друга. Нужно много места, чтобы восемьдесят четыре бродяги разместились на полу врастяжку. Люди, по которым я шагал, чертыхались. Тела их колыхались подо мной, как морские волны, и невольно толкали меня вперед. Я не мог найти свободной соломинки, чтобы поставить на нее ногу, и поэтому наступал на людей. Негодование возросло, возрастала и скорость моего движения. Оступившись, я с размаху сел на что-то. К несчастью, это оказалась голова человека; в то же мгновение он приподнялся на четвереньки, и я полетел в воздух! Предмет, летящий вверх, обязательно должен опуститься вниз, и я опустился на голову другого человека.

Я смутно помню то, что произошло после этого. Мне казалось, я попал в молотилку. Меня швыряли из одного конца вагона в другой. Эти восемь десятков бродяг молотили меня до тех пор, пока мои жалкие останки каким-то чудом не нашли клочка соломы и на нем не успокоились. Получив это крещение, я был принят в веселую компанию бродяг. Весь этот день мы ехали сквозь мглу и вьюгу и, чтобы скоротать время, решили, что каждый расскажет какую-нибудь историю. История должна быть интересная, кроме того, такая, которой никто не слышал раньше! Не выполнившего это условие ждала молотилка. Все с честью выполнили его. Должен тут же сказать, что еще никогда в жизни я не слыхал таких изумительных рассказчиков! Тут собрались восемьдесят четыре человека со всех концов света — я был восемьдесят пятым; и каждый рассказал шедевр! Ему ничего другого не оставалось, ибо альтернатива была такова: шедевр или молотилка!

Поздно вечером мы прибыли в Шайени. Вьюга достигла своего апогея, и хотя последней нашей трапезой был жалкий завтрак, никто не решился выйти искать ужин. Всю эту ночь мы мчались по рельсам

сквозь туман и вьюгу, и следующий день застал меня на славных равнинах Небраски все еще в поезде. Мы вышли из гор и из царства вьюги! Благословенное солнце озаряло улыбающийся край. Мы согрелись, но были голодны; двадцать четыре часа ничего не ели. Известно было, что товарный поезд к полудню остановится в городе — если я не ошибаюсь, это был Гранд Айленд.

Мы устроили складчину и послали телеграмму властям этого города. В телеграмме говорилось, что восемьдесят пять здоровых и голодных бродяг прибудут около двенадцати и хорошо было бы приготовить для них обед! У властей Гранд Айленда было два выхода: они могли нас накормить или посадить в тюрьму. В последнем случае они все равно вынуждены были бы кормить нас, и потому они благоразумно решили, что обед обойдется дешевле.

Когда товарный поезд подкатил в полдень к вокзалу Гранд Айленда, мы сидели на крышах вагонов, залитые солнечным светом, и весело болтали ногами. Вся полиция местечка вошла в состав комитета встречи. Нас построили отрядами и развели по разным отелям и ресторанам, где был приготовлен обед. Тридцать шесть часов мы ничего не ели, и учить нас, что делать, было излишне. После обеда мы промаршировали обратно на железнодорожную станцию. Полиция благоразумно заставила товарный поезд подождать нас. Поезд медленно тронулся, и все мы, восемь с половиной десятков, выстроенных вдоль пути, повскакивали на боковые лесенки. Мы «захватили» поезд!

В этот вечер мы не ужинали, по крайней мере, «команда», кроме меня. Как раз ко времени ужина, когда товарный поезд выехал из городка, некий субъект залез в вагон, где я играл в педро с тремя бродягами. Рубаха незнакомца подозрительно отдувалась. В руках он держал побитую жестянку, от которой поднимался пар. Носом я зачуял «Яву». Я передал свои карты одному из бродяг и извинился. И в другом конце вагона, преследуемый завистливыми взглядами, я присел с незнакомцем и разделил с ним его «Яву» и все, что распирало его рубашку. Это был швед!

Около десяти часов вечера мы прибыли в Омаху.

— Давай бросим команду! — предложил швед.

— Идет! — согласился я.

Когда поезд подходил к Омахе, мы приготовились сойти с него. Но и жители Омахи тоже приготовились. Мы со шведом висели на боковых лесенках, готовясь соскочить. Но поезд не остановился. Мало того, длинный ряд полисменов, поблёскивая в электрическом свете пуговицами и значками, выстроился по обе стороны рельсов. Мы со шведом понимали, что будет, если мы соскочим в их объятия. Мы остались на боковых лесенках, и поезд повез нас через реку Миссури в Каунсил Блафс.

«Генерал» Келли с армией в две тысячи бродяг расположился лагерем в парке Шатокуа в нескольких милях отсюда. Банда, с которой мы ехали, составляла арьергард «генерала» Келли и, сойдя с поезда в Каунсил Блафс, она приготовилась маршировать к лагерю. Ночью похолодало. Сильные шквалы, сопровождаемые дождем, заморозили нас и промочили насквозь. Масса полиции сторожила нас и направляла к лагерю. Мы со шведом улучили удобную минутку в этой суматохе и улизнули.

Дождь лил потоками, и во мраке, таком густом, что не видно было руки перед носом, мы, как двое слепых, ощупью искали кров. Инстинкт помог нам, ибо очень скоро мы натолкнулись на убежище — не на трактир, открытый и «делающий дела», даже не на кабак, запирающийся на ночь, и не на кабак с постоянным адресом, но на кабачок, поставленный на большие бревна с роликами внизу, передвигаемый с места на место. Дверь была на запоре. Нас обдавало дождем и ветром. Мы не колебались: выломали дверь и вошли внутрь.

Немало я пережил трудных ночей в своей жизни, скитался в сатанинских столицах, ночевал в лужах воды, спал в снегу под двумя одеялами, когда спиртовой термометр показывал семьдесят четыре градуса

Фаренгейта ниже нуля (что соответствует ста шести градусам мороза!); но должен сказать, что никогда у меня не было более отвратительной ночи, чем эта, проведенная со шведом в передвижном кабаке в Каунсил Блафс. Во-первых, постройка, как бы подвешенная в воздухе, имела в полу массу отверстий, через которые свободно проходил ветер. Во-вторых, у стойки было пусто, хотя бы бутылка огненной воды, чтобы согреть тело и забыться. Одеял с нами не было, мы пытались спать в мокрой одежде. Я залез под стойку, а швед — под стол. Оставаться там было совершенно невозможно из-за бесчисленных щелей и дырок в полу, и через полчаса я полез на стойку. Спустя некоторое время и швед полез на стол!

Так мы дрожали, дожидаясь рассвета. Я, например, знаю, что я дрожал так, что больше уже не мог трястись: мускулы мои обессилели и только страшно болели. Швед стонал и кряхтел и каждую минуту, стуча зубами, бормотал: «Больше никогда, больше никогда!» Он повторял эту фразу непрерывно, неустанно, тысячи раз, и даже когда задремал, продолжал бормотать во сне.

С первым серым лучом рассвета мы покинули нашу юдоль мучений и вышли наружу, в густой и холодный туман. Мы плелись вперед, пока не дошли до полотна железной дороги. Я решил направиться обратно в Омаху стрельнуть себе завтрак, мой товарищ собрался в Чикаго. Наступил момент расставания. Мы протянули друг другу онемевшие руки. Оба мы отчаянно тряслись и когда пытались заговорить, то могли только постучать зубами и снова закрыть рот. Так стояли мы, одинокие, отрезанные от всего мира; взорам нашим доступен был лишь небольшая часть рельсовой колеи, концы которой терялись во мраке тумана.

Мы тупо глядели друг на друга, сочувственно пожимая трясущиеся руки. У шведа лицо посинело от холода; такое же, я думаю, было и у меня.

— Никогда больше, а? — сумел я наконец выговорить.

Слова застряли в глотке у шведа; и слабым шепотом, исходившим, казалось, из самого дна его замерзшей души, он произнес:

— Никогда больше бродяжничать…

Он помолчал и продолжал уже окрепшим голосом, и в хрипе его слышалась воля:

— Никогда больше не буду бродягой. Я поищу работу. Лучше и тебе сделать то же. От таких ночей, как эта, только наживешь ревматизм.

Он встряхнул мою руку.

— Прощай! — сказал он.

— Прощай! — ответил я.

И через минуту мы скрылись друг от друга в тумане. Это была наша последняя встреча. Привет тебе, швед, где бы ты ни был! Надеюсь, ты нашел работу…

Бродяги и хваты

Время от времени в газетах, журналах и биографических словарях я натыкаюсь на очерки моей жизни, из которых, деликатно выражаясь, узнаю, что я стал бродягой ради изучения социологии. Это очень мило и внимательно со стороны биографов, но совершенно неверно. Я стал бродягой… ну, потому, что жизнь кипела во мне, в крови моей была жажда скитаний, не дававшая покоя. Социология пришла как чисто случайный элемент; она являлась следствием, совершенно так же, как мокрая кожа появляется при погружении в воду. Я вышел на «Дорогу» потому, что не мог жить без нее; потому, что в кармане у меня не было денег на покупку железнодорожных билетов; потому, что был создан так, что не мог всю свою жизнь «работать на одной и той же смене»; потому… ну, потому, что мне легче было бродяжничать, чем не бродяжничать!

Началось это в моем родном городе, в Окленде, когда мне было шестнадцать лет. В эту пору я пользовался головокружительной репутацией в моем избранном кругу авантюристов, давших мне кличку «Принц устричных пиратов». Правда, люди, находившиеся за пределами этого круга, как, например, честные матросы бухты, портовые рабочие, лодочники и законные владельцы устриц, называли меня буяном, головорезом, вором, грабителем и другими мало лестными словами, но все это было для меня комплиментом и подчеркивало головокружительную высоту места, на котором я восседал. В ту пору я еще не читал «Потерянный рай», и впоследствии, прочтя у Мильтона, что «Лучше царствовать в преисподней, чем прислуживать на небесах», я убедился, что великие умы сходятся в мыслях.

В эту пору случайное сцепление обстоятельств отправило меня в мою первую авантюру на «Дороге». Случилось так, что на устрицах в это время заработать было нельзя, что в Бенишии находилось несколько одеял, которые мне нужно было взять, и что в Порт-Коста, в нескольких милях от Бенишии, стояла на якоре украденная лодка под надзором полицейского констебля. Эта лодка принадлежала одному из моих друзей — Динни Мак-Кри. Украл ее и бросил в Порт-Коста Виски Боб, другой мой приятель. (Бедный Виски Боб! Не далее как прошлой зимой он был найден на берегу убитым неизвестно кем.) Незадолго до этого я прибыл с верхнего течения реки и доложил Мак-Кри о местонахождении его лодки; Динни Мак-Кри тотчас же предложил мне десять долларов, если я приведу ее к нему в Окленд!

Свободного времени у меня в ту пору было сколько угодно. Я сидел на пристани и обмозговывал это дело с Никки-Греком, другим признанным и праздным устричным пиратом.

— Давай поедем! — предложил я, и Никки согласился.

Он сидел тогда на мели. У меня было пятьдесят центов и маленький ялик. Центы я пустил в оборот и погрузил их в форме сухарей, мясных консервов и десятицентовой банки французской горчицы (в то время мы были помешаны на французской горчице), затем перед вечером мы подняли наш маленький парус и отправились в путь. Мы плыли всю ночь и к утру с первым же роскошным приливом и с попутным ветром торжественно миновали пролив Каркинеза, направляясь в Порт-Коста. И сразу увидели украденную лодку, привязанную в каких-нибудь двадцати пяти футах от пристани! Мы причалили и спустили свой маленький парус. Я отправил Никки на нос поднять якорь, а сам начал спускать малый парус.

На пристань выбежал человек и окликнул нас. Это был констебль. Мне вдруг пришло в голову, что я забыл запастись письменным полномочием от Динни Мак-Кри на принятие для доставки его лодки. Кроме того, я знал, что констебль желает получить по меньшей мере двадцать пять долларов награды за то, что отобрал лодку у Виски Боба и затем стерег ее. Мои последние пятьдесят центов были истрачены на мясные консервы и французскую горчицу, награда же моя составляла всего десять долларов. Я быстро переглянулся с Никки, хлопотавшим на носу. Он дергал якорь, опускал и поднимал цепь.

— Вытащи вон! — крикнул я ему, затем повернулся и прокричал ответ констеблю. Получилось, что мы с констеблем говорили в одно и то же время, и наши слова, сталкиваясь на половине пути, смешались в неразборчивый гвалт.

В голосе констебля послышались повелительные ноты — и мне поневоле пришлось слушать. Никки так усердно тянул якорь, что, казалось, у него вот-вот лопнут жилы! Когда констебль высыпал все свои угрозы и предостережения, я спросил его, кто он такой. Время, которое он потратил на ответ, дало Никки возможность выдернуть якорь. Я мысленно произвел быстрый расчет. У ног констебля была лестница, сбегавшая к воде, а к лестнице привязан ялик. В ялике лежали весла. Но цепь была заперта на замок. Все зависело от этого замка. Я чувствовал свежий бриз на своих щеках, видел вздохи прилива, поглядел на оставшиеся реванты, ограничивавшие парус, перевел глаза на блоки и понял, что все готово; после этого я перестал притворяться.

— Валяй! — крикнул я Никки, бросился к вантам, распустил их, мысленно возблагодарив свою судьбу за то, что Виски Боб завязал их простым, а не морским узлом.

Констебль тем временем сбежал с лестницы и возился с ключом у замка. Наш якорь был поднят на борт, и последний ревант распущен в тот самый миг, как констебль освободил ялик и бросился к веслам.

— Бизань-фалы! — скомандовал я своему экипажу, в то же самое время бросившись к гафель-фалам. Паруса взвились. Я закрепил снасти и перешел на корму, к рулю.

— Вытягивай! — крикнул я Никки.

Констебль был уже за нашей кормой. Сильный ветер подхватил нас, и мы помчались стрелой. Это было великолепно! Будь у меня черный флаг, я бы его выкинул с триумфом. Констебль стоял в своем ялике и в самых отборных выражениях осквернял божественный день. Он яростно клял себя за то, что не захватил оружия. Как видите, мне и в этом отношении повезло!

Во всяком случае, мы не крали лодки. Она не принадлежала констеблю. Мы только украли его награду, составлявшую особую форму взятки. И награду эту мы украли не для себя ведь: мы украли ее для нашего друга Динни Мак-Кри!

К Бенишии мы долетели в несколько минут, а еще через несколько минут мои одеяла уже лежали на дне лодки. Я перевел лодку на дальний конец пароходной пристани, и с этого удобного пункта мы могли видеть, не гонится ли кто за нами. Кто знает, может быть, констебль Порта-Косты позвонил констеблю в Бенишию! Мы с Никки устроили военный совет. Мы лежали на палубе под теплым солнцем, свежий ветерок обвевал наши щеки, волны прилива, подергиваемые рябью, катились мимо. Немыслимо было отправиться обратно в Окленд до вечера, до отлива. Но мы сообразили, что констебль будет подстерегать нас с начала отлива в проливе Каркинеза, и нам ничего не оставалось, как подождать следующего отлива, около двух часов ночи, и попытаться прошмыгнуть мимо цербера в темноте.

Итак, мы лежали на палубе, курили и радовались тому, что живы. Я плевал через борт и определял скорость течения.

— При таком ветре мы могли бы пройти по этой реке до Рио-Виста! — сказал я.

— А на реке теперь как раз фруктовый сезон! — добавил Никки.

— Низкая вода, — закончил я, — лучшее время года для поездки в Сакраменто.

Мы сели и посмотрели друг на друга. Чудесный западный ветер опьянял нас, как вино. Одновременно мы сплюнули за борт и посмотрели, каково течение. Категорически утверждаю, что во всем виноваты этот прилив и ветер. Они пробудили в нас морские инстинкты. Если бы не они, цепь событий, швырнувших меня на «Дорогу», была бы порвана.

Мы не сказали ни слова, но подняли якорь и паруса. Наши приключения на реке Сакраменто не войдут в этот рассказ. Мы прибыли в город Сакраменто и пришвартовались у пристани. Вода была чудесная, и мы почти все время купались и плавали. На отмели, повыше железнодорожного моста, мы наткнулись на группу мальчишек, также купавшихся и плававших. В промежутках между купаниями мы лежали на мели и беседовали. Они разговаривали иначе, чем ребята, с которыми я до сей поры водился. Это был какой-то новый жаргон. Это были «дорожные мальцы», или «хваты», и с каждым словом, которое они произносили, дорожная тяга охватывала меня все с большей силой.

«Когда я был в Алабаме», — начинал, бывало, один хват, а другой: «перейдя с К на А, с К на С». На что третий хват отвечал: «О, на К и на А нет лесенок к слепым площадкам!» Я молча сидел на песке и слушал. «Было это в маленьком городишке в Огайо, на дороге Озернобережная — Мичиган»; другой подхватывал: «А ездил ты когда-нибудь на «пушечном ядре» по Уобашскому участку?» И кто-нибудь отвечал: «Нет, но я выезжал на белом почтовом из Чикаго». «А что до железной дороги, так ты погоди, пока не попадешь в Пенсильванию: четыре колеи, никакой водокачки, воду набирают на ходу, вот это фунт!», «Северная Тихоокеанская совсем стала дрянь», «Салинас начеку», «к быкам и не подступайся». «Меня сцапали в Эль-Пазо вместе с Хват-Моуком». «А насчет того, чтобы «пострелять», так ты погоди, пока не попадешь во Французский край, за Монреалем, — ни черта не понимают по-английски. Говоришь, бывало: «Манже, мадам, манже, не парле французски!» Прикинешься голодненьким, потрешь себе живот — она и подаст тебе кусок сала и ломоть сухого хлеба».

А я все лежал на песке и слушал. По сравнению с этими проходимцами мое устричное пиратство казалось совсем жалким занятием. Целый заманчивый мир открывался мне в каждом слове, произнесенном ими: мир вагонных тележек и буферов, «слепых площадок» и «пульманов с боковой дверью», «быков» и кондукторов, кусочков и подачек, «цапанья» и задавания стречка «крепких на руки и вольготных бродяг, новичков и специалистов». От всего веяло приключением! Отлично, я войду в этот новый мир! Я пристал к этим дорожным хватам. Я был силен, как любой из них, так же проворен, и мозг мой работал не хуже ихнего.

После купания, к вечеру, они оделись и пошли в город. Я пошел с ними. Хваты начали «клянчить монеты» на главной улице. Я ни разу еще не просил милостыни, и это мне показалось самым трудным делом, когда я вышел на «Дорогу». У меня было нелепое представление о попрошайничестве. В ту пору моя философия заключалась в том, что лучше украсть, чем просить милостыню; грабить — еще лучше, ибо тут и риск, и наказание пропорционально значительнее. Как устричный пират, я уже нахватал приговоров из рук правосудия, которые, вздумай я отбывать их, потребовали бы по меньшей мере тысячи лет государственной тюрьмы! Грабить — мужественное дело; попрошайничать — грязное, презренное занятие.

С течением времени я научился смотреть на попрошайничество как на веселую забаву, как на игру, требующую ума и хладнокровия. Но в эту первую ночь я не оказался на высоте положения; в результате, когда хваты готовы уже были пойти в ресторан и поесть, мне было не на что это сделать. Я был без гроша! Минни-Хват — так, кажется, его звали — ссудил мне сумму на обед, и мы вместе поужинали. Во время еды я размышлял. Говорят, притонодержатель не лучше вора; Минни-Хват просил милостыню, а я пользовался ее плодами. Я решил, что притонодержатель много хуже вора и что больше этого не будет. Я сдержал свое слово: на следующий день я вышел и так же хорошо «стрелял», как и прочие.

У Никки Грека не хватило честолюбия пойти на «Дорогу». Ему не везло в «стрельбе», и в одну ночь он залез на баржу и поплыл по реке в Фриско. Я встретил его через некоторое время на боксе. Он сделал большие успехи. Он сидел на почетном месте у ринга. Теперь он был антрепренером боксеров на приз и очень этим гордился. В известной степени в области местного спорта он теперь настоящее светило.

«Из мальца не будет дорожного хвата, пока он не перейдет через “горку”» — таков был завет «Дороги», исповедуемый в Сакраменто. Ладно, я перейду через «горку» и получу аттестат. «Горкой», заметьте себе, назывался хребет Сиерра-Невады. Вся наша банда шла на прогулку через «горку», и, разумеется, я отправился с ней. Эта было первое приключение Француза-Хвата в дороге. Он только что убежал от родных из Сан-Франциско. Мне и ему нужно было показать себя. Мимоходом замечу, что мой прежний титул — «Принц» — исчез. Я получил свою кличку. Я был теперь «Матрос-Хват», позднее известный под прозвищем «Фриско-Хват» — это когда между мной и моим родным штатом пролегли Скалистые горы.

В десять часов двадцать минут вечера от станции Сакраменто отошел на восток пассажирский поезд Трансконтинентальной Тихоокеанской дороги — этот момент неизгладимо запечатлелся в моей памяти. В нашей компании было около двенадцати человек, и мы выстроились шеренгой в темноте впереди поезда, готовые «полонить» его. Все известные нам местные дорожные хваты вышли провожать нас — и ссадить, если можно будет. По их представлениям, это была милая шутка, и вышло их на эту потеху человек сорок. Возглавлял их испытанный «дорожный хват» по имени Боб. Сакраменто был его родной город, но, впрочем, он себя чувствовал, как дома, в любом месте страны. Он отвел Француза и меня в сторону и дал нам приблизительно такой совет:

— Мы хотим ссадить нашу банду, понимаете? Вы оба хилые. Другие могут постоять за себя. Так вот, как только вскочите на площадку, «накройте» вагон и оставайтесь на крыше, пока не проедете Роузвилского узла; в этом местечке фараоны неласковы и сбрасывают всех, кто попадется им на глаза!

Паровоз свистнул, и поезд тронулся. В поезде было три слепых площадки — достаточно места для всех. Дюжина бродяг, отправлявшихся в странствие, предпочитала вскочить на поезд потихоньку; но наши сорок приятелей толклись тут же с изумительной и бесстыдной демонстративностью. Следуя совету Боба, я тотчас же «накрыл» поезд, то есть залез на крышу одного из почтовых вагонов. Здесь я и лежал с сильно бьющимся сердцем, прислушиваясь к происходившей внизу потехе. Вся кондукторская бригада бросилась к нам, и «сбрасывание» с поезда совершалось быстро и яростно. Пройдя с полмили, поезд остановился, бригада опять побежала вперед и «сбросила» уцелевших. Один я остался на поезде!

А на станции, в депо, окруженный двумя или тремя членами банды, свидетелями несчастного случая, лежал Француз-Хват с отрезанными ногами! Он оступился или поскользнулся — и этого было достаточно, колеса сделали все остальное. Так я получил свое дорожное крещение. Только два года спустя я встретил Француза-Хвата и осмотрел его культяпки. Это был акт вежливости. Калеки любят показывать свои увечья! Одно из занимательнейших зрелищ во время бродяжничества — присутствовать при встрече двух калек. Их общее несчастье служит неистощимым источником беседы; они рассказывают, как произошло несчастье, описывают процедуру ампутации, обмениваются критическими замечаниями по поводу своих и чужих хирургов и кончают тем, что отходят в сторону, снимают повязки и обертки и сравнивают свои увечья.

Но узнал я об этой печальной судьбе Француза-Хвата только несколько дней спустя, в Неваде, когда банда присоединилась ко мне. Банда сама прибыла в тяжелом состоянии. При крушении поезда ее протащило по снеговым щитам; Счастливый Джо ходил на костылях — ему помяло обе ноги, остальные отделались ссадинами и ушибами.

Тем временем я лежал на крыше почтового вагона, силясь вспомнить — на первой или второй остановке будет Роузвилский узел, насчет которого Боб предостерегал меня. Для большей верности я не сходил на площадку вагона, пока мы не миновали второй остановки. Только тогда я сошел. Я был непривычен к этой новой игре и чувствовал себя в большей безопасности там, где находился. Но я не рассказывал банде, что пролежал на крыше всю ночь, проехал перевалы Сиерры, снеговые щиты и

туннели, и так до Трэки, по другую сторону хребта, куда я прибыл в семь часов утра. Рассказав правду, я сделался бы всеобщим посмешищем. Я только теперь в первый раз рассказываю всю правду об этой первой поездке за горы! Банда же полагала, что у меня все в порядке, и назад, в Сакраменто, я вернулся уже вполне оперившимся «дорожным хватом».

Мне пришлось многому поучиться. Боб был моим ментором, а он был молодец. Помню один вечер (это было в Сакраменто, мы шатались по ярмарке и жили припеваючи), когда я потерял в драке свою шапку. Я ходил простоволосый по улице, и Боб пришел ко мне на выручку. Он отвел меня в сторону от банды и сказал, что надо делать. Услышав его совет, я немного струсил. Я только что вышел из тюрьмы, где сидел три дня, и знал, что если полиция опять меня поймает, то меня жестоко проучат. С другой стороны, я не смел показать свою трусость. Я побывал за «горкой» и вполне оперившимся бродягой вернулся к банде — стало быть, я должен держать себя молодцом! Я принял поэтому совет Боба, и он пошел со мной наблюдать, чтобы я сделал дело как следует.

Мы заняли позицию на улице, на углу, мне помнится, Пятой. Вечер был в самом начале, на улице было людно. Боб изучал головные уборы всех китайцев, проходивших мимо. Я всегда дивился, как дорожные хваты умудряются носить пятидолларовые стэтсоны с твердыми полями. Теперь я уже знаю как. Они снимают их с китайцев, как я снял свою! Я нервничал — кругом было столько народу; но Боб был хладнокровен, как айсберг. Несколько раз, когда я кидался к китайцу в нервной лихорадке, Боб оттаскивал меня назад. Ему нужно было, чтобы я снял хорошую шляпу и притом своего размера! Одна такая шляпа попалась, но она была не новая; после дюжины неподходящих шляп проходила новая шляпа, но не моего размера. Если же попадалась шляпа и новая, и нужного размера, то поля были или слишком широки, или слишком узки. Боб привередничал! Я так разнервничался, что готов был сорвать любой головной убор.

Наконец, показалась шляпа — единственная во всем Сакраменто, подходившая мне! При первом взгляде на нее я понял, что эта она. Я глянул на Боба. Он обшарил глазами толпу, ища полицию, потом кивнул мне. Я снял шляпу с головы китайца и нахлобучил на собственную. Шляпа подошла идеально! Потом я вздрогнул. Я услыхал крик Боба и мельком заметил, что он загородил дорогу какому-то рассвирепевшему монголу и двинул его кулаком. Я побежал, повернул за угол, а затем еще раз повернул. Эта улица была не так людна, и я спокойно пошел по тротуару, переводя дыхание и поздравляя себя с новой шляпой и с удачным бегством.

И вдруг из-за угла за моей спиной показался простоволосый китаец! С ним были еще несколько китайцев, а за ними по пятам следовала дюжина взрослых мужчин и мальчишек. Я кинулся к следующему углу, пересек улицу и опять завернул за угол. Я решил, что, наверное, обогнал китайца, и пошел спокойно. Но из-за угла по пятам за мной опять показался настойчивый монгол. Это была старая сказка про зайца и черепаху! Он не мог бежать так же быстро, как я, и оставался на месте, делая вид, что бежит, и бранился на чем свет стоит. Он призывал весь Сакраменто в свидетели бесчестия, учиненного ему, и добрая часть Сакраменто слышала это и шла за ним. А я бежал, как заяц, и каждый раз этот упрямый монгол с непрерывно возраставшей толпой нагонял меня. Наконец, когда в его свите показался полицейский, я побежал, как безумный. Я сворачивал, вилял и готов поклясться, что пробежал не меньше двадцати кварталов по прямой линии! Я больше не встречал китайца. Шляпа была щегольской, новехонький с иголочки стэтсон, только из магазина — предмет зависти всей банды! Она была символом того, что я показал себя молодцом; я носил ее больше года.

Дорожные хваты — славные малые, когда вы их встречаете в одиночку и они рассказывают вам, «как это случилось». Но, верьте моему слову, их надо остерегаться, когда они ходят стаей. Тогда это волки и, как волки, могут сожрать самого сильного человека. В эти моменты они не трусы. Они бросаются на человека и хватают его со всей силой своих тощих мышц, пока не опрокинут. Я не раз наблюдал это и знаю, о чем

говорю. Обычный их мотив — ограбить. И берегитесь «крепкой руки»! В той банде, с которой я странствовал, каждый хват был большим мастером в этом приеме. Даже Француз-Хват знал его — это было до того, как он лишился ног.

Мне хорошо вспоминается видение, представившееся однажды моим глазам у «ив». Ивы — это купа деревьев на большом пустыре возле железнодорожного депо, всего в пяти минутах ходьбы от центра Сакраменто. Время ночное, картина освещена скудным светом звезд. Я вижу дородного рабочего в куче дорожных хватов. Он рассвирепел и ругает их, ни капельки никого не боясь и уверенный в своей силе. В нем весу около ста восьмидесяти фунтов, мускулы у него твердые; но он не знает, с кем имеет дело. Хваты рычат. Картина неприятная. Они бросаются на него со всех сторон, а он вертится на месте. Возле меня стоит Хват-Цирюльник. Когда человек завертелся, Хват-Цирюльник прыгает вперед и прибегает к особой уловке. Он толкает человека кулаком в спину и в то же время нажимает другой рукой на сонную артерию врага, схватив его сзади за шею. У противника захватывает дыхание. Это и называется «мертвая хватка».

Человек сопротивляется, но фактически он уже обессилен. Дорожные хваты наседают на него со всех сторон, цепляются за его руки, ноги, за туловище, а Хват-Цирюльник, как волк, впившийся в горло волу, висит на нем и оттягивает его назад. Человек падает навзничь под кучей врагов. Хват-Цирюльник меняет положение своего тела, но не отпускает противника. И в то время, как хваты разделывают жертву под орех, другие держат ее ноги, чтобы она не могла брыкаться. «Для легкости» они стаскивают башмаки жертвы. Что касается жертвы, то она сдалась, она побита. Кроме того, рука стискивает ей горло и перехватывает дыхание. Жертва тяжело хрипит, а хваты торопятся. Убивать они не хотят! Все уже сделано, и по данному сигналу все разом оставляют жертву, и хваты разбегаются во все стороны, причем один из них с башмаками жертвы — он знает, где за них ему дадут полдоллара. Жертва сидит, ошеломленная и беспомощная, и начинает оглядываться. Если бы даже он хотел преследовать врагов, то босиком, в темноте это было бы бесполезно. Я стою и наблюдаю за ним. Он щупает свое горло, издает сухие икотные звуки и как-то странно мотает головой, словно хочет убедиться, не вывихнута ли у него шея. Тогда я пускаюсь догонять банду, и больше этого человека я никогда не увижу. Но мысленно я всегда буду видеть эту фигуру, сидящую в слабом свете звезд, немножко ошеломленную и делающую странные конвульсивные движения головой и шеей.

Пьяницы — излюбленная добыча дорожных хватов. Ограбить пьяницу у них называется «покатать человечка»; и где бы они ни находились, они всегда высматривают пьяниц. Пьяницы — их специальное блюдо, как муха — специальное блюдо паука. «Покатать человечка» иногда очень забавно, особенно когда человечек беспомощен и сдачи дать не может. При первом натиске деньги и драгоценности человечка исчезают. Затем хваты садятся вокруг своей жертвы на манер военного совета. У какого-нибудь хвата появляется охота поживиться галстуком жертвы. Галстук слетает! Другому хвату понадобилось нижнее белье. Его сдергивают и ножом укорачивают рукава и штанины. Бывает так, что зовут какого-нибудь приятеля-бродягу взять куртку и кальсоны, слишком широкие для грабителей. И в конце концов они уходят, оставив побитому кучу своего тряпья.

Еще одна картина встает перед моим мысленным взором. Темная ночь; моя банда шагает по тротуарам предместий. Впереди нас в электрическом свете человек переходит улицу по диагонали. В его походке какая-то неуверенность. Хваты мгновенно учуяли добычу. Человек этот пьян. Он переходит на противоположный тротуар и пропадает во тьме, избирая краткий путь через пустырь. Охотничьего клича не раздается, но вся банда бросается вперед. В середине пустыря она догоняет жертву. Но что это? Между стаей и ее добычей вырастают странные рычащие фигуры, маленькие, тусклые и угрожающие. Это другая стая дорожных хватов. И в наступившей враждебной паузе мы узнаем, что это — их добыча, что они выслеживают ее вот уже десять кварталов и больше и что нам лучше уйти. Но это мир первобытных инстинктов. Эти волки — младенцы. (Я думаю, среди них ни одного не было старше двенадцати или

тринадцати лет; кое-кого из них я встретил впоследствии и узнал, что они в этот день только что «перешли горку» и что родина их — Солт-Лейк-Сити.) Наша стая бросается вперед. Волчата-младенцы пищат, визжат и дерутся, как чертенята. Вокруг пьяницы кипит ожесточенная борьба за обладание им. В гуще этой свалки он падает, и битва бушует над ним наподобие того, как греки и троянцы дрались над телом и доспехами павшего героя. С криками, слезами и взвизгиваниями молодые волчата разбегаются, а моя стая начинает «катать жертву». И вот мне вспоминается изумленный и ошарашенный вид бедной жертвы в момент неожиданно завязавшегося сражения на пустыре. Я точно сейчас вижу, как он, глупо топчась, добродушно пытается разыграть миротворца в этой свалке, смысла которой он не понимает, и вижу оскорбленное выражение на его лице, когда его хватают множество рук и начинают дубасить.

«Узелковый бродяга» — также любимая добыча дорожных хватов. Узелковый бродяга — странствующий рабочий. Эту кличку он получил от связки одеял, которую он носит с собой и которую называют «узелком». Поскольку он работает, то обычно у узелкового бродяги бывает кое-какая мелочь — и вот за этой-то мелочью дорожные хваты и охотятся. Излюбленными местами охоты на узелкового бродягу являются сараи, риги, лесные дворы, железнодорожные пути и т. п. на окраине города, а наилучшим временем охоты считается ночь, когда узелковый бродяга разыскивает эти местечки, чтобы завернуться в свои одеяла и заснуть.

«Веселые коты» также нередко попадаются в руки дорожных хватов. У «веселых котов» есть более фамильярные клички: «Короткорогие», «Чечако», «Однокашники» или «Новички». «Веселые коты» — это новички «Дороги», не достигшие зрелого возраста или, по крайней мере, законченной юности. С другой стороны, мальчик «Дороги», каким бы он ни был новичком, никогда не называется «веселым котом»; он «дорожный хват» или «трут», а если он скитается со специалистом-профессионалом, то его называют прилагательным именем «Прусский». Я никогда не был «Прусским» — я был сперва «дорожным хватом», а потом «профессионалом». Так как я начал смолоду, то фактически перескочил через годы ученичества; одно время, когда я менял свою кличку «Фриско-Хвата» на кличку «Матроса-Джека», во мне подозревали «веселого кота». Но при более близком знакомстве со мной они отказались от этого подозрения — я в короткое время приобрел безошибочный вид и приметы завзятого бродяги-профессионала, аристократа «Дороги»! Эти бродяги — хозяева и владыки, захватчики, первобытные дворяне — столь излюбленная Ницше «белокурая бестия».

Когда я вернулся «через горку» из Невады, то обнаружил, что какой-то речной пират украл лодку Динни Мак-Кри. (Я до сего дня не могу припомнить, куда девался ялик, в котором мы с Греком Никки отплыли из Окленда в Порт-Коста. Я знаю, что констеблю он не достался, а больше ничего не помню.) Потеряв лодку Денни Мак-Кри, я тем самым обрек себя «Дороге». И когда мне надоел Сакраменто, я попрощался с бандой (которая на свой дружественный лад попыталась «спихнуть» меня с товарного поезда, когда я уезжал) и поехал по долине Сан-Хоакин. «Дорога» крепко схватила меня и не хотела отпускать; впоследствии, когда я пострансствовал по миру и наделал кое-каких дел, я вернулся на «Дорогу» для более продолжительных скитаний, сделался «кометой» и окунулся в социологию, пропитавшую меня до костей.

Две тысячи бродяг

Однажды мне посчастливилось побродяжить несколько недель с бандой, насчитывавшей две тысячи бродяг. Она была известна как «Армия Келли». По всему дикому и лохматому Западу, от самой Калифорнии, «генерал» Келли и его герои захватывали поезда, но были разбиты, когда пересекли Миссури и натолкнулись на цивилизованный Восток. Восток не имел ни малейших намерений предоставлять свободный транспорт двум тысячам бродяг. «Армия Келли» беспомощно стояла некоторое время в Каунсил Блафс. В день, когда я присоединился к ней, она, придя в отчаяние от задержек, двинулась маршем захватывать поезд.

Зрелище было поистине внушительное. «Генерал» Келли сидел на великолепном черном коне, и с развевающимися знаменами, под воинственную музыку флейтистов и барабанщиков, рота за ротой, двумя дивизиями эти две тысячи бродяг двинулись вперед и вышли на проселочную дорогу к местечку Уэстону. Будучи последним из рекрутов, я находился в последней роте последнего полка Второй дивизии, мало того, в последнем ряду арьергарда. «Армия» расположилась лагерем в Уэстоне возле железнодорожного полотна, вернее, полотен, ибо здесь проходили две дороги: Чикаго — Милуоки и Сент-Пол и дорога на Рок-Айленд.

Мы намеревались атаковать первый поезд, но железнодорожные чиновники разгадали наш план и перехитрили нас. Первого поезда не оказалось! Они перекрыли обе линии и прекратили движение. Тем временем, пока мы стояли у замерших путей, бродяги Омахи и Каунсил Блафс приняли меры. Они замыслили организовать толпу, захватить поезд в Каунсил Блафс, привести его и преподнести нам в дар. Железнодорожные чиновники поломали и этот план. Они не стали ждать, пока соберется толпа. Рано утром на другой день паровоз с одним пассажирским вагоном прибыл на станцию, на запасный путь. При этих признаках жизни на мертвых путях вся армия выстроилась у полотна.

Никогда, кажется, жизнь так чудовищно не возрождалась на мертвых железных дорогах, как тогда на этих двух! С запада донесся свисток локомотива. Он шел в нашем направлении, к востоку. Нам также нужно было на восток. По рядам прошла тревога. Свисток свистел яростно, не умолкая, и поезд прогремел мимо нас с максимальной скоростью. Нет такого бродяги в мире, который мог бы вскочить на такой поезд. Просвистел другой паровоз — и промчался другой поезд, потом третий, четвертый, поезд за поездом, поезд за поездом; наконец проскочил последний, составленный из пассажирских и товарных вагонов, товарных платформ, мертвых паровозов, цистерн, почтовых вагонов и всякой дряни — негодного подвижного состава, накопляющегося на путях больших железных дорог. Когда пути станции Каунсил Блафс были основательно очищены, частный вагон с паровозом ушел на восток, и пути замерли окончательно.

Прошел день, еще день — никакого движения. А тем временем две тысячи бродяг под дождем, градом и изморозью лежали у полотна. Но в эту ночь бродяги Каунсил Блафс перехитрили железнодорожных чиновников. Организованная в Каунсил Блафс толпа перешла через реку в Омаху и соединилась с другой толпой, направлявшейся на пути Тихоокеанской железной дороги. Первым делом они захватили паровоз, потом сколотили поезд, затем влезли на него, пересекли Миссури и поехали прямо по Рок-Айлендской ветке, чтобы передать поезд нам. Железнодорожные чины попытались расстроить и этот план, но не успели, к ужасу начальника участка и одного из железнодорожных чинов в Уэстоне. Эта парочка по секретному телеграфному приказанию попыталась устроить крушение поезда с нашими спасителями, разобрав рельсы. Однако мы оказались бдительны и расставили свои патрули. Пойманные на месте преступления за подготовкой крушения поезда и окруженные двумя тысячами разъяренных бродяг, начальник участка и его помощник уже приготовились к смерти. Не помню, что их спасло, кажется,

прибытие поезда.

Наступила наша очередь провалиться, и мы провалились позорным образом. Второпях обе толпы не составили достаточно длинного поезда! На нем не оказалось места для двух тысяч бродяг. И вот толпа и бродяги посовещались, побратались, попели песни и расстались; спасители отправились на своем захваченном поезде в Омаху, а бродяги на следующее утро двинулись в стосорокамильный поход к Де-Мойну. Перейдя Миссури, армия Келли начала свой пеший поход, и после этого ей уже не пришлось ездить по железной дороге. Это влетело железным дорогам в копеечку, но они не отступали от своих принципов и победили.

Андервуд, Лола, Менден, Авока, Уолнат, Марно, Атлантик, Вайото, Анита, Адэр, Адам, Кейзи, Стюарт, Декстер, Карлхем, Де-Сото, Ван-Метер, Буневиль, Коммерс, Валли-Джанкшен — названия городов встают передо мной, когда я смотрю на карту и вспоминаю наш путь по плодородному краю Айовы. А гостеприимные айовские фермеры! Они выезжали со своими фургонами и везли наш багаж; кормили нас горячими завтраками в полдень у края дороги; мэры уютных городишек произносили приветственные речи и помогали нам двигаться дальше; делегации маленьких девочек и девушек выходили нам навстречу, добрые граждане высыпали сотнями, образовывали цепь и шли с нами по своим главным улицам. Когда мы прибывали в город, создавалось впечатление, будто приезжал цирк, каждый день был для нас цирковым праздником, ведь на пути у нас было много городов.

По вечерам в наш лагерь набивалось местное население. Каждая рота раскладывала свой костер, и у каждого костра что-нибудь происходило. Повара моей роты «Л» были мастера петь и плясать и устраивали нам спектакли. В другой части лагеря собирался певчий клуб — одной из звезд его был «Дантист», заимствованный из роты «Л», и мы очень гордились им. Он, кроме того, рвал зубы всей армии, и так как это обыкновенно происходило во время трапезы, то разнообразные инциденты способствовали нашему пищеварению. У «Дантиста» не было анестезирующих средств, но всегда находились под рукой два-три бродяги, готовые подержать пациента. Помимо этих развлечений и певческого клуба, обычно отправлялись богослужения при участии местных священников, и всегда произносилось много политических речей. И все это происходило тут же, рядом, непрерывно — настоящая ярмарка! Среди двух тысяч бродяг немало можно откопать талантов. Я помню, мы собрали девятку для игры в бейсбол и по воскресеньям выставляли ее против всех местных команд. Иногда в воскресенье состоялись даже две игры.

В прошлом году, приглашенный читать лекции, я приехал в Де-Мойн в пульмановском вагоне — не в «пульмане с боковой дверью», а уже в настоящем. На окраине города я увидел развалины кирпичного завода, и у меня замерло сердце. Здесь, у этих развалин, лет двенадцать тому назад остановилась армия бродяг и дала клятву, что дальше не сделает ни шага пешком! Мы завладели заводом и объявили Де-Мойну, что мы тут останемся, что мы вошли в город, но будь мы прокляты, если уйдем. Де-Мойн был гостеприимный город, но для него это оказалось слишком. Произведите мысленный подсчет, любезный читатель! Две тысячи бродяг, съедающих три трапезы в день, составят шесть тысяч трапез в сутки, сорок две тысячи трапез в неделю или сто шестьдесят восемь тысяч трапез в самый короткий месяц в календаре. Это не мало! А денег у нас не было. Платить должен был Де-Мойн!

Де-Мойн пришел в отчаяние. Мы разбили лагерь, произносили политические речи, устраивали духовные концерты, дергали зубы, играли в бейсбол и в семерку и съедали наши шесть тысяч обедов в сутки, а Де-Мойн платил за все. Де-Мойн обращался к железным дорогам, но те упорствовали; они решили, что мы не поедем — и делу конец. Позволить нам поехать — значило допустить прецедент, а никаких прецедентов быть не должно. А мы продолжали питаться! Это было самое ужасное в данной

ситуации. Нам нужно было ехать в Вашингтон, и Де-Мойну пришлось бы выпустить муниципальный заем, чтобы оплатить наш проезд даже по пониженным тарифам; если же мы останемся здесь, то ему придется выпустить заем, чтобы прокормить нас.

И вот какой-то местный гений разрешил проблему. Мы не хотим идти? Отлично, мы поплывем. Из Де-Мойна в Кеокук, который стоит на реке Миссисипи, текла река Де-Мойн длиной триста миль. Мы можем проплыть по ней, решил наш местный гений; если нас снабдить плавучими средствами, то мы можем спуститься по Миссисипи до Огайо, а оттуда — вверх по Огайо и через короткий водораздел — в Вашингтон.

Де-Мойн организовал подписку. Сознательные жители собрали несколько тысяч долларов. Лес, канаты, гвозди и пакля, чтобы конопатить щели, были закуплены в огромном количестве, и на берегах Де-Мойна открылась грандиозная эра судостроения. Нужно сказать, что Де-Мойн — крохотная речонка, но по заслугам величаемая «рекой». В наших обширных западных краях ее назвали бы ручьем. Старожилы местечка покачивали головами и говорили, что у нас ничего не получится — в реке не хватит воды, чтобы поднять нас! Но Де-Мойн это мало беспокоило, лишь бы избавиться от нас, а мы были такими оптимистами, что тоже ни о чем не беспокоились.

В среду, 9 мая 1894 года, мы снарядились в путь, начав наш колоссальный пикник. Де-Мойн дешево отделался от нас и, без сомнения, обязан поставить бронзовый памятник местному гению, который вывел город из затруднения. Правда, Де-Мойну пришлось оплатить наши суда; мы съели шестьдесят шесть тысяч обедов и взяли с собой в дорогу двенадцать тысяч добавочных обеденных порций, чтобы не умереть от голода в пустыне. Но подумайте, что было бы, если бы мы остались в Де-Мойне и прожили там одиннадцать месяцев вместо одиннадцати дней? При расставании мы обещали Де-Мойну вернуться, если река откажется нести нас.

Очень приятно было иметь двенадцать тысяч обедов в провиантской лодке, и, без сомнения, «провиантские молодцы» воспользовались этим, ибо провиантская лодка очень скоро исчезла, и моя лодка, например, так и не увидела ее. Наша рота расклеилась за время речной поездки; в каждом отряде всегда найдется известный процент симулянтов, простых смертных, лентяев и дельцов. В моей лодке было десять человек, и это были сливки роты «Л». Каждый был дельцом. Меня включили в этот десяток по двум причинам. Во-первых, я так же ловко умел «кидать ножки», то есть попрошайничать по дорогам, как всякий другой бродяга; а кроме того, я был «Матрос Джек». Я знал лодки и морское дело! Мы, десятеро, мгновенно забыли об остальных сорока человек роты «Л» и, когда не получили первого обеда, тотчас забыли о провиантской лодке. Мы были самостоятельны. Мы поплыли вниз по реке на собственный страх и риск, сами клянчили для себя пищу, обогнали все лодки нашего флота и — должен сознаться, увы! — иногда крали запасы, собранные фермерами для всей армии!

На протяжении значительной части трехсотмильного пути мы были впереди армии на сутки или полсуток. Нам удалось раздобыть несколько американских флагов. Приближаясь к маленькому городку или завидя группу фермеров, собравшихся на берегу, мы поднимали наши флаги, называли себя «авангардной» лодкой и выясняли, какой провиант может быть собран для армии. Разумеется, мы были представителями армии, и провиант передавался нам. Но мы действовали умно. Мы никогда не брали больше, чем могли взять с собой. Зато мы снимали сливки со всего. Так, например, если какой-нибудь человеколюбивый фермер преподносил на несколько долларов табаку, мы его забирали. Забирали мы также масло и сахар, кофе и консервы. Когда же провиант заключался в мешках с бобами и мукой и двух-трех воловьих тушах, мы решительно отказывались и отправлялись своей дорогой, оставив приказ передать провиант провиантским лодкам, следующим за нами.

Славно мы пожили в этой богатой стране! Генерал Келли долгое время тщетно пытался догнать нас.

Он выслал двух гребцов в легком челноке, чтобы настичь нас и положить конец нашей пиратской деятельности. Они догнали нас честь честью, но их было двое, а нас — десять! Генерал Келли уполномочил их арестовать нас, что они и объявили нам. Когда мы выразили нежелание пойти под арест, они поспешили в ближний городок и обратились за содействием к властям. Мы тотчас же высадились на берег, приготовили ранний ужин, а потом под покровом темноты обошли город и его власти.

Я вел дневник, описывая эту часть нашего путешествия. Теперь, перечитывая, я вижу то и дело повторяющуюся фразу: «Живется знатно». Мы, действительно, пожили знатно! Мы даже стали пренебрегать кофе, сваренным на воде. Мы варили кофе на молоке, и этот чудесный напиток, как мне помнится, называли «бледным кофе по-венски».

Между тем, пока мы плыли впереди, снимая сливки, а провиантская лодка безнадежно отстала от главной армии, главная армия, находившаяся в середине, голодала. Это было жестоко по отношению к армии, я согласен, но ведь мы, десятеро, были индивидуалистами! Мы были инициативны и предприимчивы и твердо верили, что еда достается тому, кто первый берет ее и что кофе «по-венски» — удел сильных. На одном участке армия плыла сорок восемь часов без крошки во рту; наконец она прибыла к деревушке из трехсот жителей, названия которой я твердо не помню — кажется, Ред Рок. Этот городок, следуя обычаю всех городов, мимо которых проплывала армия, выбрал комитет общественного спасения. Если считать семью состоящей в среднем из пяти человек, то в Ред Роке было шестьдесят хозяйств. Комитет общественного спасения пришел в ужас при виде двух тысяч голодных бродяг, выстроивших свои ладьи у речного берега двумя или тремя рядами. Генерал Келли был человек честный, он не хотел налагать непосильный груз на деревню. Он не предполагал, что шестьдесят хозяйств могут приготовить две тысячи обедов. Кроме того, у армии была своя казна.

Но комитет общественного спасения потерял голову. «Никаких поблажек налетчикам!» — такова была их программа, и когда генерал Келли пожелал купить провианту, комитет прогнал его. Да и продавать им было нечего: деньги генерала Келли «не годились» в этой деревушке. И тогда генерал Келли приступил к действиям. Затрубили трубы. Армия побросала лодки и выстроилась в боевом порядке на берегу. Комитет был приглашен полюбоваться. Разговор генерала Келли был короток.

— Ребята! — проговорил он. — Когда вы последний раз ели?

— Позавчера! — проревели они в ответ.

— Вы голодны?

Общее подтверждение из двух тысяч глоток потрясло атмосферу. Тогда генерал Келли обратился к комитету спасения:

— Джентльмены, вы видите, какое положение. Мои люди ничего не ели двое суток. Если я выпущу их на ваш город, то не отвечаю за последствия. Они отчаянные. Я хотел купить для них провизию, но вы отказались продать. Теперь я беру свое предложение обратно. Теперь я требую. Даю вам пять минут сроку. Либо убейте мне шесть волов и предоставьте четыре тысячи пайков, либо я выпущу на свободу своих людей. Пять минут, джентльмены.

Пораженный ужасом комитет спасения поглядел на две тысячи голодных бродяг и съежился. Он не стал дожидаться пяти минут. Он не стал рисковать. Немедленно начался убой волов и сбор контрибуции — и армия пообедала.

А десять наглых индивидуалистов продолжали нестись вперед и забирать все, что им попадалось на глаза. Но генерал Келли все же усложнил наш путь. Вдоль обоих берегов он послал верховых, которые предупреждали о нас всех фермеров и горожан. Они отлично справились со своей задачей. Первые же гостеприимные фермеры встретили нас с ледяным равнодушием. Мало того, когда мы привязали лодку у

берега, они позвали констеблей и спустили на нас собак. Две собаки схватили меня в промежутке за изгородью из колючей проволоки, отделявшей реку. Я как раз нес два ведра молока для кофе по-венски. Я, конечно, не переживал по поводу ограды, но мы пили плебейский кофе на обыкновенной воде, и мне пришлось выклянчить пару штанов. Не знаю, любезный читатель, пробовали ли вы когда-нибудь быстро взбираться на забор из колючей проволоки с ведром молока в каждой руке. С этого дня у меня сохранилось какое-то предубеждение против колючей проволоки.

Потеряв возможность вести честную жизнь при наличии двух верховых генерала Келли впереди себя, мы вернулись к армии и подняли восстание. Дело было маленькое, но оно разложило роту «Л» Второй дивизии. Капитан роты «Л» отказался признать нас, назвал нас дезертирами, предателями, прохвостами и, получив пайки из провианта для роты «Л», не дал нам ни шиша. Этот капитан недооценил нас, иначе не отказал бы нам в еде. Мы тотчас же завели интригу с первым лейтенантом; он примкнул к нам с десятью рядовыми своей лодки — и мы избрали его капитаном роты «М». Капитан роты «Л» поднял шум, на нас набросились генерал Келли, полковник Спид и полковник Бейнер. Но мы, числом в два десятка, твердо стояли на своем, и наша рота «М» получила признание.

Мы не связывались с провиантскими комиссарами. Наши молодцы добывали у фермеров намного лучшие продукты. Однако наш новый капитан нам не доверял. Он не знал, увидит ли опять свою «десятку», когда мы тронемся утром, и позвал кузнеца. На корме нашей лодки, с каждой стороны, было прибито два тяжелых железных болта с ушками. Соответственно на носу его лодки было прикреплено два больших железных кольца. Лодки притянули одну к другой, кольца вогнали в ушки, и нас приковали. Теперь мы не могли уйти от этого капитана. Но справиться с нами было трудно. Из нашего капкана мы создали себе непобедимое приспособление, позволившее обогнать все лодки нашего флота.

Как и все великие изобретения, наше открытие было случайным. Мы его сделали, когда в первый раз, плывя по стремнине, натолкнулись на подводную корягу. Передняя лодка повисла на ней и застряла, а задняя была подхвачена течением и повернулась, повернув и переднюю. Я находился на корме задней лодки, правя веслом. Тщетно старались мы оттолкнуться! Тогда я приказал пассажирам передней лодки перейти на заднюю. Тотчас же передняя лодка всплыла, и пассажиры вернулись на нее. После этого подводные рифы, камни, отмели и другие заграждения уже не пугали нас. Как только передняя лодка застревала, ее пассажиры перепрыгивали на заднюю. Разумеется, передняя лодка тотчас же всплывала над препятствием, и тогда садилась задняя. Двадцать человек, сидевшие в задней лодке, как автоматы, перепрыгивали в переднюю, а задняя освобождалась и всплывала.

Все лодки армии были совершенно одинаковы, их делали по одному образцу и сколотили очень грубо. Это были плоскодонки не овальной, а четырехугольной формы. Каждая лодка имела в ширину шесть футов, в длину десять и в высоту полтора фута. Таким образом, когда наши лодки были скреплены вместе, я управлял с кормы судном в двадцать футов длины, на котором находилось два десятка коренастых бродяг, сменявших друг друга на веслах и на руле, а в виде груза — одеяла, кухонные принадлежности и наш частный провиантский склад.

Все же мы причинили много хлопот генералу Келли. Он отозвал с берега своих стражей и заменил их тремя полицейскими лодками, которые плыли в авангарде и не давали ни одной лодке обогнать их. В полицейских лодках густо сидели солдаты роты «М». Мы легко могли обогнать их, но это было бы против правил, поэтому мы держались на почтительном расстоянии сзади и ждали. Мы знали, что впереди девственная крестьянская страна, еще не «обстрелянная» и щедрая, но мы ждали. Мы знали, чего мы дожидались; и когда обогнули излучину и показались пороги, мы поняли, что момент наступил. Трах! Полицейская лодка номер один натолкнулась на камень и застряла. Трах! Полицейская лодка номер два последовала ее примеру. Трах! Полицейскую лодку номер три постигла та же участь. Разумеется, то же

случилось и с нашей лодкой; но наши люди — раз, два, три! — выскочили из передней и бросились в заднюю; раз, два, три! — они выскочили из задней и бросились в переднюю; и — раз, два, три! — люди из задней лодки вернулись в нее, и мы всплыли.

— Стоп! Сукины, распросукины дети! — раздался крик с полицейской лодки.

— Как мы можем остановиться? Эта проклятая река, попробуй! — жалобно взвыли мы, проносясь мимо, подхваченные неумолимым течением, которое скоро унесло нас от посторонних глаз в гостеприимный крестьянский край, снабдивший наш частный провиантский магазин сливками из своих запасов. Опять мы начали попивать кофе по-венски, убедившись, что жратва остается за тем, кто ее хватает.

Бедный генерал Келли! Он придумал другой план. Весь флот отправился впереди нас. Рота «М» Второй дивизии заняла свое надлежащее место в линии, то есть последнее. И мне понадобился только один союзник, чтобы расстроить и этот план. Перед нами простиралось двадцать пять миль очень трудного речного пути — пороги, стремнины, отмели, камни. На этом участке реки древние обитатели Де-Мойна сложили когда-то свои буйные головы. Впереди нас плыло около двухсот лодок, и они нагромоздились самым причудливым образом. А мы проплыли между этим потерпевшим крушение флотом, как вода сквозь пальцы! Обойти эти камни, отмели и подводные стволы можно было, только выйдя на берег. Но мы не обходили их. Мы просто перескакивали через них: раз, два, три, передняя лодка, задняя лодка; передняя лодка, задняя лодка; прыг назад, прыг вперед, прыг назад! Этой ночью мы стали на привал в одиночестве и своевольничали весь следующий день, покуда они чинили свои разбитые посудины и догоняли нас.

Конца не было нашему озорству. Мы поставили мачту, подняли паруса (одеяла) и без труда подвигались вперед, тогда как им приходилось работать сверхурочно, чтобы не потерять нас из виду. Тогда генерал Келли решил прибегнуть к дипломатии. Ни одна лодка не могла догнать нас прямым путем. Мы, без сомнения, представляли самую проворную банду, когда-либо плававшую по Де-Мойну. Полицейские лодки были отменены. Полковник Спид был переправлен к нам на борт, и с этим отменным офицером мы имели честь прибыть первыми в Кеокук на реке Миссисипи. И здесь я хочу протянуть генералу Келли и полковнику Спиду мою руку. Ибо вы были героями, вы были мужчинами! Я сожалею, по крайней мере, о десяти процентах хлопот, которые вам задала головная лодка роты «М».

В Кеокуке весь флот был связан в огромный плот, и, когда мы проплыли сутки под ветром, пароход взял нас на буксир и потянул по Миссисипи, в Куинси, штат Иллинойс, где мы разбили лагерь в центре реки на Гусином острове. Здесь мы разъединили наш плот, связали лодки группами по четыре и перекрыли их досками. Мне кто-то говорил, что Куинси — богатейший город в штате. Когда я услышал это, мною овладело неудержимое желание «пострелять». Ни один заправский бродяга не может пройти мимо столь многообещающего города. Я переплыл через реку в Куинси в маленькой лодчонке; вернулся же в большой лодке, до бортов нагруженной плодами моей «стрельбы». Разумеется, я оставил себе все настрелянные деньги, расплатившись, правда, с лодочником; кроме того, я взял свою долю поношенной одежды, рубах, носков, штанов и т. п. И когда рота «М» забрала все, что ей было нужно, то осталась еще порядочная куча для роты «Л». Увы, я был молод и расточителен в те дни! Я рассказал тысячи сказок добрым жителям города Куинси, и каждая была шедевром; когда я начал писать для журналов, я не раз жалел о богатейшем запасе беллетристики, расточительно пролитом в тот день в Куинси, штат Иллинойс.

Десять «непобедимых» неожиданно рассыпались в Ганнибале, штат Миссури. Мы просто поплыли в разные стороны. Я и Котельщик сбежали тайно. В тот же день Скотти и Дэви быстро улизнули на Иллинойский берег; сбежали также Мак-Авой и Фиш. Это шестеро из десяти; что сталось с остальными четырьмя, я не знаю. Чтобы дать представление, какую жизнь мы вели, привожу следующую выписку из

моего дневника, который я вел в течение нескольких дней после бегства.

«Пятница, 25 мая. Котельщик и я покинули лагерь на острове. Мы переплыли на иллинойскую сторону в ялике и прошли шесть миль по дороге к Фелл-Крику. Шесть миль мы прошли пешком, а потом подсели на телегу и проехали шесть миль в Халл на Уобаше. Здесь мы встретили Мак-Авоя, Фиша, Скотти и Дэви, также убежавших из армии».

«Суббота, 26 мая. В 2 ч. 11 мин. ночи мы сели на «пушечное ядро», замедлившее ход на скрещении линий. Скотти и Дэви ссадили. Нас четверых ссадили в Блафсе через сорок миль. Перед вечером Фиш и Мак-Авой сели на товарный поезд, в то время как мы с Котельщиком добывали жратву».

«Воскресенье, 27 мая. В 3 ч. 21 мин. мы захватили «пушечное ядро» и нашли на площадке Скотти и Дэви. На рассвете нас всех согнали в Джексонвилл. Здесь проходит дорога К и А. И мы по ней отправимся. Котельщик ушел и не вернулся. Я думаю, он попал на товарный».

«Понедельник, 28 мая. Котельщик не показывается. Скотти и Дэви ушли куда-то поспать и не вернулись к пассажирскому поезду К. С., уходящему в 3 ч. 30 мин. ночи. Я сел на него и ехал до вечера, когда прибыл в Мейсон-Сити, 25 000 жителей. Сел в поезд для перевозки скота и ехал всю ночь».

Много лет спустя, в Китае, я с огорчением узнал, что способ, примененный нами для плавания по порогам Де-Мойна, — раз, два, три! передняя лодка, задняя лодка, — изобретен не нами. Я узнал, что китайские лодочники уже много тысяч лет пользуются подобным же приемом для плавания по трудной воде. Во всяком случае, это ловкая штука, хоть и не нам за это слава. Она вполне отвечает оставленному доктором Джорданом критерию истины: «Пойдет ли это на пользу? Посвятите ли вы этому свою жизнь?»

«Быки»

Если бы в Соединенных Штатах вдруг исчезли бродяги, то это повлекло бы за собой катастрофу во многих семействах. Бродяги дают возможность тысячам людей зарабатывать честный хлеб, учить детей и воспитывать их в страхе Божием и в труде. Я знаю это наверняка. Одно время мой отец был констеблем и охотился за бродягами, добывая этим пропитание. Община платила ему по столько-то с головы за каждого бродягу, которого ему удавалось изловить; кроме того, я думаю, он получал премиальные. Добывание средств всегда было главной задачей в нашем хозяйстве, и количество мяса на столе, новых пар башмаков, платья или учебников для школы зависело от удачи моего отца на охоте. Я очень хорошо помню подавленное любопытство и напряжение, с каким я ждал каждое утро сообщений о результатах ночной работы — сколько бродяг удалось поймать отцу и каковы шансы на то, что их осудят. И много позднее, когда мне, бродяге, случалось увернуться от какого-нибудь хищного констебля, я искренно жалел маленьких мальчиков и девочек, обитающих в доме этого констебля, — мне казалось, что я лишаю этих малюток радостей жизни!

Но с этим ничего не поделаешь. Бродяга бросает вызов обществу, а сторожевые псы общества кормятся им. Некоторые бродяги даже любят прислуживаться сторожевым псам, особенно зимой. Разумеется, такие бродяги выбирают общины, где тюрьмы «хорошие», то есть где не заставляют работать, а кормят неплохо. Кроме того, существовали, вероятно, и сейчас существуют констебли, делящие заработок с бродягами, которых они арестовывают. Такому констеблю не приходится охотиться. Он только свистнет — и добыча сама идет к нему в руки. Удивительно, какие деньги можно вытянуть из безденежного бродяги! По всему югу — по крайней мере, так было в дни моего бродяжничества — разбросаны лагери и плантации, где время осужденных бродяг покупается фермерами и где бродягам просто-напросто приходится работать. При этом есть такие местечки, как каменоломня в Ретленде, штат Вермонт, где бродягу эксплуатируют, и все, что он накопил «стрельбой на дорогах», извлекается в интересах той или иной общины.

Я не имею понятия о каменоломнях в Ретленде, штат Вермонт. И очень рад этому, хотя помню, что раз чуть не попал туда. Бродяги распространяли о них слухи, и я впервые узнал об этих каменоломнях в штате Индиана. Попав в Новую Англию, я то и дело слышал о них — и всегда эти сообщения сопровождались тревожными сигналами. «В каменоломнях нужны рабочие, — говорил проходящий бродяга. — И бродяге там никогда не дают меньше девяноста дней». К приходу в Новый Хемпшир я хорошо был осведомлен об этих каменоломнях и всячески избегал железнодорожных крючков — «быков» и констеблей — как никогда раньше.

Однажды я вышел к железнодорожным путям станции Конкорд и увидел товарный поезд. Я выбрал пустой товарный вагон, отодвинул боковую дверь и залез в него. Надеялся к утру добраться к Уайт-Риверу; это значило попасть в штат Вермонт и очутиться не больше чем в тысяче миль от Ретленда; но после этого чем дальше на север, тем больше увеличивалось бы расстояние между мной и опасным пунктом. В вагоне я застал бродягу, так и затрясшегося при моем появлении. Он принял меня за кондуктора и, когда узнал, что я тоже бродяга, начал рассказывать о каменоломнях в Ретленде — их он и испугался, увидев меня. Это был молодой деревенский парень, шатавшийся только по местным дорогам.

Поезд двинулся, мы легли в углу вагона и заснули. Через два-три часа на остановке я был разбужен шумом двери справа от меня. Бродяга продолжал спать. Я не шевелился, только сощурил глаза так, чтобы можно было видеть, что делается. В дверь просунулся фонарь, за ним голова кондуктора. Он увидел нас и с минуту глядел на нас. Я готовился услышать от него отчаянную ругань или обычное: «Вылезай на полотно,

жабий сын!». Вместо этого он потихоньку убрал фонарь и очень тихо задвинул дверь. Это мне показалось необычным и крайне подозрительным. Я прислушался и услышал, как скобка опустилась в петлю. Дверь заперли снаружи! Мы не могли открыть ее изнутри. Выход из этого вагона перекрыт. Дело плохо. Я подождал несколько секунд, затем подполз к противоположной двери и попробовал ее открыть. Она еще не была заперта. Я открыл ее, выскочил и закрыл за собой. Затем перешел по буферам на другую сторону поезда. Я отпер дверь, запертую кондуктором, влез в вагон и задвинул ее за собой. Теперь оба выхода были свободны. А бродяга продолжал спать!

Поезд тронулся. Он подошел к следующей остановке. Я услышал шаги на полотне. Затем левая дверь с шумом распахнулась. Бродяга проснулся. Я тоже сделал вид, что проснулся. Мы сидели и таращили глаза на кондуктора и его фонарь. Он не стал тратить времени и сразу приступил к делу.

— Мне нужно три доллара! — объявил он.

Мы вскочили на ноги и подошли к нему ближе, договориться. Мы выразили горячее, безоговорочное желание дать ему три доллара, но объяснили свое бедственное положение, вынуждавшее нас оставить это желание без удовлетворения. Кондуктор не поверил. Он стал торговаться с нами и согласился на два доллара. Мы с сожалением сослались на свою нищету. Он наговорил нам много нелестных вещей, называл нас жабьими сынами, ругал на все корки. Потом начал угрожать. Он объяснил, что если мы не раскошелимся, то он запрет нас и привезет в Уайт-Ривер, а там передаст властям. Он рассказал нам о Ретлендских каменоломнях.

Этот кондуктор воображал, что поймал нас в ловушку. Не стоял ли он у одной двери и не запер ли другую всего несколько минут назад? Когда он заговорил о каменоломнях, испуганный бродяга начал бочком пробираться к двери. Кондуктор громко захохотал.

— Не торопись! — сказал он. — Я запер эту дверь снаружи на последней остановке. — И он говорил с такой уверенностью, что слова его убедили! Бродяга поверил ему и пришел в полное отчаяние.

Кондуктор объявил нам ультиматум: либо мы дадим ему два доллара, либо он запрет нас и передаст констеблю в Уайт-Ривер, а это значит девяносто дней тюрьмы и каменоломни. Теперь представьте себе, любезный читатель, что вторая дверь была бы заперта. Как превратна человеческая жизнь! Из-за какого-нибудь доллара мне пришлось бы попасть в каменоломни и отслужить три месяца каторжных работ. То же самое случилось бы и с бродягой. Ну, ладно я безнадежен, но подумайте о бродяге. После этих девяносто дней он вышел бы настоящим преступником! И впоследствии мог бы проломить вам череп — даже ваш череп — дубинкой, стремясь завладеть вашими деньгами, а если не ваш череп, так череп какого-нибудь другого невинного человека.

Но дверь была отперта, и я один это знал. Мы с бродягой взмолились о пощаде. Думаю, что я присоединился к его просьбам и нытью просто из озорства. Но я вовсю старался. Я рассказал кондуктору «историю», которая растопила бы сердце любого новичка, но не смягчила сердца этого скаредного взяточника. Когда он убедился, что у нас денег нет, он задвинул дверь, накинул засов и подождал минутку: авось мы его обманули и теперь предложим ему два доллара.

Тут я послал ему вдогонку несколько крепких слов. Я назвал его жабьим сыном. Вернул ему все клички, которыми он меня наградил, и добавил кое-что от себя! Я родом с Запада, где люди умеют ругаться, и не позволю какому-нибудь шелудивому кондуктору на паршивой новоанглийской ветке превзойти меня в силе и выразительности брани. Вначале кондуктор отвечал мне смехом. Потом он допустил ошибку, попробовав отвечать, и я осыпал его тучей отборных ругательств, разделал его что называется под орех. И делал я это вовсе не по литературному капризу — я действительно был возмущен этой гнусной тварью, из-за какого-нибудь доллара готовой обречь меня на трехмесячное рабство. Кроме

того, у меня было подозрение, что он делился прибылью с констеблем. Но я задел его за живое. Я ущемил его чувства и гордость на много долларов. Он попробовал пугнуть меня, пригрозив, что войдет в вагон и «выбьет из меня начинку». В ответ я пообещал ткнуть его в рожу, если он попробует полезть в вагон. Я занимал более выгодную позицию — и он это видел. Поэтому он закрыл дверь и позвал на помощь бригаду. Я слышал, как кондуктора откликнулись и по насыпи заскрипели их шаги. И все это время вторая дверь была не заперта, а они этого не знали, и все это время бедный бродяга помирал от страха.

О, я был герой, приготовивший себе путь к отступлению. Я ругал кондуктора и его приятелей до тех пор, пока они не распахнули дверь и не показали свои разъяренные физиономии в свете фонарей. Им все казалось очень простым: они заперли нас в вагоне, сейчас влезут и изобьют нас. Они влезли! Но я никого не хватил по лицу. Я просто распахнул противоположную дверь, и мы с бродягой улизнули. Бригада бросилась за нами.

Мы перескочили, если я правильно помню, через каменный забор. Но не помню, куда именно мы попали. В темноте я очень скоро наткнулся на могильный камень и полетел. Бродяга растянулся на втором. Потом мы пустились бежать по кладбищу. Вероятно, покойникам никогда не приходилось видеть такой гонки. То же самое и поездной бригаде, ибо когда мы выбежали с кладбища и пустились по дороге в темный лес, кондуктора прекратили погоню и вернулись к поезду.

Немного спустя мы с бродягой очутились у колодца какой-то фермы. Нам хотелось пить; мы заметили, что с одной стороны колодца тянется веревка. Мы вытащили ее — и на конце веревки нашли привязанную большую крынку сливок! Вот когда я был близок к Ретлендским каменоломням.

Когда бродяги пускают слух о каком-нибудь городе, что там «быки неласковы», обойдите этот город или, если можете, пройдите его потихоньку. Есть города, через которые всегда надо проходить тихонько. Таков город Шейен на Тихоокеанской дороге. Он пользуется национальной репутацией «неласковости», и все это благодаря стараниям некоего Джеффа Карра (если я правильно вспоминаю это имя). Джефф Карр обладал талантом мгновенно узнавать любого бродягу. Он не вступал в дискуссию. Первую секунду он измерял бродягу взглядом, а в следующую ударял его обоими кулаками, дубиной или чем попало. Избив бродягу, он выводил его из города с обещанием расправиться энергичней, если тот еще раз попадется ему на глаза. Джефф Карр знал свое дело. На север, на юг, на восток и на запад, до крайних пределов Соединенных Штатов (включая Канаду и Мексику) избитые бродяги разносили весть, что Шейен «неласков». К счастью, мне ни разу не случилось встретиться с Джеффом Карром. Я прошел Шейен в метель. Со мной в то время были восемьдесят четыре человека. В таком составе мы могли никого не бояться, даже Джеффа Карра. Но имя «Джефф Карр» поражало наше воображение, приводило в оцепенение, и вся наша банда смертельно боялась встречи с ним.

Редко бывает, чтобы стоило вступать в объяснения с «быком», когда он «неласков». Поскорее убираться — вот что надо делать. Я не сразу усвоил эту истину. Окончательно меня в ней убедил некий «бык» в Нью-Йорке. С той поры бросаться в бегство при виде направляющегося ко мне полисмена стало у меня вполне автоматическим действием. Это автоматическое действие сделалось главной пружиной моего поведения, пружиной, заведенной и в любой момент готовой размотаться. Этого я никогда не смогу в себе побороть. Даже если мне минет восемьдесят лет и я буду ковылять по улице на костылях, а ко мне вдруг направится полисмен, я знаю, что брошу костыли и побегу быстрее лани.

Последний штрих моего образования по «бычачьей части» я получил в жаркий летний вечер в Нью-Йорке. Стояла неделя невыносимой жары. Я завел обыкновение «стрелять» по утрам, а послеобеденное время проводить в маленьком парке, расположенном у газетного ряда и городской ратуши. Здесь я покупал с лотка на колесах новейшие книги (попорченные во время печатания или в переплетной) за

несколько центов. В парке находилась будочка, где за пенни можно было купить чудесного, холодного, как лед, стерилизованного молока или простокваши. Каждый вечер я садился на скамейку, читал и предавался молочному разгулу. Я выпивал от пяти до десяти стаканов за вечер. Жара была страшная!

Так я посиживал этаким смиренным книголюбом на молочной диете, и смотрите, что вышло. Однажды вечером прихожу я в парк со свеженькой книжкой под мышкой и огромной жаждой под ложечкой. Посредине улицы перед ратушей я заметил, пробираясь к молочной будке, собравшуюся толпу. Она преградила мне дорогу через улицу, и я остановился посмотреть, по какому случаю столпотворение. Вначале я ничего не мог разглядеть. Затем по раздавшемуся стуку и возгласам я понял, что кучка уличных мальчишек играет в «камушки». Играть в «камушки» запрещено на улицах Нью-Йорка. Я этого еще не знал, но не замедлил узнать. Простоял я каких-нибудь тридцать секунд, в течение которых понял причину сборища, и вдруг услышал крик одного из мальчишек: «Быки!». Мальчишки знали свое дело, они побежали, а я своего дела не знал…

Толпа немедленно рассыпалась и хлынула на оба тротуара. Я направился к тротуару со стороны парка. Там было человек пятьдесят, первоначально находившихся в толпе, а теперь двигавшихся в одном направлении со мной. Мы шли рассеянным строем. Я увидел «быка» — щеголеватого полисмена в сером мундире. Он шел посредине улицы, не торопясь, небрежно раскачиваясь. Я заметил, что он переменил направление и наискось направился к тому самому тротуару, к которому шел я. Он продолжал идти небрежной походкой, расталкивая остатки толпы, и я видел, что его и мой путь должны неизбежно скреститься. Я до такой степени не видел за собой ничего дурного, что, несмотря на свое знакомство с «быками» и их повадками, не испытывал ни малейшего страха. Мне даже и в голову не приходило, что «бык» направляется ко мне. Из уважения к закону я готов был в любой момент остановиться и дать ему пройти. Я действительно остановился, но не по своей воле, и не столько остановился, сколько отшатнулся назад. Без предупреждения «бык» внезапно двинул меня в грудь обоими кулаками! И буквально в ту же секунду обругал меня ублюдком, заодно крайне непочтительно отозвавшись о моих предках.

Кровь свободного американца так и закипела во мне. Все мои свободолюбивые предки разом завопили!

— Что вам нужно? — спросил я.

Мне, как видите, понадобилось объяснение. И я получил его. Трах! Дубинка опустилась мне на макушку, и я покатился по земле, как оступившийся пьяница; любопытные физиономии зрителей запрыгали перед моими глазами, как волны на море, драгоценная книга вывалилась из рук прямо в грязь, а «бык» уже приготовил дубинку для второго удара. И в этот головокружительный момент мне представилась картина: дубинка многократно опускается на мою голову; вот я, избитый, окровавленный, обезображенный, стою в полицейском суде, слышу обвинение в непристойном поведении, в богохульной брани, в сопротивлении чиновнику и во многом другом — все это читает секретарь; и я вижу себя в Блэкуэллайленде. О, я все понял! Я утратил всякий интерес к объяснениям! Я не стал подбирать моей драгоценной, еще не прочитанной книги. Я повернулся и побежал. Я был еле жив, но бежал. И буду бегать до смертного часа, всегда буду бегать, когда «бык» начнет объясняться со мною дубинкой…

Через много лет после моих скитаний, когда я был студентом Калифорнийского университета, я однажды вечером пошел в цирк. После спектакля и концерта я остался посмотреть, как действует транспортная машина большого цирка. Цирк в эту ночь уезжал. У костра я натолкнулся на группу мальчишек. Их было десятка два, и из их слов я узнал, что они собираются убежать с цирком. Циркачам не хотелось возиться с этой кучей ребят, и телефонный звонок в полицейский участок расстроил всю затею. Взвод в десять полисменов был отряжен на место действия арестовать мальчуганов за нахождение на улице позже установленного часа. Полисмены окружили костер и в темноте тихо поползли к нему. По

сигналу они кинулись вперед, запустив руки в кучу мальчишек, как в корзинку с кишащими угрями.

Я ничего не знал о вызове полиции, и, когда вдруг со всех сторон высыпали «быки» в шлемах с медными пуговицами и каждый протянул вперед руки, я потерял душевное равновесие — остался только автоматический процесс бега. И я побежал! Я даже не сознавал, что бегу. Я ничего вообще не сознавал, все это произошло чисто автоматически. Я не был бродягой. Я был гражданин этой общины. Это был мой город, здесь был мой дом. Я ни в чем не провинился. Я был студент университета. Мое имя даже печаталось в газетах. Я носил приличный костюм, в котором ни разу не спал. И все же я побежал — слепо, безумно, как вспугнутая лань. И бежал целый квартал. Когда я пришел в себя, я заметил, что все еще бегу. Мне потребовалось серьезное напряжение воли, чтобы остановить свои ноги.

Нет. К этому я никогда не привыкну. Это сильнее меня. Когда «бык» приближается — я бегу! Кроме того, у меня несчастный дар вечно попадать в тюрьму. С той поры, когда я перестал быть бродягой, я чаще попадал в тюрьму, чем во время скитаний. В одно воскресное утро я поехал с одной молодой девицей покататься на велосипеде. Не успели мы выехать за город, как нас арестовали за то, что мы обогнали какого-то пешехода на тротуаре. Я решаю впредь быть осторожнее. В следующий раз я выехал на велосипеде ночью — и у меня закапризничал ацетиленовый фонарь. Я ласково лелею умирающий огонек, памятуя об обязательном постановлении. Я тороплюсь, но еду шагом улитки, чтобы не загасить умирающее пламя. Я достиг границы города; я за пределами юрисдикции обязательных постановлений; я начинаю гнать вовсю, наверстывая потерянное время. Спустя полмили меня сцапал «бык», и на следующее утро я уже вношу залог в полицейский суд. Город вероломно раздвинул свои границы на добрую милю, я этого не знал, только и всего. Памятуя свое неотъемлемое право мирно собираться и свободно произносить речи, я стал однажды на ящик из-под мыла с намерением развить свои экономические взгляды перед собравшейся публикой — и вот «бык» стаскивает меня с ящика и отводит в городскую тюрьму, откуда меня выпускают на поруки. В Корее меня арестовывали чуть не каждый день. То же самое и в Маньчжурии. В последнюю свою поездку в Японию я попал в тюрьму по подозрению, будто я русский шпион. В действительности этого не было, но в тюрьме я все-таки посидел. Я безнадежен. Очевидно, мне еще суждено сыграть роль Шильонского узника. Это фатально!

Однажды я загипнотизировал «быка» на Бостонском Выгоне. Дело было за полночь, и он разделал меня под орех. Но перед тем как отпустить, он вытащил серебряную монетку в четверть доллара и дал мне адрес ресторана, открытого всю ночь. Потом, помню, попался мне «бык» в Бристоле, штат Нью-Джерси; он поймал меня и отпустил, а у него было достаточно поводов посадить меня в тюрьму. Я нанес ему такой удар, каких он не получал, вероятно, за всю свою жизнь. Случилось это так. Около полуночи я сел на товарный поезд, выехавший из Филадельфии. Кондуктор согнал меня. Поезд медленно полз в лабиринте путей и стрелок товарного двора. Я опять сел на поезд и опять был сброшен. Должен вам сказать, что на этом поезде приходилось сидеть «снаружи», ибо это был товарный поезд прямого сообщения и двери всех вагонов были заперты и запломбированы. Ссадив меня во второй раз, кондуктор прочел мне нотацию. Он объявил мне, что я рискую жизнью, ибо это скорый поезд и идет очень быстро. Я ответил, что привык к быстрой езде, но это не помогло делу. Он объявил, что не позволит мне совершить самоубийство, и я слез на полотно. Но я сел на поезд в третий раз, поместившись между буферами. Это были самые скаредные буфера, какие я видел в жизни — я имею в виду не настоящие буфера, — парные железные тарелки, соединенные брусом, ударяющиеся и трущиеся друг о друга, — я имею в виду выступы, торчащие на концах товарных вагонов над буферами. Бродяга, едущий на буферах, стоит на таких выступах, ногой на каждом из них, а буфера находятся под его ногами.

Но выступы, на которых я в этот раз очутился, были не те удобные, широкие выступы, какие в ту пору обычно устраивались на концах товарных вагонов. Эти, напротив, были очень узкие — шириной не больше полутора дюймов. Их не хватало и на половину моей подошвы. При этом не за что было ухватиться руками.

Правда, имелись концы двух товарных вагонов, но концы — это плоские перпендикулярные поверхности, гладкие стенки вагонов. Ни выступа, ни ручки! Я мог только упереться ладонями в стенки. Это было бы ничего, если бы выступы под моими ногами имели приличную ширину.

Выйдя со станции в Филадельфии, поезд начал ускорять ход, и теперь я понял, почему кондуктор говорил о самоубийстве. Поезд шел все быстрее и быстрее. Это был товарный поезд прямого сообщения, и ничто не могло остановить его. На этом участке Пенсильванской дороги рядом бегут четыре колеи, и моему восточному поезду не нужно было скрещиваться с западными поездами или бояться, что его нагонит восточный экспресс. Ему была отведена особая колея. Положение мое было крайне опасным. Я стоял на узеньких выступах, отчаянно упираясь ладонями рук в плоскости перпендикулярных стенок двух вагонов. А вагоны эти двигались, и двигались индивидуально — дерг вверх, дерг вниз, дерг вперед, дерг назад! Видели ли вы когда-нибудь циркового наездника, когда он стоит на двух бегущих лошадях, ногой на каждой лошади? Вот это самое проделывал и я, но только с некоторыми различиями. Цирковой наездник держится за поводья, у меня в руках не было ничего; он опирается всей широкой подошвой своих ног, а я стоял на кончиках пальцев. Он сгибает ноги и тело, приобретая устойчивость свода и пользуясь низким положением центра тяжести, тогда как я должен был стоять отвесно и держать ноги вытянутыми; он едет лицом вперед, тогда как мне приходилось держать голову повернутой в сторону. И, наконец, упав, он может только покатиться по мягким опилкам, тогда как я был бы размолот в кашу колесами.

А поезд летел с ревом и визгом, бешено качаясь на закруглениях, с грохотом пробегая мосты; конец одного вагона подпрыгивал вверх, в то время как другой дергался вниз, или вправо в то время, как другой дергался влево. А я все время молил Небо, чтобы поезд наконец остановился! Но он не останавливался. Ему не нужно было останавливаться! В первый, последний и единственный раз на «Дороге» я получил что мне следовало. Я оставил буфера и кое-как умудрился перебраться на вагонную лесенку. Это была трудная работа, ибо никогда я еще не встречал таких скаредных вагонов, вагонов до такой степени лишенных какой бы то ни было опоры для рук и ног.

Засвистел паровоз — и я почувствовал, что скорость уменьшается. Я знал, что поезд не остановится, но решил соскочить, если ход достаточно замедлится. В этом месте полотно закруглялось, пересекая мост над каналом, и проходило через город Бристоль. Совокупность этих обстоятельств вынуждала машиниста к медленному ходу. Я уцепился за боковую лесенку и ждал. Я не знал, что мы приближаемся к Бристолю, не знал, чем было вызвано замедление хода. Я знал только, что мне нужно соскочить! Напрягая глаза, я искал в темноте перекрестка, на котором можно было бы спрыгнуть. Я довольно низко висел на лесенке. Прежде чем мой вагон попал в город, паровоз уже прошел станцию, и я почувствовал, что он ускорил ход.

Показалась улица. Было слишком темно, нельзя было ни определить ее ширину, ни разглядеть, что находится на другой стороне. Мне требовалось только одно: остаться на ногах после того, как я соскочу. Я соскочил влево. Но это только легко говорится. «Соскочил» значит вот что: прежде всего, держась за боковую лесенку, я выкинул свое тело вперед, насколько мог, в направлении хода поезда — это, чтобы как можно больше откинуться назад при соскакивании. Затем я стал откидываться назад, назад изо всей мочи, отпустив поезд, и перестал держаться, запрокинувшись назад, словно хотел удариться затылком оземь. Все это для того, чтобы как можно больше нейтрализовать инерцию, сообщенную поездом моему телу. В момент, когда мои ноги коснулись земли, тело мое висело в воздухе под углом в сорок пять градусов к горизонту. До некоторой степени я уменьшил свою инерцию, ибо когда ноги мои ударились оземь, я не треснулся тотчас же ничком; вместо этого мое тело поднялось, заняв отвесное положение, и начало наклоняться вперед. Туловище мое в сущности еще сохраняло инерцию, ноги же, прикоснувшись к земле, потеряли ее. Эту утраченную инерцию ног мне пришлось восстановить, поднимая их как можно быстрее и мчась вперед, дабы они оставались под моим летящим вперед туловищем. В результате мои ноги отбивали быструю и мелкую дробь по мостовой. Я не смел остановить их. Если бы я остановил их, я

стремглав полетел бы ничком наземь. Я должен был продолжать бег.

Я представлял собою живой снаряд, озабоченный тем, что находится на другой стороне улицы, и ласкал себя надеждой, что там не окажется стены или телеграфного столба. И вот я на что-то наткнулся. С ужасом я узнал этот предмет за мгновение до катастрофы — представьте себе, «бык» вырос передо мной в темноте! Оба мы полетели на землю, перевернувшись несколько раз; и такова была автоматичность этого несчастного создания, что в момент столкновения он протянул руку, сцапал меня и не отпускал. Оба мы сильно расшиблись, и он, придя в себя, держал в руках бродягу, кроткого, как агнец.

Если бы у этого «быка» было воображение, он должен был принять меня за выходца с другой планеты, за человека с Марса, только что прилетевшего; в темноте он не видел, что я соскочил с поезда. И в самом деле первые его слова были:

— Откуда тебя черт принес? — А следующие (хотя я еще и не успел ответить и на первые): — Тебя надо запереть в каталажку!

Последнее, я убежден, он также сказал машинально. В сущности, это был добрый «бык», ибо, когда я ему рассказал мою «басню» и помог почиститься, он дал мне отсрочку до следующего товарного поезда, чтобы я мог убраться из города. Я поставил два условия: во-первых, чтобы этот товарный поезд направлялся на восток, и, во-вторых, чтобы это не был товарный поезд с запертыми и запломбированными дверьми. На это он согласился. Таким образом, по условиям «Бристольского» договора, я избежал каталажки.

Помню другую ночь в этой части страны, когда я счастливо миновал другого «быка». Вот как это произошло. Я жил в общественных конюшнях в Вашингтоне. В моем распоряжении находилось стойло и бесчисленное множество попон. За мою роскошную квартиру я обязан был чистить каждое утро нескольких лошадей. Если бы не «быки», я и сейчас находился бы в этой чудесной должности.

Однажды вечером, около девяти часов, я вернулся в конюшню, собираясь лечь спать, и застал игру в крап в полном разгаре. День был базарный, все негры были при деньгах. Нужно вам объяснить обычаи края. Конюшня выходила на две улицы. Я вошел с фасада, прошел через контору и вышел в проулок между двумя рядами стойл, тянувшихся во всю длину строения и открывавшихся проходом на другую улицу. Приблизительно посередине этого проулка, под газовой горелкой, между рядами лошадей, собралось десятка четыре негров. Я пристал к ним в качестве зрителя. У меня не было ни гроша, и я не мог играть. Один из негров метал банк. Ему везло, и после каждой сдачи он удваивал ставку. На полу лежали деньги самых разнообразных наименований. Зрелище было восхитительное! После каждого «банка» все возрастали шансы следующих банкометов. Всеобщее возбуждение достигло крайних пределов. И как раз в это мгновение раздался грубый удар в огромные двери, открывавшиеся на заднюю улицу.

Несколько негров кинулось в противоположную сторону. Я тоже кинулся бежать, но на минуту приостановился и сгреб все деньги, валявшиеся на полу. Это не было воровство — просто обычай. Всякий, кто не бежал, брал деньги. Дверь с треском распахнулась, и в помещение ворвался отряд «быков». Мы кинулись в другую сторону. Кругом царила тьма, узкая дверь не хотела выпустить на улицу всех разом. Образовался затор. Один негр прорвался в окно, сорвав с собой подоконник, за ним последовали другие. Между тем в тылу у нас «быки» хватали отставших. Я и огромный негр одновременно бросились к дверям. Он был сильнее, без труда оттолкнул меня и выбежал первый. В следующее же мгновение дубинка обрушилась ему на голову, и он упал, как вол. Снаружи нас поджидал другой отряд полицейских. Они знали, что им не остановить бурного натиска бегущих, и пустили в ход дубинки. Я споткнулся об упавшего негра, который оттолкнул меня у дверей, увернулся от удара дубинки, нырнул между ногами «быка» и очутился на свободе. Ну и бежал же я! Впереди меня мчался сухопарый мулат, и я последовал за ним. Он лучше меня знал город, и я понимал, что в той стороне, куда он бежит, лежит спасение. Он же принял меня

за «быка». Он даже не оглядывался. Он просто бежал. Легкие у меня были крепкие, я не отставал от него и едва не уморил его бегом. Наконец он споткнулся, упал на камни и сдался мне. И когда он узнал, что я не «бык», то меня спасло только то, что он выбился из последних сил.

Вот почему я убрался из Вашингтона — не из-за этого мулата, а из-за «быков». Я отправился на станцию и вскочил на первую площадку экспресса Пенсильванской железной дороги. Когда поезд развил скорость, во мне зашевелились мрачные предчувствия. Это была четырехколейная железная дорога, и паровозы на ней брали воду на ходу. Бродяги неизменно предупреждали меня никогда не садиться на слепые площадки поездов, паровозы которых берут воду на ходу. Позвольте объяснить вам, в чем дело. Между рельсами бегут неглубокие металлические желоба. Когда паровоз на полном ходу пробегает над этими желобами, вниз опускается шланг, по которому вода из желоба по этому наклонному шлангу идет в тендер.

Между Вашингтоном и Балтимором, сидя на «слепой» площадке вагона, я заметил тонкую струю воды, поднявшуюся в воздух. Она была довольно безвредна. Ага, подумал я, это выдумка, будто забирание воды на ходу опасно для бродяги, находящегося на первой площадке! Как может быть опасна эта маленькая струйка? Я начал восхищаться. Вот это железная дорога! Куда годятся жалкие, первобытные дороги запада? Тут тендер наполнился, даже не добежав до конца желоба. И вдруг целый водопад перелился через котел тендера прямо на меня! Я промок до нитки, точно упал за борт в море.

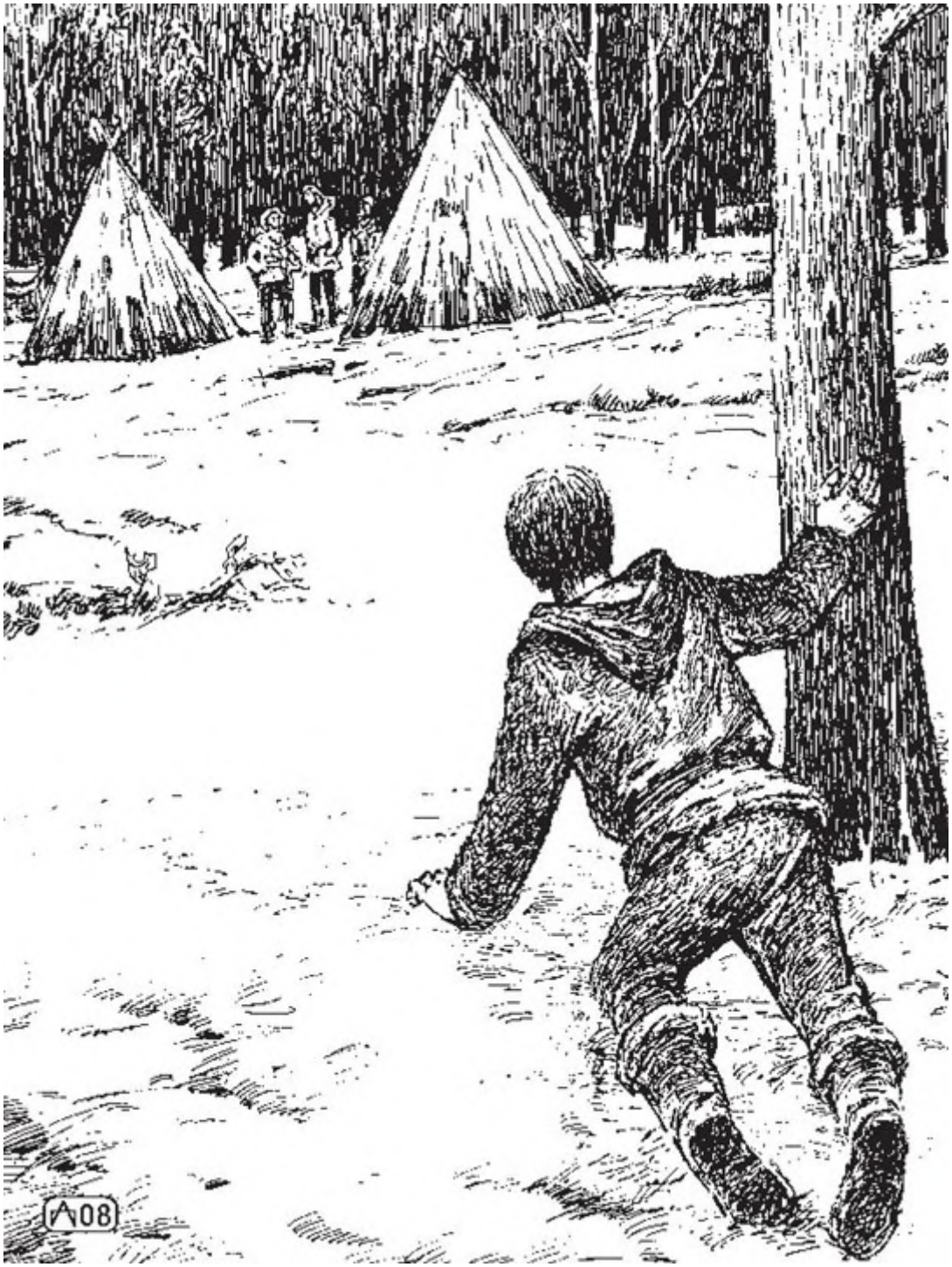
Поезд подкатил к Балтимору. Как это часто бывает в больших городах американского востока, железная дорога проходила ниже уровня мостовой, на дне огромной выемки. Когда поезд начал подходить к освещенному депо, я скорчился и съежился как только мог на своей площадке. Но железнодорожный «бык» увидел меня и пустился за мной в погоню. К нему присоединились два других. Я пробежал депо, выскочил на полотно и попал в какую-то западню. По обе стороны вздымались высокие стены выемки, и если бы я, попробовав подняться по откосу, сорвался, то обязательно попал бы в тесные объятия «быков». Я продолжал бежать, осматривая стены выемки и ища удобного местечка, чтобы выбраться. Наконец, такое местечко мне попалось, когда я миновал мост, соединявший две верхних улицы. Цепляясь руками и ногами, я стал подниматься по крутому скату. Три железнодорожных «быка» тем же путем следовали за мной. Наверху я увидел, что нахожусь на пустыре. С одной стороны его тянулась низкая стенка, отделявшая пустырь от улицы. Времени изучать положение не оставалось — «быки» гнались за мной по пятам! Я побежал к стенке и вскочил на нее. И здесь меня ожидал величайший сюрприз. Мы привыкли думать, что одна сторона стены такой же высоты, как и другая. Но с этой стеной дело обстояло иначе. Видите ли, пустырь находился на значительно более высоком уровне, чем улица. На моей стороне стена была низкая, но на другой стороне… словом, когда я соскочил со стены, мне показалось, что я лечу в бездну. И как раз подо мной на тротуаре, в свете уличного фонаря, красовался «бык». Я думаю, до тротуара было не больше девяти или десяти футов; но мне, пораженному ужасом, это расстояние показалось, по меньшей мере, вдвое больше.

Выпрямившись в воздухе, я стал на землю. В первый момент мне казалось, что я лечу на «быка». Я мазнул его своим пиджаком, и ноги мои с треском ударились о тротуар. Удивительно, как он не упал замертво — он не видел и не слышал меня! Я должен был показаться ему человеком с Марса! Он подскочил и шарахнулся от меня, как лошадь от автомобиля, но сейчас же бросился за мной. Я не стал останавливаться для объяснений. Я предоставил это моим преследователям, довольно неуклюже спрыгивавшим со стены. Погоня возобновилась. Я пробежал одну улицу, потом другую, шмыгнул в переулок и наконец улизнул.

Истратив часть денег, попавших в мой карман в карточной сумятице, и убив часок в кабачке, я вернулся к железнодорожной выемке за фонарями депо и стал ждать поезда. Я успел остыть и в своем

насквозь промокшем платье отчаянно дрожал. Но вот к станции подошел поезд. Я спрятался в темноте и успешно вскочил на него, когда он тронулся, на этот раз благоразумно избрав вторую площадку. Теперь я мог не бояться водопада. Поезд пробежал сорок миль до первой остановки. Я соскочил у освещенной станции, которая показалась мне странно знакомой: оказалось, я вернулся в Вашингтон! Каким-то образом в пылу балтиморской гонки, бегая по незнакомым улицам, виляя, изворачиваясь и лавируя, я спутал направления и сел в обратный поезд. Я провел бессонную ночь, промок до нитки, бегал от погони, как безумный, и за все свои труды прибыл обратно в то место, откуда выехал. О нет, жизнь на «Дороге» не сплошная масленица. Но я не стал возвращаться в конюшню. Я довольно недурно поживился и не имел желания отчитываться перед неграми. Поэтому я «поймал» следующий поезд и завтракал уже в Балтиморе.

РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ



Там, где расходятся дороги

Ах, значит, я должен уехать отсюда,
А ты, любовь моя, останешься здесь!

Лицо певца поражало своим невинным, ясным выражением. Глаза его смотрели открыто и весело. Он подался вперед, добавил воды в котелок с варившимися бобами, затем взял горящую головню из костра и стал ею отгонять собак, теснившихся вокруг ящика со съестными припасами. У него были голубые глаза, длинные золотистого оттенка волосы и привлекательное лицо.

Сгрудившиеся сосны словно снеговыми шапками окружали стоянку и отделяли ее от всего остального мира. Над соснами поднимался молодой месяц, и едва-едва намечался его рог. В небе было ясно, и звезды переливались многоцветными огнями. Зеленовато-белые полосы возвещали скорый расцвет северного сияния на юго-востоке.

На медвежьей шкуре, заменявшей постель, лежали двое мужчин. Сосновые ветки отделяли мех от снега. Одеяла были скатаны. Для защиты от ветра и холода за спинами людей между двумя деревьями под углом к земле в 45 градусов был натянут кусок полотна. Кроме того, что навес защищал от ветра, он задерживал еще тепло костра и отбрасывал его вниз, на медвежью шкуру. Третий мужчина, почти вплотную придвинувшись к огню и к свету, сидел на санях и чинил мокасины. Куча мерзлого песка справа указывала на то место, где люди работали ежедневно с утра до вечера в поисках золотой жилы. Слева стояли четыре пары лыж, говоривших о способе передвижения, которым пользовались золотоискатели.

Как-то странно и вместе с тем трогательно звучала песня под студеным северным небом. Однако она не повышала настроения людей, смертельно уставших за целый день и присевших отдохнуть к огню. Напротив, она вселяла тоску в сердца, вызывая какое-то особое ноющее чувство, несколько напоминающее физический голод. И это чувство уносило их беспокойные мысли далеко на юг через безграничное снежное пространство, туда, где всегда так много тепла и света.

— Зигмунд, да перестаньте вы петь! — взмолился один из его товарищей.

Он судорожно, со страдальческим видом сжал руки, но никто не видел этого, так как он скрыл их в складках медвежьей шкуры.

— А почему, Дэйв Верц, мне не петь? — спросил Зигмунд. — Почему мне не петь, раз мне весело?

— Какое там веселье! У вас нет для этого ровно никакого повода, так что и петь не стоит. Господи боже мой, да оглянитесь вокруг себя, подумайте о той отвратительной пище, которой мы уже целый год засоряем наши желудки. Подумайте о том, что мы живем, как скоты, и работаем, как скоты.

Золотоволосый Зигмунд умолк, оглянулся вокруг и увидел заиндевевших собак и морозный пар, выдыхаемый людьми и животными.

— А все-таки не понимаю, почему мне не может быть весело! — он рассмеялся. — Тут все хорошо; мне нравится. Что же до пищи… — Он с видимым удовольствием пощупал свои напрягшиеся мускулы. — Может быть, и правда, что мы и живем и работаем, как скоты, но зато мы зарабатываем по-царски. Ведь каждое ведерко дает нам не меньше двадцати долларов. Чем здесь не Клондайк? И вы это прекрасно знаете. Это знает и Джим Хоз, знает и молчит. Молчит и Хичкок. Точно старуха, чинит он мокасины и терпеливо ждет своего времени. Только вы бунтуете и никак не можете дождаться весны. Вот постойте: придет весна, и все мы будем богаче иного короля. Ну чего торопиться? Конечно, вам хочется как можно скорее вернуться в Штаты, а разве мне этого не хочется? И мне хочется, и вам хочется, и всем нам хочется,

да только надо выждать, а ждать не трудно, когда видишь, как с каждым днем у тебя все больше золота, — золото желтое и светлое, как масло. Вы, Дэйв, положительно, как ребенок! По-моему, надо ждать, а пока что — петь. Я и пою:

Только год промчится, и лоза созреет,
Я вернусь, любовь моя, сюда.
Если верным твое сердце будет,
Ты моею станешь навсегда.
Только год промчится, и минует время,
Я вернусь, красавица, домой.
Если и тогда ты верной будешь,
Мы сыграем свадебку с тобой.

Волкоподобные собаки, ощетинив шерсть, рыча и воя, все ближе придвигались к теплу. Послышался шум, будто кто-то просеивал мелкий сахар. Зигмунд, поняв, что кто-то подходит на лыжах, оборвал песню и снова бросил в собак горящей головней.

В полосе света, отбрасываемой костром, появилась индианка, закутанная в мех. Она отбросила лыжи, откинула капюшон из беличьих шкурок, расстегнула парку и подошла ближе к огню. Зигмунд и остальные тепло приветствовали ее, а Хичкок немного подвинулся и предложил девушке сесть рядом.

— Что слышно, Сипсу? — спросил он на чинукском наречии. — Я слышал, будто у вас голодают. А что говорит шаман? Чем он объясняет плохую охоту и отсутствие оленей?

— Да, охота в этом году плохая, скоро придется кормиться собаками. Наш шаман нашел причину несчастья и завтра принесет очистительную жертву.

— А кого же он принесет в жертву? Вероятно, младенца или какого-нибудь выжившего из ума старика, который живет в тягость и себе, и всем вам?

— Нет, на этот раз ты ошибся. Нужда у нас большая, — жертва нужна большая. Шаман решил принести в жертву не кого иного, как дочь вождя — меня.

— Господи! — с усилием воскликнул Хичкок. Видно было по всему, что сообщение девушки чрезвычайно поразило его.

— Мы с вами теперь там, где расходятся дороги, — спокойно произнесла девушка. — Мы живем очень близко друг от друга, и вот я пришла в последний раз взглянуть на вас.

Она была первобытным существом, и сообразно этому были примитивны ее взгляды и привычки. Она смотрела очень просто на жизнь, и в ее глазах приношение в жертву человека было в порядке вещей. Силы — те силы, которые управляют светом и тьмой, теплом и холодом, расцветом и увяданием, — разгневались. Их нужно умилостивить. Об этом желании богов говорило многое: и смерть в воде под подломившимся льдом, и гибель в лапах у медведя, и смертельная болезнь, постигавшая человека в его жилище. Сначала появлялся сухой, частый кашель, а затем жизнь из легких уходила через рот и нос. Вот каким образом боги выражали свой гнев, а через шаманов давали знать о своей воле. Шаманы же мудры и никогда не ошибаются. Все на свете просто и понятно. В конце концов — смерть! Все дело лишь в том, что смерть эта не всегда приходит одним и тем же путем. Но происходит смерть от одного и того же — от всесильного и непостижимого.

Но Хичкок был более культурным человеком, чем Сипсу; он не признавал подавляющей силы авторитета и потому сказал:

— Нет, Сипсу, это никуда не годится. Ты молода и еще не жила. Ваш шаман глуп, если он мог сделать

такой ужасный выбор. Этого не будет!

Девушка спокойно улыбнулась и так же спокойно ответила:

— Жизнь многим нехороша. Плоха она тем, что одних людей она создала белыми, а других — красными. Не хороша и тем, что скрестила наши пути, поставила нас рядом, а теперь снова разделяет. Что мы можем поделать? Раньше, бывало, вот в такие самые голодные дни, как теперь, к нам заходили ваши братья — белые, их было три человека, и они подобно вам говорили, что этого не будет. Пока они были, этого не было. Но они умерли, и все у нас пошло по-прежнему.

Хичкок покачал головой, повернулся к товарищам и сказал:

— Вы слышали, господа, что рассказала Сипсу? Ведь индейцы собираются принести ее в жертву. Что вы скажете?

Верц и Хоз взглянули друг на друга, но ничего не сказали. Зигмунд сидел, склонив голову, и ласкал собаку, прилегшую у его ног; он привез эту собаку издалека, очень любил ее и уделял ей много внимания. Та девушка, о которой он часто думал и часто вспоминал, портрет которой висел на его груди и любовь которой давала ему силы в самые тяжелые минуты, подарила ему эту собаку — ее последнее прости — перед отъездом его на Далекий Север.

— Ну, что скажете? — повторил Хичкок.

— Может быть, это не совсем так, — задумчиво произнес Хоз. — Очень может быть, что это басня — ничего больше!

— Оставьте!

Такое явное равнодушие к судьбе человека стало выводить его из себя.

— Но что вы намерены делать, если это окажется не басней, а действительностью?

— Я лично не вижу никакого повода для нашего вмешательства, — сказал Верц. — Раз они решили, они и сделают по-своему. У них этот обычай существовал еще до нас, и, может быть, на этом основана вся их религиозная жизнь. Нас это нисколько не касается. У нас одно дело: добывать золото, добыть его в нужном количестве, а затем уехать из этой Богом проклятой страны. Кроме зверей, здесь никто жить не может — кроме зверей и этих дьяволов. Но чем эти дьяволы лучше зверей? Помните, господа, что самая опасная штука на свете — глупость!

— Вот с этим я вполне согласен! — воскликнул Хоз. — Здесь нас только четверо, и мы находимся на расстоянии трехсот миль от Юкона, то есть от наших. Что мы можем поделать с полусотней дикарей? Наши убеждения не помогут. Если мы затеем ссору, они укокошат нас. И чего ради нам беспокоиться? Золото здесь есть, собирать его можно — и слава Богу! Я вполне согласен с Дэйвом.

— Ну, конечно! — сказал Дэйв Верц.

Хичкок с возмущенным видом повернулся к Зигмунду, который продолжал тихонько напевать:

Только год промчится, и лоза созреет,
Я вернусь, любовь моя, сюда.

— Что ж, Хичкок, — произнес он наконец, — я согласен с ними. Что мы можем поделать, если на нас нападут пятьдесят дьяволов? Один дружный натиск с их стороны — и нам конец! Какая польза от этого? Девушке все равно не миновать смерти. Я понимаю, бороться с ними, если вы чувствуете за собой силу… А так!..

— Сила есть! — прервал его Хичкок. — Четверо белых во сто раз сильнее четырехсот красных.

Подумайте же о девушке.

Зигмунд продолжал гладить собаку.

— Вот именно, я и думаю о девушке. У этой девушки голубые, как летнее небо, глаза. Ее смех звучит, как летняя волна; у нее такие же золотые волосы, как и у меня, а косы толщиной с мою руку. Она живет очень далеко отсюда, в теплой, мягкой стране — и ждет меня. Она ждет так долго, что я не имею права бросить работу теперь, когда набрал уже так много золота.

— А вот мне было бы страшно и стыдно смотреть в голубые глаза, раз я знаю, что из-за меня погибли черные глаза.

Хичкок произнес это с явной насмешкой. Он всегда был способен к подвигу, любил дело ради дела, независимо от того, какую пользу он лично извлечет из него.

Зигмунд с суровым выражением покачал головой.

— Напрасно, Хичкок, вы стали бы убеждать меня. Я еще не сошел с ума. Следует считаться и с совестью, и с фактами. Факты таковы, что я не попусту приехал в эту варварскую страну. С другой же стороны, я считаю, что не стоит затевать скандал. Конечно, жаль девушку, но необходимо также считаться с их традициями. Мы чисто случайно попали сюда именно в это время. Поймите же, что они точно так же приносили в жертву людей много тысяч лет тому назад, теперь так поступают и вряд ли когда-либо откажутся от этого. Я не понимаю, зачем вам волноваться, раз у нас с ними разные расы. Вы извините, Хичкок, но я вполне согласен с Верцом и Хозом.

Собаки насторожились и зарычали. Зигмунд замолчал и стал прислушиваться.

Один за другим появлялись индейцы — высокие, страшные, безмолвные и похожие на тени в мехах. Вдруг послышались резкие, гортанные звуки: это шаман заговорил с Сипсу. Его лицо было причудливо раскрашено, а с плеч свисала волчья шкура с оскаленными клыками и свирепой мордой.

Между белыми и красными еще не было произнесено ни слова. Обе стороны, видимо, старались сохранить мир. Сипсу незаметно подошла к своим лыжам.

— Прощайте, Хичкок, — сказала девушка, но тот молчал и даже не кивнул головой.

В отличие от всех белых, приезжавших на Север, Хичкок никогда не стремился к любовным утехам у местных женщин. Сипсу? Да, он с большим удовольствием встречался с нею, болтал у костра, но делал это не как мужчина, который ясно сознает, что он — мужчина, а она женщина. Точно так взрослый болтает с ребенком. Подобно ему поступил бы всякий другой человек, пожелавший рассеять однообразие унылого, серого существования. Это было все или почти все, ибо сюда примешивались и чисто рыцарские побуждения. Правда, он был американец, но при всем том его душа возмущалась против той участи, которая ожидала невинную индианку.

Он сидел молча, подавшись вперед, и мгновениями казался живым олицетворением стихийной силы — такой же великой, как и его раса. Он прислушивался к тому, что происходит в нем.

Верц и Хоз время от времени с виноватым выражением поглядывали на него. Та же видимая неловкость чувствовалась в поведении Зигмунда. Хичкок производил впечатление большой непоколебимой силы, и в существовании этой силы его товарищи неоднократно убеждались во многих случаях их совместной жизни. Вот почему они с известным любопытством и с нескрываемым беспокойством следили за ним.

Напряженное молчание продолжалось очень долго. Уже почти потух костер, когда Верц зевнул, стал потягиваться и, наконец, заявил, что пора спать. Тут Хичкок встал.

— Вы — трусы, и я не хочу больше знать вас. — Он говорил очень тихо, почти спокойно, но в каждом его слове звучала сила.

— Я предлагаю делиться! — продолжал он. — Сделаем это так, как будет наиболее выгодно для вас. Согласно нашим условиям, я имею право на четвертую часть, значит, на мою долю приходится 25–30 унций золота. Дайте весы, и мы сейчас же займемся дележкой. Зигмунд тем временем отмерит мне четвертую часть провизии. Кроме того, на мою долю приходится четыре собаки, но мне мало будет четырех, и я предлагаю вам часть своих рабочих принадлежностей за лишних собак. Если вы хотите, то, кроме этого, могу дать вам шесть-семь унций золота. Согласны?

Зигмунд, Верц и Хоз отошли в сторону и стали совещаться. Через некоторое время выступил Зигмунд:

— Хичкок, раздел мы произведем вполне правильно и честно; нас здесь четверо, и каждый из нас имеет право на четвертую часть, ни больше ни меньше. Конечно, это зависит от вас — взять свое или оставить. Опять же, больше четырех собак мы не можем дать, так как сами очень нуждаемся в них. Если вы хотите оставить здесь ваши рудничные принадлежности, оставляйте. Одним словом, поступайте так, как хотите.

— Правильно, и комар носа не подточит, — с усмешкой произнес Хичкок. — Ну что ж, пусть будет так. Согласен. Я очень тороплюсь и не намерен тащить с собой всякую дрянь.

Тут же на месте и без дальнейших слов приступили к дележу, после чего Хичкок уложил все свои скудные пожитки, прикрепил их к задку саней и запряг своих четырех собак. К своим рабочим инструментам он не прикасался, но вместо этого с несколько вызывающим видом бросил в сани с полдюжины постромков. Однако товарищи не воспротивились этому, они лишь пожали плечами и следили за Хичкоком до тех пор, пока он не скрылся из виду.

Человек полз по снегу на четвереньках. По обе стороны неясно вырисовывались очертания хижин. Время от времени доносился жалобный вой собак. Вдруг к ползущему человеку совсем близко подошла собака, но, казалось, он не обратил на нее никакого внимания. Тогда собака подошла еще ближе и потянула воздух. Лишь тогда, когда она коснулась мордой человека, последний подался вперед и схватил собаку за горло. Та замертво упала на землю, а Хичкок пополз дальше.

Таким образом добравшись до вигвама вождя, Хичкок долго лежал, чутко прислушиваясь ко всему тому, что происходит внутри, и старался определить, где находится Сипсу. Судя по шуму и возбужденным голосам, там собралось много народу.

Услышав, наконец, знакомый голос девушки, Хичкок по-прежнему бесшумно пополз дальше и остановился там, где как раз напротив него, за оленьей шкурой находилась Сипсу. Выждав некоторое время, он стал рыть яму в снегу и после того просунул голову внутрь палатки. Как только внутреннее тепло коснулось его лица, он замер.

Большая часть его тела осталась снаружи; он не решался поднять голову, ничего не видел и только по запаху мог определить, что где-то близко находится груда кож. Желая убедиться в этом, он протянул вперед руку и нащупал кожи. С другой стороны он почувствовал прикосновение меховой одежды.

«Вероятно, это Сипсу».

Он решился на риск. Несколько поодаль горячо спорили вождь и шаман, а еще дальше, в углу, жалобно хныкал голодный ребенок. Хичкок медленно и осторожно поднял голову и слегка коснулся меховой одежды. Он стал прислушиваться к дыханию и тотчас же определил, что дышит женщина. Тогда он осторожно, но довольно сильно нажал на мех и почувствовал, как под его прикосновением вздрогнуло

женское тело. Он выждал, пока трепетная рука скользнула вниз и коснулась его волос. Спустя мгновение женская рука уже проводила по его лицу — и его глаза встретились с глазами Сипсу.

Она ни на секунду ни переставала владеть собой; словно случайно переменив позу, она облокотилась на груду шкур и стала приводить в порядок свою парку. Таким образом она незаметно скрыла его. Несколько выждав, она опять, будто случайно, склонилась над ним, и ухо ее слегка прижалось к губам Хичкока. Он шепнул:

— Воспользуйся первой удобной минутой, выйди из дому и иди по снегу до той группы сосен, которая стоит на изгибе реки. Там я буду ждать тебя; там стоят мои сани. Сегодня ночью мы уедем на Юкон. Постарайся захватить с собой собак.

Сипсу, словно не веря всему тому, что должно было случиться, несколько раз отрицательно покачала головой, но при этом ее глаза радостно заблестели. Она гордилась тем вниманием, которое ей выражал белый человек. Дочь своего племени, она не знала, как можно ослушаться мужчину, и вот почему, когда Хичкок повелительным тоном повторил: «Я буду ждать тебя», она ничего не сказала, но Хичкок знал, что она исполнит его приказание.

— Не забудь же про собак, — сказал он в последнюю минуту. — Я жду тебя. Старайся не терять лишнего времени. Мрак скоро сменится светом, а ради тебя заря завтра не задержится.

Спустя полчаса Хичкок ждал Сипсу возле саней и, желая согреться, топал ногами и размахивал во все стороны руками. Вдруг он увидел Сипсу, которая вела с собой двух собак. Завидя чужих, его собаки ощетинились, зарычали, и Хичкоку нелегко было успокоить их.

Его сани стояли довольно близко к индейскому лагерю, к тому же на наветренной стороне, и можно было опасаться, что ветер доносит в лагерь каждый звук.

— Запрягай собак, — совсем тихо приказал Хичкок. — Ставь их в хвосте, впереди пойдут мои.

Едва только она принялась выполнять его приказ, как собаки Хичкока с прежним остервенением набросились на чужаков. Несмотря на то что Хичкок с поднятым ружьем метался во все стороны, неугомонный собачий вой разносился по всему полю.

— Ну, теперь у нас будет даже слишком много собак, — мрачно сказал Хичкок и вооружился топором. — Как только я брошу тебе собаку, ты немедленно запрягай ее.

Он сделал несколько шагов вперед и остановился, выжидая, между двумя соснами. Он знал, что индейские собаки, встревоженные поднявшимся шумом, не замедлят явиться сюда. Он не ошибся. На снегу вскоре обозначилось темное, быстро растущее пятно — это была первая собака, которая с волчьим воем неслась впереди остальных собак и указывала им направление.

Хичкок стоял за деревьями в тени. Когда собака оказалась на расстоянии нескольких футов от него, он подался вперед, схватил ее за передние лапы, бросил на землю, ударил меж ушей и тотчас же швырнул в сторону Сипсу. В то время как девушка запрягала собак, Хичкок с топором в руках защищал проход между деревьями. Казалось, свирепые индейские собаки наступали со всех сторон, ибо отовсюду сверкали глаза и оскаленные белые клыки. Сипсу работала ловко и быстро, но не успела она припрячь первую индейскую собаку, как Хичкок оглушил уже вторую и точно так же швырнул Сипсу. Он повторял это до тех пор, пока в его упряжке не оказалось десять рассвирепевших собак. Только тогда он крикнул:

— Теперь хватит!

Но именно в это мгновение появился молодой индеец, который с удивительным проворством и ловкостью стал расталкивать собак, намереваясь подойти к саням. Хичкок ударил его прикладом, и тот упал сперва на колени, а затем на бок. Свидетелем этой сцены был бегущий вслед за ним шаман.

Хичкок приказал Сипсу гнать собак. Девушка гикнула, и собаки, точно сорвавшись с цепи, помчались вперед. Сипсу стоило больших усилий удержаться на высоко подскакивавших санях.

Наверное, боги разгневались на шамана, ибо поставили его на пути саней Хичкока. Передняя собака, задев лыжи шамана, сбросила его на землю, а остальные девять собак подмяли его под себя и протащили над ним сани. Однако он тотчас же вскочил на ноги, и неизвестно, на чьей стороне оказалась бы победа, если бы Сипсу не догадалась несколько раз ударить его тяжелым бичом по глазам. На помощь ей подоспел Хичкок и ударил его с такой силой, что несчастный индеец отлетел на несколько футов. После этого шаман вернулся в лагерь, умудренный опытом относительно силы кулака белого.

Рассказывая о случившемся вождю и совету старейшин, шаман испытывал большую ненависть ко всем белым людям.

— Ну, вставайте, лентяи, вставайте, довольно спать. Завтрак будет готов еще до того, как вы оденетесь.

Дэв Верц сбросил с себя меховое одеяло, приподнялся и зевнул.

Хоз потянулся и, обнажив худые руки, стал лениво потирать их.

— А любопытно знать, где провел эту ночь Хичкок? — спросил он, потянувшись за мокасинами.

Мокасины за ночь промерзли, и Хоз в носках, на цыпочках, подошел к огню, чтобы отогреть их.

— Он хорошо сделал, что уехал, — продолжал он. — Хотя, с другой стороны, он прекрасный и выносливый работник.

— Это правда. Только уж слишком любит командовать. Это его самый главный недостаток. Сипсу вряд ли легко будет с ним. Что-то он чересчур сильно заботится о ней. Подозрительно!

— Ну, ерунда! Ничего серьезного нет; Хичкок часто поступает из принципа. На его взгляд, индейцы поступают неправильно. Нельзя спорить: конечно, это неправильно, но при всем том мы не имеем никакого основания вмешиваться в их дела. Пусть себе делают, что хотят. Напрасно Хичкок поторопился с дележом.

— Принципы — вещь хорошая, но в свое время и на своем месте. А кто едет на Аляску, тому лучше на время оставить принципы дома.

Верц подошел к товарищу и вместе с ним стал отогревать мокасины.

— А может быть, ему стоило помочь?

Зигмунд отрицательно покачал головой. Ему надо было следить за бурно кипящим кофе, во-первых, а во-вторых — поджарить мясо. При всем том он не мог отделаться от мысли о девушке с глазами, как летнее море. А думая о ней, он не мог не петь.

Его товарищи, перебросившись еще несколькими словами, умолкли. Уже было семь часов утра, но до рассвета оставалось еще добрых три часа. Погасло северное сияние, и среди глубокой темноты палатка была единственным оазисом света. На темном фоне резко и четко вырисовывались фигуры людей. Воспользовавшись гробовым молчанием, Зигмунд повысил голос и очень громко запел последнюю строку своей любимой песенки:

Только год промчится, и лоза созреет…

Вдруг раздался стонущий залп ружейных выстрелов.

Хоз сгорбился, сделал мучительное усилие выпрямиться, но тотчас же замертво свалился на землю. Голова Верца свесилась на грудь, и он весь стал медленно опускаться; вдруг заметался, и на губах его показалась пена. А золотоволосый Зигмунд взмахнул руками и свалился поперек костра. Так и чудилось, что сейчас снова зазвучит его неоконченная песня…

Глаза шамана были так подбиты, что превратились в сплошное темное пятно. Он поссорился с вождем из-за ружья Верца. Кроме того, он позволил себе набрать бобов больше, чем следовало. Но главным образом ссора возникла из-за того, что он присвоил себе медвежью шкуру. Все вместе взятое явилось причиной очень дурного расположения духа шамана. Его настроение еще больше испортилось, когда, желая убить собаку Зигмунда, он погнался за ней, но по дороге споткнулся, упал в яму и вывихнул себе плечо.

Разграбив лагерь белых, индейцы вернулись домой, и тогда среди женщин началось великое ликование.

Вскоре в соседний лес забрело стадо оленей, которое целиком было перебито индейскими охотниками; индейцы решили, что боги смилостивились, и с тех пор стали относиться к шаману, ставленнику богов, с еще большим уважением.

Спустя некоторое время после случившегося, собака, подарок золотоволосой девушки, пробралась в опустевший лагерь и всю ночь и весь день выла над своим мертвым господином. Затем она исчезла, а через несколько лет индейские охотники стали замечать странную перемену в породе волков. Перемена главным образом выразилась в оттенках шерсти, каких раньше ни у одного волка не замечалось.

На конце радуги

I

По двум причинам Малыш из Монтаны снял свою «форму» и мексиканские шпоры и отряхнул со своих ног пыль холмов Идахо. Во-первых, натиск крепкой, трезвой и серьезной цивилизации совершенно разрушил примитивные правила жизни западных скотоводов, а новое, утонченное общество отнеслось весьма и весьма недружелюбно к Малышу и ему подобным. Во-вторых, наступил один из тех моментов, когда вся раса поднялась и отодвинула свои границы на несколько тысяч миль назад. Таким образом, достигшее полной зрелости общество дало простор подрастающему поколению даже не имея этого в виду. Правду сказать, новая территория в значительной своей части была совершенно бесплодна; но все же несколько сот тысяч квадратных миль полярной земли явились райским откровением для тех, кто до сих пор задыхался у себя на родине.

К числу этих людей принадлежал Малыш из Монтаны. Отправившись на морской берег с поспешностью, которую могла вызвать только погоня нескольких шерифов, он удачно сел на пароход, вышедший из Пюже-Саунда, и с грехом пополам перенес в третьем классе морскую болезнь и морское питание. Он высадился в Дайе в один из ранних весенних дней и ступил на берег желтый и истощенный, но с самоуверенным и энергичным выражением лица. Ознакомившись с ценами на собак, съестные припасы и снаряжение, а также узнав про пошлины, установленные двумя конкурирующими правительствами, он очень скоро понял, что это местечко ни в коем случае не может считаться Меккой для бедного человека.

Вот почему, не откладывая дела в долгий ящик, он живо принялся за жатву в том месте, где ничего не сеял. Между берегом и холмами скопилось несколько тысяч нервных пилигримов, и вот за этих-то пилигримов и взялся наш Малыш. Первым делом он открыл «фаро» в деревянном игорном доме, но ряд неприятностей вынудил его бросить это дело и отправиться дальше. Здесь он занялся продажей подковных гвоздей, которые продавал за доллар четыре штуки до тех пор, пока неожиданный «десант» из сотни бочек с такими же гвоздями не прервал этой выгодной торговли и не заставил Малыша продать остаток ниже своей цены. Вскоре он поселился в Шип-Кэмп, организовал артель профессиональных грузчиков и сразу, в первый же день, поднял фрахт на десять центов за фунт.

В благодарность за это грузчики весьма благосклонно относились к его «фаро» и сквозь пальцы смотрели на некоторые неблаговидные приемы, благодаря которым значительная часть их заработка переходила в его руки. Но коммерческие повадки Малыша были слишком грязны для того, чтобы их долго терпеть, — вот почему грузчики однажды ночью напали на него, сожгли его хижину, разделили банк и отправили подальше с пустыми карманами.

Незадачливость почти всегда сопутствовала ему. Он вошел кое с кем в соглашение, договорившись переправлять через границу виски, причем заранее знал, что ему придется пользоваться для этого самыми подозрительными средствами, но по дороге растерял своих проводников-индейцев, и уже первая партия была конфискована конной полицией. Еще много других крайне неудачных попыток так обозлили его, что в продолжение двадцати страшных часов он терроризировал население озера Беннет, куда прибыл после своей сделки. Конец его художествам на озере Беннет положила компания золотоискателей, которая приказала ему как можно скорее убраться подальше. Вообще говоря, Малыш всю жизнь относился с большим уважением к подобным приказам и на сей раз так спешно оставил поселок, что «случайно» оказался на санях с чужой запряжкой. Этот поступок был равносилен конокрадству в странах с более умеренным климатом. Малыш знал это и поэтому проехал мимо поселков между Беннетом и Тэгишем и

остановился лишь за сто миль к северу.

Но должно же было так случиться, что наступала весна, и большинство наиболее богатых обитателей Доусона решили с последним льдом двинуться на юг. Он встретился с ними, много беседовал, запомнил их фамилии и поехал дальше. У него была прекрасная память и пылкое воображение. Что же касается правдивости, то этой чертой характера он никак не мог похвастать.

II

Жители Доусона, всегда жадные до новостей, издали увидели сани Малыша на Юконе и вышли навстречу гостю.

Нет, он не привез с собой газет. И не знал, был ли повешен Дюрран. Не мог он ничего сообщить и о том человеке, который выиграл приз в День Благодарения. Он ровно ничего не слышал об американо-испанской войне, не знал, кто такой Дрейфус, но что касается О'Бриена… Как, разве они ничего не слышали об О'Бриене? Он утонул в Белом Коне. Единственный спасшийся был Ситка Чарлей. Джо Ледью? Ну, тот отморозил себе ноги, которые ему ампутировали в Пяти Пальцах. А Джек Дальтон? Погиб на «Морском Льве» вместе со всеми остальными. А Бэттлс? Погиб на «Картаджине» в Сеймурском Проходе, где из трехсот человек в живых осталось только двадцать. А Билл с Быстрых Вод? Провалился сквозь рыхлый лед вместе с шестью оперными артистками, которые сопровождали его. Губернатор Уэлш? Пропал вместе со всеми остальными на восьми парах саней близ Тридцатой Мили. Деверо? А кто это Деверо? Ах, почтальон! Застрелен индейцами около озера Марш.

И так далее.

Новости, привезенные Малышом, живо распространились по всему поселку. Множество людей толпились вокруг него, желая навести у него справки относительно своих друзей и попутчиков. Одни толкали других и в свою очередь выталкивались из круга третьими; причем их удивление было столь велико, что они даже забывали должным образом выругаться. К тому времени, как Малыш из Монтаны достиг берега, вокруг него собралась толпа в несколько сот человек, одетых в меха. Близ Бараков он по-прежнему был в центре процессии, но наибольшее столпотворение случилось у здания Оперы, где произошла настоящая давка, и чуть ли не началась драка из-за желания поскорее узнать последние новости. Малыш со всех сторон слышал приглашения выпить с ним. Еще никогда до сих пор на Клондайке не принимали так радушно новичка, или, как их там называли, «ча-ча-квас'а». Весь Доусон переполнился всевозможными и разнообразными слухами. Еще ни разу на него не сваливалась подобная лавина несчастий. Его история не знала такого шквала бедствий. По словам Малыша, все искатели, отправившиеся весной на юг, погибли.

В поселке опустели буквально все дома и хижины. Все выбежали на улицу, горя страстным желанием найти и увидеть человека, который привез такое множество потрясающих новостей. Жена Беттлса, русская полукровка, в непередаваемом отчаянии уселась у своей печи и, качаясь взад и вперед и из стороны в сторону, посыпала белоснежным пеплом свои волосы цвета воронова крыла. На Бараках до половины был спущен национальный флаг. Доусон глубоко и мрачно оплакивал своих покойников.

Собственно говоря, трудно было бы объяснить, чего ради Малыш затеял все это. Трудно найти хоть мало-мальски разумную или же хотя бы понятную причину. Можно лишь допустить, что в данном случае сыграло роль то обстоятельство, что этому человеку была органически чужда правда. Но, так или иначе, пять долгих дней вся округа была повергнута из-за него в ужас и горе, и в продолжение пяти дней он был единственным человеком, на котором сосредоточивалось всеобщее внимание. Поселок предоставил в его распоряжение лучший кров и обильную пищу. Салуны приглашали его распоряжаться их помещениями на

полное его усмотрение. Охота за ним продолжалась с прежней настойчивостью. Лица, занимавшие самое высокое официальное положение, определенно заискивали перед ним, ожидая от него как можно больше исчерпывающих сведений, и дошло даже до того, что его чествовали в Бараках сам Константайн со своими ближайшими помощниками.

Так продолжалось вплоть до тех пор, пока в одно прекрасное утро в Доусон не прибыл Деверо, правительственный курьер, и не остановил своих утомленных собак у конторы Золотопромышленного Общества.

Он умер? Кто это сказал? Пусть ему перво-наперво дадут здоровый кусок жареной оленины, и он покажет всем, как он умер! Что такое? Губернатор Уэлш в настоящее время находится в Маленьком Лососе, а что касается О'Бриена, то он прибудет сюда с первой же водой! Умер? Пусть ему дадут кусок оленины, и он покажет им всем!

Тут Доусон снова весь загудел, как пчелиный улей. Национальный флаг над Бараками вновь поднялся до самой верхушки флаг-мачты. Жена Беттлса немедленно умылась и надела чистое платье. Все население выразило единодушное желание, чтобы малопочтенный Малыш из Монтаны как можно скорее скрылся с горизонта. И Малыш скрылся, как всегда, «случайно» оказавшись в санях с чужой запряжкой. Доусон огласился радостными криками при виде того, как Малыш пустился по Юкону, и от души пожелал твердокаменному грешнику быстрой езды и счастливого достижения крайней цели поездки. А вскоре после того хозяин запряжки хватился своих собак, не нашел их, сделал об этом заявление Константайну и получил в помощь одного полисмена.

III

Наметив себе конечной целью Серкл-Сити и несясь по льду, который уже подавался под полозьями саней, Малыш из Монтаны пользовался тем, что дни стали гораздо длиннее, и гнал собак с раннего утра до позднего вечера. Он нисколько не сомневался в том, что владелец собак пустится за ним в погоню, и поэтому желал достигнуть американской территории еще до того, как вскроется вся река. Но уже к концу третьего дня он окончательно убедился, что ему ни в коем случае не обогнать весны. Юкон гудел и рычал под своими зимними оковами. Поневоле приходилось делать большие объезды, потому что санный путь проваливался чуть ли не на каждом шагу, а лед, находившийся в непрестанном движении, с громоподобным треском исчезал в образующихся ямах. Вода, проникая через бесчисленные полыньи, начала разливаться по всей поверхности льда, и к тому времени как Малыш достиг хижины дровосеков, которая стояла на самой стрелке, собаки уже начали спотыкаться и скорее плыли по воде, нежели бежали по льду. Новый гость был весьма угрюмо принят двумя обитателями хижины, но, не обратив на это никакого внимания, тот начал распрягать собак и готовить себе пищу.

Доналд и Дэви представляли собой характернейшие образцы пограничных неудачников. Уроженцы Канады, всю свою жизнь проведшие в городе, они в один несчастный для них день решили реализовать все свое имущество — и отправились на Клондайк. И только теперь они почувствовали, до чего они не подходят для сих мест. Вечно голодные, неизменно грустные, страдая от невыносимой тоски по родине, они поступили на службу к Компании в качестве пильщиков дров для проезжающих судов, причем поставили условие, чтобы при первой возможности их отправили домой. Совершенно не считаясь с возможностями, которые всегда таятся в ледоходе, они открыто продемонстрировали свою полную беспомощность, выбрав своим постоянным жильем хижину на этом острове. Хотя Малыш был очень мало знаком с ледоходом на большой реке, тем не менее он с сомнением стал озираться вокруг и бросал весьма завистливые взгляды на противоположный берег, возвышающиеся скалы которого обещали надежную защиту против льдов всего Северного океана.

Накормив собак и сам поев, он зажег трубку и начал бродить взад и вперед по берегу, желая найти какой-нибудь выход из создавшегося положения. Этот остров, подобно всем остальным вокруг, повышался по мере приближения к верхнему берегу. Именно тут Доналд и Дэви построили свою хижину и нарубили огромное количество дров. Далекий берег находился на расстоянии доброй мили, а между островом и ближайшим берегом залег канал шириной около ста ярдов. При первом взгляде на все это Малыш почувствовал непреодолимое желание немедленно запрячь собак и переправиться на другую сторону, но при более детальном рассмотрении местности он увидел быстрое течение воды, уже вылившейся на лед. Несколько ниже река делала крутой поворот на запад, и на этом месте легко можно было увидеть целый лабиринт маленьких островков.

«Вот где будет полный затор!», — заметил Малыш про себя.

С полдюжины саней, по всем данным, идущих на Доусон, неслись теперь по ледяной воде, направляясь к острову. Переправа по реке из опасной превратилась уже в просто невозможную, и путники с неимоверным трудом достигли твердой земли и подъехали по тропе к хижине дровосеков. Один из них, совершенно ослепленный солнцем, с беспомощным видом волочился позади саней. Все они были молодые, сильные парни, в грубой одежде, утомленные до последней степени. Несмотря на то что Малыш никогда до сих пор не встречался с ними, он сразу понял, что это не его поля ягоды.

— Эй! Что слышно на доусонской дороге? — спросил передовой, переводя глаза с Доналда на Дэви и остановив их на Малыше.

Первые встречи в диких странах никогда не отличаются излишними церемониями. Разговор в самое короткое время сделался общим, причем новости о Верхней и Нижней странах чередовались с равномерностью, которая была вполне понятна при данных условиях. Но запас новостей у вновь прибывших очень скоро иссяк ввиду того, что они приехали из Минука, находившегося на расстоянии тысячи миль пониже этого места. А Малыш из Монтаны обладал более свежими сведениями, и его засыпали вопросами. В то время как путники разбивали лагерь, он должен был сообщить все новости за последние двенадцать месяцев.

Вдруг всеобщее внимание было привлечено резким криком, поднявшимся над оглушающим грохотом реки. Все повернулись к берегу. Вода с прежней силой продолжала заливать ледяную поверхность, а лед, взятый сверху и снизу в могучие тиски, с трудом удерживался в своих берегах. Полыньи образовывались со всех сторон, по всем направлениям, у всех на глазах, и воздух наполнился отчаянным шумом и треском, напоминавшими звуки стрельбы в ясный день.

Двое мужчин, находившихся на реке, гнали в их сторону собачью запряжку вдоль еще не покрытой водой полосы льда. Внезапно оба человека провалились в воду и, спотыкаясь на каждом шагу, стали пробираться вперед. А за ними, на том самом месте, где мгновение назад ступали их ноги, провалился лед, и льдины перевернулись вверх дном. Открытая вода поглотила смельчаков до самого пояса, в то же время похоронила сани и собак, которые на миг поднялись под прямым углом к поверхности. Но мужчины остановились, решив во что бы то ни стало спасти животных. Несмотря на невыносимо холодную воду, они начали шарить под льдинами своими складными ножами и срезать постромки. И только после того, как им удалось добиться своего, они сквозь пенящуюся воду и визжавшие льдины стали пробираться к берегу, к которому, в свою очередь, бросились все находившиеся на суше, во главе с Малышом, искусно скакавшим по отдельным, дрожавшим под ним льдинам.

— Провались я тут же на месте, если это не Малыш из Монтаны собственной персоной! — воскликнул один из мужчин, которому Малыш только что помог выкарабкаться на берег. Он носил красный мундир конного полицейского и с комическим видом помахал правой рукой в виде приветствия.

— Малыш, — продолжал он, — я имею специальное предписание арестовать вас! — И с этими словами он вынул из своего бокового кармана насквозь промокшую бумагу. — Я надеюсь, что вы подчинитесь мне вполне спокойно и мирно.

Малыш бросил взор на хаотическое состояние реки и пожал плечами, а полицейский, проследивший за его взглядом, улыбнулся.

— Где собаки? — спросил его компаньон.

— Джентльмены! — перебил его полицейский. — Этот человек, который сейчас приехал со мной, Джек Сэзерлэнд, собственник № 22 на Эльдорадо…

— Уж не Сэзерлэнд ли 1892 года?

Этот вопрос задал ослепший от солнца человек, который, спотыкаясь, подошел поближе.

— Он самый и есть! — ответил тот и схватил руку слепого. — А вы кто будете?

— О, я пришел туда гораздо позже вашего, но помню вас, когда был совсем зеленый. Товарищи! — обратился он к остальным. — Это — Сэзерлэнд, Джек Сэзерлэнд, который с отличием и первый окончил университет. А ну-ка, золотоискатели, пожалуйте поближе и приветствуйте его! Сэзерлэнд, это — Гринвич, который два года назад выиграл приз…

— Да, да, помню. Мне пришлось читать об этой игре! — ответил Сэзерлэнд, обменявшись рукопожатием с новым знакомым. — И я помню еще, как много шума вызвал ваш первый удар.

Гринвич густо покраснел под своим темным загаром и неловко отступил назад, чтобы уступить место другим.

— А вот это — Мэтью из Берклея. У нас здесь еще несколько человек с востока. Пожалуйте сюда, кто из Принстона. Ну, живо! Ведь это же Сэзерлэнд, Джек Сэзерлэнд.

Тут все они набросились на Сэзерлэнда, подняли его на руки и понесли в лагерь, где надели на него сухое платье и напоили бесчисленным количеством черного чаю.

Доналд и Дэви, всеми забытые, убрались восвояси, где занялись еженощной игрой в криб[4]. Малыш из Монтаны последовал за ними вместе с полицейским.

— Послушайте, — обратился он к своему стражу, — прежде всего вам необходимо переодеться во все более сухое! — И он предложил ему одежду из своих скудных запасов. — Надо полагать, вам придется разделить со мной и ложе, потому что вам некуда больше деться.

— А знаете, милый мой, что я вам скажу! — заявил полисмен. — Оказывается, вы — довольно славный парень! — И он начал натягивать на ноги чулки Малыша. — Мне ужасно неприятно, что придется доставить вас обратно в Доусон, но я надеюсь, что они ничего дурного вам не сделают.

— Ну, не торопитесь! — И Малыш загадочно улыбнулся при этих словах. — Ведь до этого еще не дошло. Если мне придется двинуться отсюда, то я пойду вниз по течению, и у меня такое впечатление, что и вы отправитесь вместе со мной.

— Да ничего подобного!

— Ну, вот выйдем наружу, и я вам покажу. Видите, эти два олуха, — и он указал толстым пальцем через плечо, — здорово влопались, когда выбрали этот остров для жилья. Но… прежде всего набейте трубку. Табак у меня превосходный, и удовольствие вы получите отменное, имейте в виду, что вам не очень-то много доведется курить в будущем.

Полисмен, не скрывая удивления, вышел вместе с Малышом, а Доналд и Дэви побросали карты и

последовали за ними. Люди из Минука обратили внимание на то, что Малыш, стоя на берегу реки, показывает пальцем то вверх, то вниз, и подошли ближе.

— В чем дело? — спросил Сэзерлэнд.

— Ничего особенного!

Надо сказать, что Малышу очень шло, когда он старался выразить полное равнодушие.

— Ничего особенного, если, конечно, не считать того, что скоро восстанет весь ад и ринется на нас. Вы видите вон тот изгиб реки? Так вот там и будет главный затор, в котором скопится несколько миллионов тонн льда. Столько же миллионов тонн льду соберется и выше. Верхний затор разрешится раньше, а нижний немного задержится и не пустит его. Пу-у-у-ф!

Драматическим жестом руки он смахнул остров с лица земли и прибавил:

— Шутка ли сказать: миллионы тонн!

Он повторил свой уничтожающий жест, а Дэви завыл:

— Мы работали столько месяцев! Я не хочу этого! Не может этого быть, не может быть! Я думаю, вы шутите. Скажите, что вы шутите, — взмолился он.

Но когда Малыш резко рассмеялся и повернулся к нему спиной, он бросился к своим штабелям дров и начал отбрасывать дрова подальше от берега.

— Да помоги же мне, Доналд, — вскричал он. — Чего ты стоишь сложа руки! Неужели же пропадет вся наша работа и мы так и не вернемся домой!

Доналд схватил его за руку и начал трясти, но тот немедленно вырвался.

— Разве же ты не слышишь, что тебе говорят? — воскликнул он. — На нас надвигаются целые миллионы тонн воды, которые зальют весь остров.

— Да приди ты в себя, дурак ты этакий! — продолжал урезонивать его Доналд. — Ты что, совсем рехнулся?

Но слова его нисколько не подействовали на Дэви, который продолжал с прежним упорством убирать дрова. А Доналд направился к хижине, вошел в нее, взял свои и Дэви деньги, спрятал их в поясе и отправился на самую возвышенную часть острова, где выше всех остальных деревьев вытянулась огромная сосна.

Люди, стоявшие у хижины, услышали стук его топора и усмехнулись. Гринвич вернулся с разведки с донесением, что все они попали в ловушку, из которой невозможно выбраться, и думать нечего о том, чтобы как-нибудь перебраться на ту сторону канала, — и тогда слепец из Минука затянул песню, которую мигом поддержали все остальные:

Это правда? Это правда?
Что ты думаешь о ней?
Мне же кажется — он лжет.
Но почем я знаю?

— Да ведь это просто грешно! — заявил со вздохом Дэви, глядя на то, как все стали танцевать в косых лучах заходящего солнца. — Ах, какая досада, что пропадут такие замечательные дрова!

В ответ на его жалобу донесся припев:

Но почем я знаю?

Внезапно грохот, доносившийся с реки, прекратился. Великое и странное молчание разлилось вокруг. Лед вырвался из береговых тисков и вздулся над поверхностью реки, которая в свою очередь поднялась очень высоко. Медленно и тихо вода вздыбилась на двадцать футов и продолжала подниматься до тех пор, пока громадные льдины не начали мягко толкаться о берег. Конец острова, как более низменный, уже был залит, и белый поток без какого-либо усилия стал подниматься вверх по склону. Вместе с напором воды стал расти и шум, и в самом скором времени весь остров затрясся и завизжал от ударов страшных льдин. Под все увеличивающимся давлением могучие ледяные горы весом в сотни тонн взлетали в воздух с легкостью горошин. Полярный хаос разрастался с каждым мгновением, и для того, чтобы услышать друг друга, люди должны были наклоняться к самым устам говорившего. Время от времени треск льда в канале возвышался над общим грохотом. Вдруг весь остров судорожно задрожал от рухнувшей на его конец грандиозной льдины, которая вырвала десятка два сосен вместе с корнями, плотно окружила их, понеслась дальше, подняла мутный ил со дна реки и, бросив его на хижину, срезала ее и окружавшие ее деревья словно гигантским ножом. В первую минуту могло показаться, что она едва-едва коснулась основания хижины, но мигом стоймя, точно спички, поднялись балки, и вся постройка рухнула, как жалкий игрушечный домик.

— Целые месяцы работы пропали ни за что! Целые месяцы работы! А как же теперь будет с нашим возвращением домой?

Дэви выл до тех пор, пока Малыш с помощью полисмена не оттащил его подальше от дров.

— Хватит у вас еще времени думать о том, как вернуться домой! — сказал полисмен, дав ему хороший подзатыльник и толкнув на более безопасное место.

Доналд с верхушки своей сосны видел, как разрушительная льдина снесла все дрова и исчезла вниз по течению. Словно удовлетворившись нанесенными разрушениями, ледяной поток на время вернулся в свои берега и застыл. Одновременно уменьшился и шум, и стоявшие внизу могли услышать голос Доналда, который предлагал им взглянуть на реку. Как и предсказывал Малыш, главный затор образовался на самом повороте реки, где лед создал громадный барьер, залегший от одного берега до другого. Река замерла, и вода, не находя естественного выхода, начала снова подниматься, причем уровень ее через пару минут оказался уже так высоко, что покрыл людей по колени, а собак заставил с беспомощным видом плавать вокруг хижины. И вдруг подъем воды остановился, не выражая тенденции ни подниматься, ни падать.

Малыш из Монтаны покачал головой.

— Наверху образовался затор, вот почему воды сейчас не прибавляется.

— Сейчас весь вопрос в том, какой затор двинется первый! — прибавил Сэзерлэнд.

— Совершенно верно! — подтвердил Малыш. — Если раньше двинется верхний затор, то нам не будет никакого спасения. Тогда нам не устоять!

Люди из Минука молча повернулись от берега и запели «Rumsky Но», вслед за которым в спокойном воздухе зазвучал: «The Black and The Orange».

Хор певцов немного раздался и включил в свой состав Малыша и полисмена, которые живо усвоили мотив и стали петь вместе со всеми остальными.

— О Доналд, неужели же ты так и бросишь меня на произвол судьбы? — завыл Дэви, подойдя к дереву, на верхушке которого продолжал сидеть его товарищ. — Доналд, Доналд, помоги же мне! — Он взвыл, как малый ребенок, тщетно стараясь охватить окровавленными руками скользкий ствол дерева.

Но Доналд не отрывал взора от реки, и вдруг послышался его голос, полный невыразимого отчаяния и ужаса:

— Господь всемогущий! Идет… идет… на нас идет!

Стоя по-прежнему по колени в воде, люди из Минука, Малыш из Монтаны и полисмен воздали руки к небу и звучнее прежнего запели страшный «Боевой Гимн Республики», но голоса их скоро потонули в надвинувшемся на них грохоте.

И тут Доналд стал свидетелем того, чего не может видеть человек — и остаться затем в живых. Великая белая стена поднялась в воздух и всей своей тяжестью упала на остров. Деревья, собаки, люди были снесены так, словно рука Господа Бога вытерла пыль с чистого лица земли. Это Доналд еще успел увидеть, а через мгновение он покачнулся на своем воздушном насесте и провалился в ледяной ад.

КОММЕНТАРИИ

Джон Ячменное Зерно

Порой заглавие литературного произведения может многое объяснить. Джон Ячменное Зерно у древних британцев (шотландцев и ирландцев) — фольклорный персонаж, не брезгующий спиртными возлияниями. А поскольку пиво приготавливалось из ячменного солода, его имя стало своеобразной персонификацией всякого алкоголизма. У поэта Р. Бёрнса есть даже поэма с одноименным названием. Более того, «Джон Ячменное Зерно» стал синонимом алкогольного опьянения, вроде нашего Зеленого Змия.

Повесть Лондона автобиографична, по жанру похожа на исповедь, как сам он в этом признавался. Одновременно она ставит перед обществом и жгучую социальную проблему — вреда едва ли не всеобщего мужского (тогда еще это было привилегией сильного пола) пьянства. И вместо того, чтобы читать скучную мораль, Джек Лондон, который никогда не писал книг в мрачной тональности, в достаточно живой и увлекательной форме рассказывает о себе, о своих встречах и взаимоотношениях с Ячменным Зерном, едва не стоивших ему жизни, а может, и побудивших покинуть этот мир. Это впечатляет и воспитывает больше и сильнее, чем любые антиалкогольные проповеди.

Автор на уровне повествования прибегает к феномену двойничества. Это еще и выигрышный литературный прием. Джон Ячменное Зерно — некая ипостась раздвоенной личности, практически — психопатология и признак всякого настоящего алкоголика. В данном случае автор-рассказчик как бы воссоздает свой собственный раздвоенный и представленный двумя взаимодействующими друг с другом сознаниями и персонажами художественный мир. А поскольку у них сюжет как бы общий, то каждый из этих литературных образов пытается его повернуть в свою сторону, повлиять на ход событий, представить свою логику ожидаемых действий и состояний и убедить человека поступать в соответствии с нею… Здесь советы и рассуждения Джона Ячменного Зерна именуются Белой Логикой, порожденной белой горячкой и ведущей к гибели общего действующего лица.

Сквозь призму отравленного алкоголем сознания читателю предлагается рассмотреть практически все жизненные ценности человека — любовь, общественную деятельность, выборы, демократию, положение женщины и семьи, литературное творчество, здоровье человека и т. д.

Ведь население стран заметно стало убывать после того, как разрешили самогоноварение и «производство» «палёной» водки — похлеще суррогатного вина. Проблема Джона и Зеленого Змия остается по сей день неразрешенной.

1

Имбирный напиток вроде кваса *(Здесь и далее примеч. перев.).*

2

Имеется в виду Авраам Линкольн.

3

Тодди — горячий пунш из виски, воды и сахара.

4

Криб — своеобразная карточная игра.